

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука **2** *2020*

POLITICAL SCIENCE (RU)

Москва
2020

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт научной информации по общественным наукам РАН»

Редакционная коллегия

Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, *главный редактор*, заведующая отделом политической науки ИНИОН РАН; **В.С. Авдонин** – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политических науки ИНИОН РАН; **Г. Вольман** – д-р юрид. наук, профессор Университета им. Гумбольдта (Германия); **Д.В. Ефременко** – д-р полит. наук, зам. директора, руководитель Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН; **О.И. Зазнаев** – д-р юрид. наук, заведующий кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета; **М.В. Ильин** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **О.Ю. Малинова** – д-р филос. наук, *заместитель главного редактора*, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **П.В. Панов** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения РАН; **С.В. Патрушев** – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН; **Ю.С. Пивоваров** – академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН; **И.А. Помигуев** – канд. полит. наук, *ответственный секретарь*, научный сотрудник ИНИОН РАН; **А.И. Соловьёв** – д-р полит. наук, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова; **Р.Ф. Туровский** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **Ж. Фаварель-Гарриг** – PhD (Pol. Sci.), ведущий научный сотрудник Центра международных исследований (CNRS) (Франция); **Цуй Вэнь И** – PhD (International Politics), профессор Ляонинского университета (Китай); **П. Чейсти** – PhD (Pol. Sci.), профессор Оксфордского университета (Великобритания).

Редакция журнала

Главный редактор: д-р полит. наук *Е.Ю. Мелешкина*

Заместитель главного редактора: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Ответственный секретарь: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Научный редактор: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Литературный редактор: канд. полит. наук *О.А. Толтыгина*

Технические редакторы: канд. филос. наук *В.Л. Силаева, Т.Ш. Адильбаев*

Выпускающий редактор: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Издание рекомендовано **Высшей аттестационной комиссией** Министерства образования и науки Российской Федерации и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по политологии.

Журнал включен в **Russian Science Citation Index (RSCI)** на платформе **Web of Science**. Издается при участии **Российской ассоциации политической науки (РАПН)**.
ISSN 1998-1775 DOI: 10.31249/poln/2020.02.00

© «Политическая наука», научный журнал, 2020

© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2020

POLITICAL SCIENCE (RU)

Political science (RU) is one of the key Russian periodicals dedicated to the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. The journal is quarterly **published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN)** and with the assistance of the **Russian Political Science Association (RAPN)**.

The journal always pays attention to the actual situation in the political science in general and its trends, as well as to the overview and analysis of up-to-date scientific achievements. Articles and other materials dedicated to the methodology are featured in the journal. Informational and research & information sources (abstract reviews, synopses, book reviews, etc.), materials from other periodicals and results obtained by various think tanks and institutes are always published in **Political science (RU)**.

Political science (RU) is included in the list of the academic journals recommended by the **High Certification Commission (VAK)** of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. The journal is also in the list of the **Russian Science Citation Index** database of the **Web of Science** platform.

Editorial Board

Editor-in-Chief – **Elena MELESHKINA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Political Science Department, INION RAN (Moscow, Russia); **Deputy Editor-in-Chief** – **Olga MALINOVA**, Dr. Sci. (Philos.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Executive secretary** – **Ilya POMIGUEV**, Cand.

Sci. (Pol. Sci.), research fellow, INION RAN (Moscow, Russia); **Vladimir AVDONIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, INION RAN (Moscow, Russia); **Hellmut WOLLMANN**, Dr. Sci. (Law), Prof., Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany); **Dmitry EFREMENKO**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), deputy director, INION RAN (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV**, Dr. Sci. (Law), Prof., Head of Political Science Department, Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Mikhail ILYIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Petr PANOV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, Department of Research of political institutions and processes, Perm Scientific Center of the Ural Branch Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Sergey PATRUSHEV**, Cand. Sci. (Hist.), leading researcher, Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Yuriy PIVOVAROV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, INION RAN (Moscow, Russia); **Aleksandr SOLOVYEV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); **Rostislav TUROVSKY**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Gilles FAVAREL-GARRIGUES**, PhD in political science, Senior research fellow, CNRS, CERI (Paris, France); **Qu WENYI**, PhD in International Politics, Prof., School of International Studies, Liaoning University (Shenyang, China); **Paul CHAISTY**, PhD, Prof., University of Oxford (Oxford, United Kingdom).

ТЕМА НОМЕРА: СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Представляю номер..... 9

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Джонсон Дж., Малинова О.Ю.</i> Символическая политика как предмет political science и Russian studies: исследования политического использования прошлого в постсоветской России	15
<i>Поцелуев С.П.</i> Социальная забывчивость как символический ресурс национальной мобилизации (концептуальный аспект)	42
<i>Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В.</i> Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности	66

КОНТЕКСТ

<i>Гаврилова М.В.</i> Дискурсивное конструирование понятия «президент» в русском политическом дискурсе	87
<i>Захарова О.В.</i> Трансформация понятия «демократия» в ежегодных президентских посланиях Федеральному собранию РФ (2000–2018)	110
<i>Михалев А.В.</i> Символы советского присутствия в постсоциалистической Монголии	126

ИДЕИ И ПРАКТИКА

<i>Казьмина В.П.</i> Реконструкция исторического парка «Россия – моя история»: смена вектора символической политики?	143
<i>Худоренко Е.А.</i> Языковая политика России в контексте евразийской интеграции	163

РАКУРСЫ

<i>Пушкарёва Г.В.</i> Символическое пространство государственного управления	183
<i>Акопов С.В.</i> Суверенность как символическая структура	204

ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного научного сотрудника Отдела политической науки ИНИОН РАН О.Ю. Малиновой с профессором Южного федерального университета С.П. Поцелуевым	221
--	-----

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

<i>Мясников С.А.</i> Почему «Крым – наш»: анализ обоснования присоединения Крыма в выступлениях В.В. Путина и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г.	234
<i>Ушапов И.А.</i> «Спящий» конфликт: интерпретации событий вокруг Пригородного района в Северной Осетии и Республике Ингушетия	256
<i>Мещеряков Д.Ю.</i> История Германии сквозь призму взглядов партии «Альтернатива для Германии»	280

CONTENTS

Introducing the issue	9
-----------------------------	---

STATE OF THE DISCIPLINE

<i>Johnson J. Malinova O.Yu.</i> Symbolic politics as a matter of political science and Russian studies: Studies of political uses of the past in post-Soviet Russia.	15
<i>Potselev S.P.</i> Social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization (conceptual aspect)	42
<i>Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V.</i> Securitization of memory and dilemma of mnemonic security	66

CONTEXT

<i>Gavrilova M.V.</i> Discursive construction of the concept «President of Russia» in Russian political discourse	87
<i>Zakharova O.V.</i> Transformation of the concept «democracy» in the annual presidential Addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation (2000–2018)	110
<i>Mikhalev A.V.</i> Symbols of soviet presence in post-socialist Mongolia	126

IDEAS AND PRACTICE

<i>Kazmina V.P.</i> Reconstruction of the Historical Park «Russia – My History»: Changes of Symbolic Politics?	143
---	-----

<i>Khudorenko E.A.</i> Problems of the Russian language in the nearest foreign	163
--	-----

PROSPECTS

<i>Pushkareva G.V.</i> Symbolic space of public administration	183
<i>Akopov S.V.</i> «Sovereignty» as a political structure	204

INTERVIEW

The interview of professor Olga Yu. Malinova with professor Sergey P. Potseluev	221
--	-----

FIRST DEGREE

<i>Myasnikov S.A.</i> Why ‘Crimea is Russian’: analysis of the justification of Crimea joining Russia in the speeches of V.V. Putin and Russian MFA representatives	234
<i>Ushparov I.A.</i> «Sleeping» conflict: interpretations of events around the Prigorodny district in North Ossetia and the Republic of Ingushetia	256
<i>Meshcheryakov D.Yu.</i> The German history according to the views of the Alternative for Germany party	280

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Девять лет назад, в 2011 г., отдел политической науки ИНИОН РАН начал подготовку ежегодника «Символическая политика» (первый выпуск увидел свет в 2012 г.). Он был задуман как общая площадка для исследователей, занимающихся изучением проблем, связанных с производством смыслов в современных обществах, и как приглашение к более целенаправленному развитию этого предметного поля. Словосочетание «символическая политика» был взято в качестве зонтичного концепта, вбирающего широкий спектр тем, которые можно описывать с помощью разных понятий – идеи, дискурсы, нарративы, мифы, представления, образы, фреймы, идеологии и проч. Предполагалось, что это может способствовать теоретической интеграции подобных исследований вокруг изучения того, что П. Бурдьё называл «специфической логикой поля производства» [Бурдьё, 2007, с. 93].

На тот момент термин «символическая политика» уже использовался и в зарубежной, и в отечественной литературе, хотя и не слишком широко; наряду с ним применялись и другие комбинации – «символическое использование политики», «политика как символическое действие», «символическая власть», «символические конфликты», «символы в политике». При этом ни одно из понятий не имеет однозначного конвенционального содержания. Словосочетанием «символическая политика» нередко обозначают практики манипулирования, «инсценирования» реальности для достижения политических эффектов, связывая символическую политику с целенаправленной деятельностью акторов (прежде всего – элит). И поскольку подобные практики распространены повсеместно, такой способ определения, несомненно, уместен. Однако возможна и более широкая трактовка данного понятия, при кото-

рой символическая политика рассматривается как *публичная деятельность, связанная с производством конкурирующих способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*. При таком подходе символическая политика не сводится к целенаправленной пропаганде и манипуляции, поскольку и ход, и исход «борьбы за смыслы» определяется взаимодействием многих акторов, располагающих разными властными и символическими ресурсами. Кроме того, круг участников данного процесса не ограничивается представителями политической элиты. На наш взгляд, именно во втором, более широком значении, понятие «символическая политика» может выступать в качестве зонтичной категории, о которой шла речь выше.

Когда обсуждалось название ежегодника, директор ИНИОН РАН академик РАН Ю.С. Пивоваров, который был одним из его инициаторов, высказывал сомнение в выборе «символической политики». Сегодня можно сказать, что жизнь опровергла эти сомнения: хотя успех затеи с консолидацией исследовательского поля оценивать сложно, термин, безусловно, прижился, и пять выпусков нашего сборника, в которых приняли участие десятки коллег, вероятно, этому способствовали. По запросу «символическая политика» Научная электронная библиотека elibrary.ru выдает более 600 наименований релевантных статей, большая часть которых опубликована в последние годы. Курсы, посвященные данной проблематике, включены в программы подготовки политологов в ряде российских вузов. В 2019 г. «символическая политика» вошла в список перспективных направлений специального конкурса научных проектов Российского Фонда фундаментальных исследований для обществоведов. Как мы с моей канадской коллегой Джулиет Джонсон отмечаем в статье, которая публикуется в этом номере, интерес к символической политике особенно характерен для исследователей, занимающихся постсоветскими и посткоммунистическими странами. С одной стороны, это связано с тем, что трансформация прежних символических систем, опиравшихся на официальную идеологию, является важной составляющей современных политических процессов в таких странах. Таким образом, сама фактура эмпирического материала подталкивает к анализу символической политики. С другой стороны, в силу собственного опыта и бывшие зарубежные советологи, и осваивающие новую профессию политологи постсоветских стран имеют предрасполо-

женность к интерпретирующим исследованиям. Это имеет как сильные, так и слабые стороны: хотя изучение символической политики стимулирует продвижение современных качественных методов, в большом объеме новейшей литературы немало работ, ограничивающихся анализом на основе «внимательного чтения».

Символическая политика как борьба за смыслы – это не столько специальный «раздел» политики, сколько ракурс анализа, пригодный для изучения различных политических явлений и процессов. Тем не менее есть области, для понимания которых такой подход особенно продуктивен, поскольку деятельность, связанная с производством, продвижением и конкуренцией интерпретаций социальной реальности играет в них определяющую роль. Некоторые из них – политика памяти, конструирование мифов, политика идентичности, социальное конструирование пространства – были темами наших сборников [Символическая политика, 2012; Символическая политика, 2014; Символическая политика, 2015; Символическая политика, 2016; Символическая политика, 2017]. Следует отметить, что степень разработанности этих тем существенно разнится. Наиболее интенсивно развиваются исследования политики памяти, что вызвано, с одной стороны, злободневностью предмета, а с другой – ростом интереса к изучению памяти в общественных науках. Неудивительно, что этой теме посвящены многие статьи в данном номере.

По традиции его открывает рубрика «Состояние дисциплины». В ней представлена статья *Дж. Джонсон и О.Ю. Малиновой* о том, каким образом исследования символической политики вообще и политики памяти в частности способствовали развитию политической науки (political science) и русистике (Russian studies). Эта статья выросла из доклада на конференции «Эволюция режима, институциональные изменения и социальная трансформация в России: «уроки для политической науки», которая состоялась в апреле 2018 г. в Йельском университете (см. также: [Мельвиль, 2020]). Как оказалось, символическая политика – одна из областей исследований, развитие которых в последние десятилетия происходило именно благодаря работам, сделанным на постсоветском материале. Продолжает рубрику статья *С.П. Поцелуева*, поднимающая проблему забвения, которое традиционно признается в качестве сопутствующего памяти процесса, однако редко становится предметом самостоятельного анализа. Поцелуев предпочи-

тает говорить о социальной забывчивости, выделяя принципиальные различия забывания, забвения и амнезии как типов мнемонических дефицитов. Опираясь на случаи ирландского и черкесского национализма, описанные в литературе, он показывает, каким образом травмирующий исторический опыт выступает в качестве инструмента национальной мобилизации. Закрывает рубрику статья *Д.В. Ефременко и Я.В. Севастьяновой*, рассматривающая феномен секьюритизации памяти. Опираясь на литературу по международной политике, авторы демонстрируют, каким образом секьюритизация памяти создает дилеммы мнемонической безопасности.

В рубрике «Контекст» собраны статьи, посвященные разнообразным практикам символической политики. *М.В. Гаврилова* представляет результаты лингвокогнитивного анализа дискурсивного конструирования понятия «президент» на материале инаугурационных речей российских президентов. *О.В. Захарова* прослеживает трансформацию понятия «демократия» в официальном дискурсе, основываясь на текстах посланий президентов РФ Федеральному собранию РФ. Систематический анализ дискурсов, представленный в этих статьях, позволяет проследить формирование систем смыслов, поддерживающих институты и практики современного российского государства. Статья *А.В. Михалёва* также поднимает проблему трансформации советской символической системы после распада СССР, рассматривая ее на примере Монголии. Автор показывает, каким образом сохранившиеся советские символы переопределяются в новом политическом контексте.

В рубрике «Идеи и практика» представлена статья *В.П. Казьминой*, анализирующая реконструкцию «флагманского» исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ, которая, по мнению автора, отражает переход контроля над этим проектом от Русской православной церкви, которая была его инициатором, к Российскому военно-историческому обществу. Рубрику продолжает работа *Е.А. Худоренко*, посвященная языковой политике России в Евразии. Автор рассматривает русский язык как инструмент мягкой силы, особенно важный для евразийской интеграции, и выделяет проблемы продвижения русского языка за рубежом.

Рубрика «Ракурсы» предлагает вниманию читателей статьи *Г.В. Пушкаревой и С.В. Аконова*, намечающие возможности изучения

сквозь призму символической политики «классических» проблем – практик государственного управления и феномена суверенитета.

В рубрике «Интервью» представлено мое интервью с профессором Южного федерального университета С.П. Поцелуевым, который в конце 1990-х годов ввел понятие «символическая политика» в российский научный оборот. Наша беседа посвящена осмыслению формирования данного исследовательского поля в страновых контекстах Германии и России, а также нынешним проектам и творческим планам ростовских коллег.

Завершает номер рубрика «Первая степень», в которой собраны работы молодых исследователей. Аспирант НИУ ВШЭ *С.А. Мясников* анализирует аргументы в пользу присоединения Крыма, содержащиеся в выступлениях В.В. Путина и представителей МИД РФ; при этом он использует весьма популярную у зарубежных исследователей международных отношений теорию стратегических нарративов. Магистрант СПбГУ *И.А. Ушапов* сравнивает интерпретации и способы мемориализации конфликта 1992 г. вокруг Пригородного района в СМИ Ингушетии и Северной Осетии и приходит к выводу, что выявленные им особенности символической политики двух республик в составе РФ не позволяют считать конфликт разрешенным. Соискатель кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России *Д.Ю. Мещеряков*, анализируя документы «Альтернатива для Германии», показывает, каким образом дискурс этой правопопулистской партии возвращает тему «нормализации» нацистского и коммунистического (в Восточной Германии) прошлого в общенациональную дискуссионную повестку.

О.Ю. Малинова

Список литературы

- Бурдые П.* Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 323 с.
- Мельвил А.Ю.* Выйти из «гетто»: о вкладе постсоветских исследований – Russian studies в современную политическую науку // Полис. Политические исследования. – 2020. – № 1. – С. 22–43. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.03>
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – 334 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2014. – Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. – 382 с.

- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2015. – Вып. 3: Политические функции мифов. – 371 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2016. – Вып. 4: Социальное конструирование пространства. – 371 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2017. – Вып. 5: Политика идентичности. – 356 с.

References

- Bourdieu P. *Sociology of social space*. Moscow: Institute of Experimental Sociology; Saint Petersburg: Aletheia, 2007, 323 p. (In Russ.)
- Melville A.Yu. «Out of the Ghetto»: On the contribution of Post-Soviet/Russian studies to contemporary political science. *Polis. Political Studies*. 2020, N 1, P. 22–43. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.03> (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power*. Moscow: INION RAS, 2012, 334 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 2: Discussions about the past as projecting future*. Moscow: INION RAS, 2014, 382 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 3: Political functions of myths*. Moscow: INION RAS, 2015, 371 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 4: Social construction of space*. Moscow: INION RAS, 2016, 371 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 5: Identity politics*. Moscow: INION RAS, 2017, 356 p. (In Russ.)

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дж. ДЖОНСОН, О.Ю. МАЛИНОВА*

**СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ
POLITICAL SCIENCE И RUSSIAN STUDIES:
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОШЛОГО В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ**

Аннотация. Настоящая обзорная статья анализирует вклад политической науки в исследования постсоветской символической политики. Ее основной фокус – политика памяти. В силу определяющей роли официальной идеологии при коммунистических режимах трансформация прежних символических систем оказалась существенной составляющей посткоммунистических транзитов. Этим отчасти объясняется то, что исследования символической политики получили заметное распространение в постсоветских и посткоммунистических странах.

Авторы утверждают, что политологи, занятые изучением постсоветской политики памяти, вносят двоякий вклад в развитие междисциплинарной области исследований памяти (memory studies). Во-первых, они акцентируют проблемы власти, задавая вопрос: кто обладает властью, чтобы манипулировать символами в политическом пространстве, и с какими политическими целями это делается? Это побуждает фокусировать внимание на взаимодействиях различных акторов, не ограничиваясь изучением позиции государства. Во-вторых, политологи внедряют в исследовательское поле, где прежде преобладали исследования отдельных кейсов, современные сравнительные методы и теории. Вместе с тем

* **Джонсон Джулиет**, PhD, профессор департамента политической науки, Университет Макгилла (Монреаль, Канада), e-mail: juliet.johnson@mcgill.ca; **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, профессор департамента политики и управления, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия); главный научный сотрудник Отдела политической науки, Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва, Россия), e-mail: omalinova@hse.ru

междисциплинарный характер исследований памяти побуждает политологов к более тонкой и нюансированной концептуализации власти. Исследования символической политики, столь важные для понимания постсоветского контекста, помогают политологам распространять и легитимировать интерпретативные и этнографические методы в политической науке.

Ключевые слова: символическая политика; политическая наука; руссификация; политика памяти; исследования памяти.

Для цитирования: Джонсон Дж., Малинова О.Ю. Символическая политика как предмет political science и Russian studies: исследования политического использования прошлого в постсоветской России // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 15–41. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.01>

Концепция политики как символического действия была предложена в 1960-х годах М. Эдельманом в качестве ответа на самые что ни на есть «мейнстримные» проблемы американской политической науки [Edelman, 1964]. Однако особую популярность данный подход приобрел именно в связи с изучением политики в постсоветских и посткоммунистических странах. По-видимому, это не случайно: поскольку при коммунистических режимах официальная идеология во многом определяла не только общественную, но и частную жизнь, трансформация прежней символической системы оказывается существенной составляющей посткоммунистических транзитов, в том числе – в России [Gill, 2013]. После распада СССР перед новым российским государством встало множество вопросов: как быть с грандиозным символическим ландшафтом, оставшимся от прежнего режима, надо ли признавать его преступления, и если да, то каким образом, и какой должна быть новая символика. Все эти вопросы и сейчас остаются предметами политических споров.

Политологи, занимавшиеся СССР, привыкли воспринимать роль идеологии в политике всерьез, что в некотором смысле подготовило их к изучению идейно-символических аспектов постсоветских трансформаций. Вместе с тем исследование постсоветской символической политики стимулировало к расширению теоретических и методологических границ. Старые добрые подходы, основанные на «внимательном чтении», были дополнены современными качественными и количественными методами, что позволяет более убедительно доказывать, что «идеи имеют значение».

Настоящая статья посвящена анализу вклада политической науки в исследования постсоветской символической политики. Ее основной фокус – политика памяти, оказавшаяся в центре символических битв, которые ведут постсоветские элиты. Мы сосредоточимся на российском случае; литература по другим постсоветским странам будет рассмотрена постольку, поскольку она затрагивает политику памяти в России. Поскольку нас интересует связь между данным предметным полем и развитием политической науки, основное внимание будет уделено работам представителей именно этой дисциплины.

Мы попытаемся показать, что политологи, занятые изучением постсоветской политики памяти, вносят двоякий вклад в развитие междисциплинарной области исследований памяти (*memory studies*). Во-первых, они акцентируют проблемы власти: кто обладает властью, чтобы манипулировать символами в политическом пространстве, и с какими политическими целями это делается? Во-вторых, политологи внедряют в исследовательское поле, где прежде преобладали исследования отдельных кейсов, современные сравнительные методы и теории. Но есть и обратная связь: междисциплинарный характер исследований памяти побуждает политологов к более тонкой и нюансированной концептуализации власти. Вместе с тем исследования символической политики, столь важные для понимания постсоветского контекста, помогают политологам распространять и легитимировать интерпретативные и этнографические методы в политической науке.

Символическая политика: понятие и исследовательское поле

Термин «символическая политика» (*symbolic politics, symbolic policy*) в последние десятилетия получил заметное распространение, хотя и в разных значениях. Считается, что данное понятие восходит к работам Мюррея Эдельмана [Edelman, 1964; 1971], предложившего новую исследовательскую программу. По мысли Эдельмана, политическая наука должна изучать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (отсылка к заглавию известной работы Г. Ласуэлла «Политика: Кто получает что, когда и как»), но и «механизмы, посредст-

вом которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть» [Edelman, 1964, p. 20]. Эдельман полагал, что манипулирование символами, которые он интерпретировал как «способы организации репертуара воспринимаемой информации в нечто осмысленное» [Edelman, 1971, p. 34], является непрямым элементом таких механизмов.

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы, однако его идеи служат источником вдохновения для многих исследователей, изучающих символические аспекты политики. При этом используются разные терминологические комбинации: «символическая политика» [Brysk, 1995; Поцелуев, 1999; 2012; Малинова, 2012; Smyth, Sobolev, Soboleva, 2013], «символическая деятельность как основание авторитета» [Smith, 2002, p. 6], «символическое оспаривание» [Gamson, Stuart, 1992], «символы в политике» / «символизм в политике» [Kertzer, 1988; Gill, 2011; 2013; Fornäs, 2012]. В большинстве этих словосочетаний прилагательное «символический» используется расширительно: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических отношений. Вместе с тем данное понятие иногда понимается узко (например, дело сводится к изучению государственной символики) [Мисюров, 1999].

Под *символической политикой* часто понимают манипулирование символами и мифами для достижения политических целей [напр.: Edelman, 1964, p. 22–43; Smyth, Sobolev, Soboleva, 2013]. В таком значении символическая политика нередко противопоставляется «настоящей», рассматривается как ее «подмена» [Поцелуев, 1999]. Однако символическая политика может интерпретироваться и более широко, как *публичная деятельность, связанная с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «настоящей» политики. Постсоветская действительность дает богатый материал для изучения подобной борьбы за смыслы, которая не может быть сведена к идеологии в ее традиционном, вербальном и систематическом формате. Это стимулировало появление исследований, которые не только вносят существенную лепту в развитие теории и методологии исследования символической политики, но и предлагают новые способы объяснения политических процессов и их результатов.

Так, исследования австралийского политолога Грэма Гилла продемонстрировали значение символической политики как для устойчивости политических режимов, так и для их трансформации. В двух последовательно изданных монографиях – «Символизм и легитимность в советской политике» и «Символизм и смена режима» [Gill, 2011; 2013] – он проанализировал формирование и распад «советского метанарратива», т.е. совокупности дискурсов, объясняющих настоящее и проектирующих будущее. Представляя собой упрощенную форму официальной марксистско-ленинской идеологии, советский метанарратив служил «главным культурным посредником между режимом и народом» [Gill, 2011, p. 3]. Смещение фокуса с «идеологии», которая считалась специфической особенностью коммунистических стран, на «символическую программу», присущую разным режимам, делает такой подход более универсальным. Изучая конструирование новой символической системы, призванной заменить советскую, Гилл анализировал речи представителей политической элиты, символизм новых политических институтов, дискурсы массовой культуры и изменения культурного ландшафта столицы. Он приходит к выводу, что основной причиной, по которой постсоветской политической элите пока не удастся сконструировать новый «символический нарратив», опирающийся если не на формальную идеологию, то на систему символов, способных «объяснить распад советского эксперимента и то, почему постсоветский режим является его более достойной заменой», является стремление «нормализовать» советскую историю, отказавшись от ее критической проработки [Gill, 2013, p. 7].

Другая область, в которой использование ракурса символической политики помогает объяснять наблюдаемые изменения, – изучение протестов. Как показало исследование Регины Смит, Антона Соболева и Ирины Соболевой, символическая политика пропутинских митингов оказалась важным инструментом упрочения отношений власти и общества в момент кризиса 2011–2012 гг. Основываясь на полевом исследовании, эти авторы проследили изменения в символическом наполнении пропутинских митингов между декабрем 2011 г. и мартом 2012 г. Они обнаружили, что прокремлевская символическая политика была вполне успешной в мобилизации ядра избирателей на поддержку В.В. Путина на президентских выборах, поскольку она способствовала «созданию общей идентичности участников и ограничению электоральных

эффектов оппозиционных протестов» [Smyth, Sobolev, Soboleva, 2013, p. 37]. Впрочем, по мнению авторов, долгосрочные последствия этой символической политики не столь однозначны, поскольку прокремлевские марши обнаружили также «ослабление народной поддержки президента и неспособность режима монополизировать политическую повестку, чтобы убедить ядро своих сторонников» [ibid., p. 25].

Исследования символической политики получили заметное распространение в России. Поиск в Научной электронной библиотеке elibrary.ru выдает более 600 наименований русскоязычных статей, в заглавии которых содержатся соответствующие ключевые слова. Курсы, посвященные данной проблематике, включены в программы подготовки политологов в ряде российских вузов. Отдел политической науки Института научной информации по общественным наукам РАН подготовил пять выпусков ежегодника «Символическая политика», в которых опубликованы статьи и обзоры по широкому спектру тем – от теории и методологии до исследований политики памяти, трансформации праздников, политики идентичности, языковой политики, политических мифов, семантики специфических символов, легитимации власти и социального конструирования пространства [Символическая политика ..., 2012; 2014; 2015; 2016; 2017]. Не будет преувеличением сказать, что в русскоязычном сегменте политической науки исследования символической политики постепенно оформляются в особое направление, сфокусированное на изучении различных «идеационных» составляющих политических процессов в России и в мире. Как уже отмечалось, в этом обзоре мы сосредоточимся на исследованиях политики памяти как наиболее «заметной» области символической политики, чтобы выяснить, каким образом исследования на российском материале способствуют развитию, с одной стороны, политической науки, а с другой – исследований памяти.

Политическая наука и исследования памяти

Под политикой памяти принято понимать взаимодействия «политических сил, заинтересованных в специфических интерпретациях прошлого» [Twenty years after communism ..., 2014, p. 4]. Исследования таких взаимодействий опираются на представление

о том, что коллективная память формируется с помощью манипуляции мифами и символами. Эта идея впервые была сформулирована французским социологом Морисом Хальбваксом в 1925 г. [Halbwachs, 1992]. Концепт коллективной памяти связан с конструктивистской школой исследований национализма, которая утверждает, что нации создаются элитами, конструирующими национальные идентичности с опорой на важные символические события и идеи [Gellner, 1983; *The invention of tradition...* 1983; Anderson, 1991; Smith, 2000]. Многие исследователи изучали роль памяти и коммеморации в контексте работы с социальными травмами, такими, как геноцид или массовые репрессии; они утверждают, что государства не могут уйти от опасного исторического наследия и что построение стабильных демократий невозможно без официального символического признания травматического прошлого [Barkan, 2000; De Lue, 2006]. Политологи изучали, как государства решают проблему «трудного», травматического прошлого, в сравнительной перспективе [Art, 2006; Wüstenberg, Art, 2008; Karn, 2015; Dixon, 2018]. Политические теоретики и философы обсуждают этические проблемы общественной памяти, задаваясь вопросами о том, при каких обстоятельствах государства несут обязанность символически признавать прошлое и какие способы официального публичного признания приемлемы [Booth, 1999; Booth, 2001; Cruz, 2000; Margalit, 2002; Ricœur, 2004].

После пионерского исследования мест памяти во Франции Пьера Нора [Realms of memory, 1996] и работы Джеймса Янга о контрпамятниках в Германии [Young, 1993] появилось множество других исследований памятников и мемориалов, формирующих и стимулирующих общественную память. Еще одна активно исследуемая область – публичные коммеморации общественных событий и фигур [Biesecker, 2002; *The art of commemoration ...*, 2003; *Twenty years ...*, 2014; Malinova, 2018 c; 2018 a; 2018 b и др.].

Свидетельством растущего интереса к исследованиям в этой области стало учреждение журнала «Memory Studies» [Olick, 2008], а затем – Ассоциации исследований памяти [Olick, Sierp, Wüstenberg, 2017].

Политологи, хотя и участвовали в этих исследованиях, были не на первых ролях. Согласно опросу, проведенному в 2013–2014 гг. Анамарией Сегестен и Дженни Вюрстенберг, лишь 13% из 252 респондентов идентифицировали себя с политической наукой

или исследованиями международных отношений; при этом две трети из этих политологов и международников получили свои ученые степени (или готовились их получить) в европейских университетах [Segesten, Wustenberg, 2017]. В какой-то мере недостаток внимания к исследованиям памяти в политической науке – особенно в США – определяется дисциплинарными границами. Здесь можно провести параллель с политической географией: хотя политическим географам и политологам есть что сказать друг другу, эти области сильно изолированы друг от друга [Ethington, McDaniel, 2007]. Да и многие исследователи памяти называют свою область скорее междисциплинарной, нежели междисциплинарной.

Политологические журналы, считающиеся мейнстримными, не слишком дружелюбны к исследованиям памяти. В престижных журналах по компаративистике удалось обнаружить лишь шесть статей, так или иначе относящихся к этой области: две в «Comparative Politics» [Vujačić, 2007; Davis, Cross, 2012], одна в «Comparative Political Studies» [Bruter, 2003] и три в «World Politics» [Dittmer, 1977; Goeckel, 1984; Cruz, 2000]. В силу особенностей своих установок более открытыми новой области оказались «Perspectives on Politics» – один из журналов Американской ассоциации политической науки: он опубликовал три статьи и обзор симпозиума [Varshney, 2003; Maoz, 2008; Murphy, 2009; Nunnally, 2016]. Но это не меняет общей картины: в ключевых политологических журналах исследования по политике памяти маргинальны. Согласно опросу Сегестен и Вюрстенберг, большинство исследователей памяти участвуют в конференциях по региональной проблематике, девять заявили об участии в конгрессах Международной ассоциации политической науки (IPSA), но лишь двое отметили свое участие во «флагманской» ежегодной конференции Американской ассоциации политической науки (APSA) [Segesten, Wustenberg, 2017].

Политическая наука, исследования памяти и распад СССР

Однако политическая наука в посткоммунистических и постсоветских странах является исключением из этого правила. Падение коммунистических правительств в Восточной Европе и распад СССР поставили в повестку непростые задачи государственного строительства. Стимулирование общественных чувств с помощью

переписывания истории и манипулирования историческими артефактами оказалось столь же важным для легитимации посткоммунистических режимов, как ранее для националистических движений [Verdery, 1999; Suny, 1999–2000].

Исследователи памяти начали заниматься этими проблемами с конца 1990-х годов, причем Россия сразу оказалась в центре их внимания. Лидерами, разумеется, были историки [Merridale, 2003; Corney, 2010; Norris, 2011; Wood, 2011; Копосов, 2011; Миллер, 2012 и др.]. Значительный вклад внесли географы, которые много занимались Россией [White, 1995; Khazanov, 1998; 2000; Sidorov, 2000; Grant, 2001; Schleifman, 2001] и Венгрией [Bodnar, 1998; James, 1999; Foote, Toth, Arvay, 2000; James, 2005], а также провели интересные исследования политики памяти в Узбекистане [Bell, 1999], Казахстане [Danzer, 2009], Словении [Jezernik, 1998], Румынии [Bucur, 2002] и объединенной Германии [Cochrane, 2006].

Однако и политологи не остались в стороне. Без анализа битв памяти, развернувшихся вокруг переоценки революций 1917 г., Великой Отечественной войны и распада СССР, было невозможно понять происходившие в России политические трансформации. Политологи включились в исследования политики памяти в начале 2000-х, результатом их усилий стало множество статей в журналах, посвященных региональной и субдисциплинарной проблематике, а также несколько заметных монографий [Smith, 2002; Sherlock, 2007; Danilova, 2015; Малинова, 2015; Dixon, 2018]. Нередко политологи выступали в соавторстве с коллегами – специалистами в области других дисциплин (напр.: War and memory ..., 2017; Forest, Johnson, 2002; 2011; Forest, Johnson, Till, 2004).

Примечательно, что многие из этих исследователей работают в междисциплинарных институтах или программах, а не в традиционных департаментах политической науки; большинство из них – из Европы. Однако, как мы попытаемся показать, это не означает, что их вклад в memory studies не дает одновременно полезное приращение знания для political science.

Власть памяти

Пожалуй, главной отличительной чертой политологических исследований памяти является фокус на проблемах политической власти. Политологи задаются вопросами о том, как группы акторов, располагающие различными властными ресурсами, взаимодействуют по поводу тех или иных проблем, в каких местах и с какими результатами. Очевидно, что в периоды кризисов и перемен политические акторы используют политику памяти, чтобы легитимировать свои притязания на власть и свои интерпретации общественных проблем. Они соперничают за то, чьи представления о прошлом получают признание в качестве основания идентичности государства. Такая политика памяти выявляет и реифицирует степень инклюзивности, характерной для того или иного государства – не только то, кто к нему «принадлежит», но и кто может легитимно стремиться к политической власти.

Изучение памяти как предмета символической политики опирается на ряд теоретических презумпций.

1. Политика памяти рассматривается как совокупность публичных взаимодействий мнемонических акторов, т.е. «политических сил, заинтересованных в особом понимании прошлого» [Twenty years ..., 2014, p. 4]. Не случайно многие политологи практикуют акторно-ориентированный подход, например, к изучению коммемораций исторических событий и фигур [Onken, 2007; Wood, 2011; Малинова, 2018 а; 2018 b; Laruelle, 2019].

2. Мнемонические акторы используют мифы и символы национального прошлого для формирования и разграничивания национальных идентичностей, легитимации власти, мобилизации электоральной поддержки, обмена властными ресурсами и т.п. [Smith, 2002; Mink, Neumayer, 2013].

3. Наиболее важную роль в формировании коллективной памяти играют элиты; поэтому изучение их дискурсов необходимо для понимания динамики памяти. Однако успех этих дискурсов определяется тем, в какой мере они резонируют с памятью населения [Langenbacher, 2008, p. 54; Goode, 2017].

4. Коллективная память опирается на социально-культурную инфраструктуру, включающую тексты, символы, школьные программы, музеи, памятники, ритуалы, праздники и т.п. [Irwin-Zarecka, 1994, p. 14; Langenbacher, 2010, p. 29]. Развитие этой

инфраструктуры – предмет политической борьбы [Smith, 2002; Forest, Johnson, 2011].

5. Ресурсы мнемонических акторов неравны; их распределение отражает структуру отношений власти и доминирования [Forest, Johnson, 2011; Mink, Neumayer, 2013]. Поэтому главный вопрос – кто обладает властью для манипулирования символами в публичном пространстве и с какими целями?

6. Гегемония тех или иных версий памяти о давнем или недавнем прошлом является динамическим результатом взаимодействия (конкуренции или конвергенции) разных нарративов.

Ярким примером такого подхода является монография Кэтлин Смит «Формирование мифов в новой России: политика и память в эпоху Ельцина» [Smith, 2002], описывающая, каким образом сторонники и противники режима пытались использовать памятники, праздники, гимн и другие символы для выражения политических симпатий, дискредитации оппонентов, привлечения общественной поддержки и др. Ни декларация суверенитета, ни резкий разрыв с прежней политической системой не гарантируют быстрого принятия новых идентичностей или быстрого изменения исторических нарративов, объясняющих, каким образом настоящее получается из прошлого. Накал борьбы, которой сопровождалась трансформация символического ландшафта, хорошо иллюстрирует и исследование борьбы за памятники в российской столице, проведенное Джулиет Джонсон совместно с географом Бенджамином Форестом [Forest, Johnson, 2002]. Анализ дилемм, с которыми сталкивалась символическая политика ельцинского периода, позволяет лучше понять причины неудач демократического транзита в России.

Политологи также много занимаются современными конфликтами памяти, в том числе – международными. Одним из наиболее активно изучаемых случаев таких конфликтов стал спор о перемещении «Бронзового солдата» – памятника советским воинам в Таллине в 2007 г. [Onken, 2007; Lehti, Jutila, Jokisipilä, 2008; Brüggemann, Kasekamp, 2008]. Исследования политологов показывают, каким образом наложение эстонской электоральной политики, российской государственной политики памяти, конфликтующих режимов памяти о Второй мировой войне и российской геополитической идентичности сделало перенос статуи русского

солдата в Таллине символом современных противоречий между Эстонией и Россией.

Упор на взаимодействие мнемонических акторов является не менее важной особенностью политологических исследований памяти, чем сосредоточенность на проблемах власти. Хотя государство рассматривается в качестве важного игрока, его действия не происходят в вакууме: разнообразная публика, от НКО и религиозных организаций до беллетристов и уличных художников соперничают с государственными акторами в формировании символической политики. Понимание власти и ее возможностей негосударственными акторами порой отличается от традиционного, что делает символическую политику особенно поучительной для политологов. Примером такого подхода может служить первая монография Кэтлин Смит, посвященная борьбе за возвращение памяти о жертвах сталинских репрессий в начале 1990-х годов [Smith, 1996].

Теория и метод

Однако вклад политологов в *memory studies* определяется не только особыми ракурсами анализа. В этой области преобладают дисциплины, которые пользуются интерпретирующими методами и стремятся подчеркнуть уникальность или особенность рассматриваемых явлений. Исследователи памяти редко прибегают к систематическому кросс-национальному анализу, фокусируясь на паттернах символических действий. Действительно, символы имеют столь богатое и динамичное культурное содержание, что систематические сравнения кажутся и ненужными, и трудно осуществимыми. Однако политическая наука как раз ценит систематические сравнения и объяснения, опирающиеся на обобщение достаточного количества наблюдений. То обстоятельство, что символическая политика и политика памяти распространены повсеместно, делают их хорошими объектами для сравнительных исследований.

Один из примеров такого объяснительного подхода – книга Стюарта Кауфмана «Современная ненависть: Символическая политика этнической войны», автор которой, опираясь на исследования постсоветских случаев, показывает, каким образом обращение

политических лидеров к этническим мифам и символам может подстрекать к межэтническим конфликтам или углублять их [Kaufman, 2001]. Другим примером является сравнительное исследование процессов мемориализации в России и Германии, демонстрирующее, что характерное для многих исследований памяти разделение элит и общества может затушевывать действительные конфликты, не позволяя видеть множественные союзы между разными элитами и публиками [Forest, Johnson, Till, 2004]. Сравнительное исследование Наталии Даниловой о коммеморации памяти погибших воинов в России и Великобритании показывает общее и различное в использовании памяти для оправдания современных военных кампаний [Danilova, 2015].

Возможно, наиболее амбициозный сравнительный проект – исследование коммемораций 20-летних годовщин падения коммунистических режимов в Восточной Европе под руководством М. Бернхарда и Я. Кубика. Дизайн исследования предполагал использование концептов мнемонических акторов и типологии режимов памяти для анализа страновых случаев. Это позволило исследователям, участвовавшим в проекте, выявить динамику политики для каждого из кейсов, а также с помощью качественного сравнительного анализа (QCA) выявить факторы, определявшие режимы памяти [Twenty years ..., 2014]. Следует отметить, что типологизация режимов памяти применялась и другими исследованиями [Onken, 2007].

Важной методической новацией для *memory studies* было формирование баз данных для сравнительных исследований. Так, Форест и Джонсон создали базу, позволяющую анализировать случаи установки, демонтажа и изменения памятников в постсоветских странах, которая позволяет производить количественный анализ для сравнения монументальной политики в зависимости от типов режимов [Forest, Johnson, 2011]. Эта база доступна для других исследователей по адресу: <http://postcommunistmonuments.ca/>, и судя по отчетам о трафике, с момента ее создания в 2012 г. использовалась около тысячи раз. Ранее эти исследователи использовали опросы, чтобы установить, насколько значимыми являются те или иные места памяти и праздники в постсоветской России [Forest, Johnson, 2002].

Многие политологи используют дискурс-анализ для изучения памятных речей политиков. Такие речи представляют собой

особый вид риторики, посвященной конкретным историческим эпизодам и фигурам [Biesecker, 2002; The art of commemoration ..., 2003; Joesalu, 2012]. Их анализ позволяет выявлять приемы эффективного использования прошлого с политическими целями. Кроме того, памятные речи дают богатый материал для изучения репертуара актуального, т.е. политически используемого, прошлого. Так, анализ памятных речей российских президентов позволил О.Ю. Малиновой выявить эволюцию представлений властвующей элиты о том, какие эпизоды отечественной истории следует «актуализировать» для политического использования [Малинова, 2015, с. 156–174]. Политологи также использовали систематический критический анализ российских учебников истории, чтобы выявить методы дискурсивной манипуляции при изложении сталинского периода [Nelson, 2015].

Интерпретирующий и междисциплинарный характер исследований памяти стимулирует применение конструктивистского подхода и качественных методов, что в свою очередь способствует их продвижению в *political science*, которая больше жалует количественные исследования [см.: Goode, 2010].

Ломая стены

Изучение постсоветского опыта не только обогатило политическую науку и исследования памяти, но и предвосхитило миниренессанс исследований символической политики, который проявляется сейчас в исследованиях «арабской весны» или наследия Гражданской войны в США. Однако политическая наука как дисциплина пока не в полной мере использует возможности этого подхода: такие исследования редко появляются в мейнстримных журналах и ведущих университетских издательствах, даже если они неплохо цитируются. Это говорит об определенной зашоренности нашей дисциплины. Политологам, которые занимаются исследованиями памяти и воспринимают свойственный данной области теоретический и методологический плюрализм всерьез, следует продолжать бороться за его принятие в *political science*. И исследователи постсоветских стран имеют шансы быть во главе этого движения.

Список литературы

- Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: НЛЮ, 2011. – 320 с.
- Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 5–16.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 190 с.
- Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: анализ стратегий ключевых мнемонических акторов // Полис. Политические исследования. – 2018 а. – № 1. – С. 9–25. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.02>
- Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. – 2018 б. – № 2. – С. 37–56. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04>
- Миллер А.И. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / под ред. А.И. Миллера, М. Липман. – М.: НЛЮ, 2012. – С. 328–367.
- Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой // Полис. Политические исследования. – 1999. – № 1. – С. 168–174.
- Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. Политические исследования. – 1999. – № 5. – С. 62–76.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: к истории концепта // Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – 334 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2014. – Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. – 382 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2015. – Вып. 3: Политические функции мифов. – 371 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2016. – Вып. 4: Социальное конструирование пространства. – 371 с.
- Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2017. – Вып. 5: Политика идентичности. – 356 с.
- Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. – N.Y.: Verso, 1991. – 256 p.
- Art D. The politics of the Nazi Past in Germany and Austria. – Cambridge: Cambridge university press, 2006. – xii, 231 p.
- Barkan E. The guilt of nations: restitution and negotiating historical injustices. – N.Y.: W.W. Norton, 2000. – xii, 414 p.
- Bell J. Redefining national identity in Uzbekistan: symbolic tensions in Tashkent's official public landscape // Cultural geographies. – 1999. – Vol. 6, N 2. – P. 183–213. – DOI: <https://doi.org/10.1177/096746089900600204>

- Biesecker B.A.* Remembering World War II: the rhetoric and politics of national commemoration at the turn of the 21 st century // *Quarterly journal of speech.* – 2002. – Vol. 88, N 4. – P. 393–409. – DOI: <https://doi.org/10.1080/00335630209384386>
- Bodnar J.* Assembling the square: social transformation in public space and the broken mirage of the second economy in postsocialist Budapest // *Slavic review.* – 1998. – Vol. 57, N 3. – P. 489–515. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2500709>
- Booth W.J.* Communities of memory: On identity, memory, and debt // *American political science review.* – 1999. – Vol. 93, N 2. – P. 249–263. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2585394>
- Booth W.J.* The unforgotten: Memories of justice // *American political science review.* – 2001. – Vol. 95, N 4. – P. 777–791. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0003055400400018>
- Brysk A.* “Hearts and minds”: bringing symbolic politics back in” // *Polity.* – 1995. – Vol. 27, N 4. – P. 559–585. – DOI: <https://doi.org/10.2307/3234960>
- Brüggemann K., Kasekamp A.* The politics of history and the “War of Monuments” in Estonia // *Nationalities papers.* – 2008. – Vol. 36, N 3. – P. 425–448. – DOI: <https://doi.org/10.1080/00905990802080646>
- Bruter M.* Winning hearts and minds for Europe: The impact of news and symbols on civic and cultural European identity // *Comparative political studies.* – 2003. – Vol. 36, N 10. – P. 1148–1179. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414003257609>
- Bucur M.* Treznea – trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania // *Rethinking history.* – 2002. – Vol. 6, N 1. – P. 35–55. – DOI: <https://doi.org/10.1080/13642520110112100>
- Cochrane A.* Making up meanings in a capital city: power, memory and monuments in Berlin // *European urban and regional studies.* – 2006. – Vol. 13, N 1. – P. 5–24. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0969776406060827>
- Corney F.C.* Interrogating the past in modern Russia: the promise and peril of historical memory studies: guest editor's introduction // *Russian studies in history.* – 2010. – Vol. 49, N 1. – P. 3–7. – DOI: <https://doi.org/10.2753/rsh1061-1983530100>
- Cruz C.* Identity and persuasion: how nations remember their pasts and make their futures // *World politics.* – 2000. – Vol. 52, N 3. – P. 275–312. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0043887100016555>
- Danilova N.* The Politics of war commemoration in the UK and Russia. – L.: Palgrave Macmillan, 2015. – xv, 256 p.
- Danzer A.M.* Battlefields of ethnic symbols. Public space and post-Soviet identity formation from a minority perspective // *Europe-Asia studies.* – 2009. – Vol. 61, N 9. – P. 1557–1577. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09668130903209137>
- Davis Cross M.K.* Identity politics and European integration // *Comparative politics.* – 2012. – Vol. 44, N 2. – P. 229–246. – DOI: <https://doi.org/10.5129/001041512798838012>
- De Lue S.M.* The enlightenment, public memory, liberalism, and the post-communist world // *East European politics and societies.* – 2006. – Vol. 20, N 3. – P. 395–418. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0888325405275985>

- Dittmer L.* Political culture and political symbolism: Toward a theoretical synthesis // *World politics*. – 1977. – Vol. 29, N 4. – P. 552–583. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2010039>
- Dixon J.M.* Dark pasts. Changing the state's story in Turkey and Japan. – Ithaca etc.: Cornell university press, 2018. – xii, 258 p.
- Edelman M.* The symbolic uses of politics. – Urbana: University of Illinois press, 1964. – 201 p.
- Edelman M.* Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence. – Chicago: Markham publishing company, 1971. – ix, 188 p.
- Ethington P.J., McDaniel J.A.* Political places and institutional spaces: The intersection of political science and political geography // *Annual Review of Political Science*. – 2007. – Vol. 10, N 1. – P. 127–142. – DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.080505.100522>
- Foote K., Toth A., Arvay A.* Hungary after 1989: Inscribing a new past on place // *Geographical Review*. – 2000. – Vol. 90, N 3. – P. 301–334. – DOI: <https://doi.org/10.2307/3250856>
- Forest B., Johnson J.* Unraveling the threads of history: Soviet-era monuments and post-Soviet national identity in Moscow // *Annals of the association of American geographers*. – 2002. – Vol. 92, N 3. – P. 524–547. – DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00303>
- Forest B., Johnson J., Till K.* Post - totalitarian national identity: public memory in Germany and Russia // *Social & cultural geography*. – 2004. – Vol. 5, N 3. – P. 357–380. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1464936042000252778>
- Forest B., Johnson J.* Monumental politics: regime type and public memory in post-communist states // *Post-Soviet affairs*. – 2011. – Vol. 27, N 3. – P. 269–288. – DOI: <https://doi.org/10.2747/1060-586x.27.3.269>
- Fornäs J.* Signifying Europe. – Chicago: University of Chicago press, 2012. – 339 p.
- Gamson W.A., Stuart D.* Media discourse as a symbolic contest: the bomb in political cartoons // *Sociological Forum*. – 1992. – Vol. 7, N 1. – P. 55–86. – DOI: <https://doi.org/10.1007/bf01124756>
- Gellner E.* Nations and nationalism. – Ithaca: Cornell university press, 1983. – 152 p.
- Gill G.* Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge university press, 2011. – vi, 356 p.
- Gill G.* Symbolism and regime change: Russia. – Cambridge: Cambridge university press, 2013. – viii, 246 p.
- Goeckel R.F.* The Luther anniversary in East Germany // *World politics*. – 1984. – Vol. 37, N 1. – P. 112–133. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2010308>
- Goode J.P.* Redefining Russia: hybrid regimes, fieldwork, and Russian politics // *Perspectives on Politics*. – 2010. – Vol. 8, N 4. – P. 1055–1075. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s153759271000318x>
- Goode J.P.* Humming along: Public and private patriotism in Putin's Russia // *Everyday nationhood: Theorising culture, identity and belonging after banal nationalism* / M. Skey, M. Antonsich (eds). – L.: Palgrave Macmillan, 2017. – P. 121–146.
- Grant B.* New Moscow monuments, or, states of innocence // *American ethnologist*. – 2001. – Vol. 28, N 2. – P. 332–362. – DOI: <https://doi.org/10.1525/ae.2001.28.2.332>

- Halbwachs M.* On collective memory. – Chicago: University of Chicago press, 1992. – 244 p.
- Irwin-Zarecka I.* Frames of remembrance. The dynamics of collective memory. – New Brunswick etc.: Transaction Publishers, 1994. – xiv, 214 p.
- James B.* Fencing in the past: Budapest's statue park museum // *Media Culture & Society*. – 1999. – Vol. 21, N 3. – P. 291–311. – DOI: <https://doi.org/10.1177/016344399021003001>
- James B.* Imagining postcommunism: Visual narratives of Hungary's 1956 Revolution. – Texas: A&M University press, 2005. – xi, 202 p.
- Jezernik B.* Monuments in the winds of change // *International journal of urban and regional research*. – 1998. – Vol. 22, N 4. – P. 582–588. – DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00162>
- Joesalu K.* The role of the Soviet past in post-Soviet memory politics through examples of speeches from Estonian presidents // *Europe-Asia studies*. – 2012. – Vol. 64, N 6. – P. 1007–1032. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2012.691723>
- Karn A.* Amending the past. Europe's Holocaust commissions and the right to history. – Wisconsin: The university of Wisconsin press, 2015. – 336 p.
- Kaufman S.J.* Modern hatreds: The symbolic politics of ethnic war. – Ithaca: Cornell university press, 2001. – 401 p.
- Kertzer D.I.* Ritual, politics, and power. – New Haven, etc.: Yale university press, 1988. – ix, 235 p.
- Khazanov A.M.* Post-Communist Moscow: re-building the “third Rome” in the country of missed opportunities? // *City & Society*. – 1998. – Vol. 10, N 1. – P. 269–314. – DOI: <https://doi.org/10.1525/city.1998.10.1.269>
- Khazanov A.M.* Selecting the past: the politics of memory in Moscow's history museums // *City & Society*. – 2000. – Vol. 12, N 2. – P. 35–62. – DOI: <https://doi.org/10.1525/city.2000.12.2.35>
- Langenbacher E.* Twenty-first century memory regimes in Germany and Poland: an analysis of elite discourses and public opinion // *German politics and society*. – 2008. – Vol. 26, N 4. – P. 50–81. – DOI: <https://doi.org/10.3167/gps.2008.260404>
- Langenbacher E.* Collective memory as a factor in political culture and international relations // *Power and the past. Collective memory and international relations* / E. Langenbacher, Y. Shain (eds). – Washington: Georgetown university press, 2010. – P. 13–49.
- Laruelle M.* Commemorating 1917 in Russia: ambivalent state history policy and the church's conquest of the history market // *Europe-Asia studies*. – 2019. – Vol. 71, N 2. – P. 249–267. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1552922>
- Lehti M., Jutila M., Jokisipilä M.* Never-ending Second World War: public performances of national dignity and the drama of the Bronze soldier // *Journal of Baltic studies*. – 2008. – Vol. 39, N 4. – P. 393–418. – DOI: <https://doi.org/10.1080/01629770802461175>
- Malinova O.* The embarrassing centenary: reinterpretation of the 1917 revolution in the official historical narrative of post-soviet Russia (1991–2017) // *Nationalities papers*. – 2018 c. – Vol. 46, N 2. – P. 272–289. – DOI: <https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1386639>

- Maoz Z.* The Pursuit of peace and the crisis of Israeli identity: defending/defining the nation // Perspectives on politics. – 2008. – Vol. 6, N 1. – P. 211–212. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592708080559>
- Margalit A.* The ethics of memory. – Cambridge: Harvard university press, 2002. – 240 p.
- Merridale C.* Redesigning history in contemporary Russia // Journal of contemporary history. – 2003. – Vol. 38, N 1. – P. 13–28. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0022009403038001961>
- Mink G., Neumayer L.* Introduction // History, memory and politics in Central and Eastern Europe: memory games / G. Mink, L. Neumayer (eds). – Basingstoke, etc.: Palgrave Macmillan, 2013. – P. 1–20.
- Murphy A.R.* Longing, nostalgia, and golden age politics: The American jeremiad and the power of the past // Perspectives on politics. – 2009. – Vol. 7, N 1. – P. 125–141. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592709090148>
- Nelson T.H.* History as ideology: The portrayal of Stalinism and the Great Patriotic War in contemporary Russian high school textbooks // Post-Soviet affairs. – 2015. – Vol. 31, N 1. – P. 37–65. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1060586x.2014.942542>
- Norris S.M.* Memory for sale: Victory Day 2010 and Russian remembrance // The Soviet and post-Soviet review. – 2011. – Vol. 38, N 2. – P. 201–229. – DOI: <https://doi.org/10.1163/187633211x589123>
- Nunnally S.C.* How we remember (and forget) in our public history // Perspectives on politics. – 2016. – Vol. 14, N 3. – P. 764–765. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592716001328>
- Olick J.K.* «Collective memory»: a memoir and prospect // Memory studies. – 2008. – Vol. 1, N 1. – P. 23–29. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083885>
- Olick J.K., Sierp A., Wüstenberg J.* The Memory studies association: ambitions and an invitation // Memory studies. – 2017. – Vol. 10, N 4. – P. 490–494. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698017721792>
- Onken E.C.* The Baltic states and Moscow's 9 May commemoration: Analysing memory politics in Europe // Europe-Asia Studies. – 2007. – Vol. 59, N 1. – P. 23–46. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09668130601072589>
- Realms of memory: rethinking the French past* / P. Nora (ed.). – New York: Columbia university press, 1996. – Vol. 1: Conflicts and divisions. – 642 p.
- Ricoeur P.* Memory, history, forgetting. – Chicago: University of Chicago press, 2004. – 624 p.
- Schatz E.* Transnational image making and soft authoritarian Kazakhstan // Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 50–62. – DOI: <https://doi.org/10.2307/27652766>
- Schleifman N.* Moscow's Victory park: a monumental change // History and memory. – 2001. – Vol. 13, N 2. – P. 5–34. – DOI: <https://doi.org/10.1353/ham.2001.0012>
- Sherlock T.* Historical narratives in the Soviet Union and post-Soviet Russia: Destroying the settled past, creating an uncertain future. – New York: Palgrave Macmillan, 2007. – viii, 271 p.
- Segesten A.D., Wüstenberg J.* Memory studies: The state of an emergent field // Memory Studies. – 2017. – Vol. 10, N 4. – P. 474–489. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698016655394>

- Sidorov D.* National monumentalization and the politics of scale: the resurrections of the cathedral of Christ the Savior in Moscow // *Annals of the Association of American geographers*. – 2000. – Vol. 90, N 3. – P. 548–572. – DOI: <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00208>
- Smith A.* *Myths and memories of the nation*. – Oxford: Oxford university press, 2000. – 288 p.
- Smith K.E.* *Remembering Stalin's victims: popular memory and the end of the USSR*. – Ithaca, NY: Cornell university press, 1996. – 238 p.
- Smith K.E.* *Mythmaking in the new Russia: politics and memory in the Yeltsin era*. – Ithaca: Cornell university press, 2002. – xi, 223 p.
- Smyth R., Sobolev A., Soboleva I.* A Well-organized play: symbolic politics and the effect of the pro-Putin rallies // *Problems of Post-Communism*. – 2013. – Vol. 60, N 2. – P. 24–39. – DOI: <https://doi.org/10.2753/ppc1075-8216600203>
- Suny R.* Provisional stabilities: the politics of identity in Post-Soviet Eurasia // *International security*. – 1999–2000. – Vol. 24, N 3. – P. 139–178. – DOI: <https://doi.org/10.1162/016228899560266>
- The art of commemoration: fifty years after the Warsaw uprising* / ed. by T. Ensink, C. Sauer. – Amsterdam etc.: John Benjamins publishing company, 2003. – xi, 245 p.
- The invention of tradition* / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds). – Cambridge: Cambridge university press, 1983. – vii, 320 p.
- The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates* / A. Gofas, C. Hay (eds). – L. etc.: Routledge, 2010. – 224 p.
- Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration* / M.H. Bernhard, J. Kubik (eds). – Oxford: Oxford university press, 2014. – xviii, 362 p.
- Varshney A.* Nationalism, ethnic conflict, and rationality // *Perspectives on politics*. – 2003. – Vol. 1, N 1. – P. 85–99. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592703000069>
- Verdery K.* *The political lives of dead bodies: reburial and postsocialist change*. – New York: Columbia university press, 1999. – 208 p.
- Vujačić V.* Elites, narratives, and nationalist mobilization in the former Yugoslavia // *Comparative politics*. – 2007. – Vol. 40, N 1. – P. 103–124. – DOI: <https://doi.org/10.5129/001041507x12911361134514>
- War and memory in Russia, Ukraine and Belarus* / J. Fedor et. al. (eds). – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. – xxvii, 506 p.
- White A.* The memorial society in the Russian provinces // *Europe-Asia studies*. – 1995. – Vol. 47, N 8. – P. 1343–1366. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09668139508412324>
- Wood E.A.* Performing memory: Vladimir Putin and the celebration of World War II in Russia // *The Soviet and Post-Soviet review*. – 2011. – Vol. 38, N 2. – P. 172–200. – DOI: <https://doi.org/10.1163/187633211x591175>
- Wüstenberg J., Art D.* Using the past in the Nazi successor states from 1945 to the present // *The annals of the American academy of political and social science*. – 2008. – Vol. 617. – P. 72–87. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716207312762>
- Young J.* *The texture of memory: Holocaust memorials and meaning*. – New Haven, CT: Yale university press, 1993. – 398 p.

J. Johnson, O.Yu. Malinova *
Symbolic politics in political science
and Russian studies: research on the political uses
of the past in post-soviet Russia

Abstract. In this review article we examine political science's contribution to post-Soviet symbolic politics through a focus on memory politics, which took center stage in the political competition among post-Communist elites. Under the Soviet regime, Communist ideology and its symbolism permeated both public and private life. After this system collapsed, confronting the *ancient regime's* symbolic presence became a visible and often dramatic aspect of post-Soviet transformation in the newly independent states. This led to the proliferation of research on symbolic politics in post-Communist countries.

The authors argue that political scientists, newly inspired by post-Soviet memory politics, have made two major contributions to the field of memory studies. First, political scientists brought the issue of power to the fore – who had the power to manipulate symbols in public space, and to what political ends? This research encourages a focus on the interactions among various mnemonic actors, rather than solely on the state. Second, political scientists brought innovative comparative theories and methods to a field previously dominated by studies of single monuments, cities, and countries. At the same time, the interdisciplinary nature of memory studies has encouraged political scientists to conceptualize power in more nuanced ways and helped to spread and legitimize the use of interpretive and ethnographic methods in political science.

Keywords: symbolic politics; political science; Russian studies; memory politics; memory studies.

For citation: Johnson J., Malinova O.Yu. Symbolic politics as a matter of political science and Russian studies: Studies of political uses of the past in post-Soviet Russia. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 15–41. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.01>

References

- Anderson B. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. New York.: Verso, 1991, 256 p.
- Art D. *The politics of the Nazi Past in Germany and Austria*. Cambridge: Cambridge university press, 2006, xii, 231 p.

* **Juliet Johnson**, PhD, Professor of Political Science, McGill University (Montreal, Canada), juliet.johnson@mcgill.ca; **Olga Malinova**, Doctor of Philosophy, Professor, National Research University Higher School of Economics; Chief Research Fellow, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences, e-mail: omalinova@hse.ru.

- Barkan E. *The guilt of nations: restitution and negotiating historical injustices*. New York: W.W. Norton, 2000, xii, 414 pp.
- Bell J. Redefining national identity in Uzbekistan: symbolic tensions in Tashkent's official public landscape. *Cultural geographies*. 1999, Vol. 6, N 2, P. 183–213. DOI: <https://doi.org/10.1177/096746089900600204>
- Biesecker B.A. Remembering World War II: the rhetoric and politics of national commemoration at the turn of the 21 st century. *Quarterly journal of speech*. 2002, Vol. 88, N 4, P. 393–409. DOI: <https://doi.org/10.1080/00335630209384386>
- Bodnar J. Assembling the square: social transformation in public space and the broken mirage of the second economy in postsocialist Budapest. *Slavic Review*. 1998. Vol. 57, N 3, P. 489–515. DOI: <https://doi.org/10.2307/2500709>
- Booth W.J. Communities of memory: On identity, memory, and debt. *American political science review*. 1999. Vol. 93, N 2, P. 249–263. DOI: <https://doi.org/10.2307/2585394>
- Booth W.J. The unforgotten: memories of justice. *American political science review*. 2001, Vol. 95, N 4, P. 777–791. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0003055400400018>
- Brysk A. “Hearts and minds”: bringing symbolic politics back in”. *Polity*. 1995, Vol. 27, N 4, P. 559–585. DOI: <https://doi.org/10.2307/3234960>
- Brüggemann K., Kasekamp A. The politics of history and the “War of Monuments” in Estonia. *Nationalities papers*. 2008, Vol. 36, N 3, P. 425–448. DOI: <https://doi.org/10.1080/00905990802080646>
- Bruter M. Winning hearts and minds for Europe: The impact of news and symbols on civic and cultural European identity. *Comparative political studies*. 2003, Vol. 36, N 10, P. 1148–1179. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414003257609>
- Bucur M. Treznea – trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania. *Rethinking History*. 2002, Vol. 6, N 1, P. 35–55. DOI: <https://doi.org/10.1080/13642520110112100>
- Cochrane A. Making up meanings in a capital city: power, memory and monuments in Berlin. *European Urban and Regional Studies*. 2006, Vol. 13, N 1, P. 5–24. DOI: <https://doi.org/10.1177/0969776406060827>
- Corney F.C. Interrogating the past in modern Russia: the promise and peril of historical memory studies: guest editor's introduction. *Russian Studies in History*. 2010, Vol. 49, N 1, P. 3–7. DOI: <https://doi.org/10.2753/rsh1061-1983530100>
- Cruz C. Identity and persuasion: how nations remember their pasts and make their futures. *World politics*. 2000, Vol. 52, N 3, P. 275–312. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0043887100016555>
- Danilova N. *The politics of war commemoration in the UK and Russia*. L.: Palgrave Macmillan, 2015, xv, 256 p.
- Danzer A.M. Battlefields of ethnic symbols. Public space and post-Soviet identity formation from a minority perspective. *Europe-Asia studies*. 2009, Vol. 61, N 9, P. 1557–1577. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668130903209137>
- Davis Cross M.K. Identity politics and European integration. *Comparative politics*. 2012, Vol. 44, N 2, P. 229–246. DOI: <https://doi.org/10.5129/001041512798838012>

- De Lue S.M. The enlightenment, public memory, liberalism, and the post-communist world. *East European politics and societies*. 2006, Vol. 20, N 3, P. 395–418. DOI: <https://doi.org/10.1177/0888325405275985>
- Dittmer L. Political culture and political symbolism: Toward a theoretical synthesis. *World politics*. 1977, Vol. 29, N 4, P. 552–583. DOI: <https://doi.org/10.2307/2010039>
- Dixon J.M. *Dark pasts. Changing the state's story in Turkey and Japan*. Ithaca etc.: Cornell university press, 2018, xii, 258 p.
- Edelman M. *The symbolic uses of politics*. Urbana: University of Illinois Press, 1964, 201 p.
- Edelman M. *Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence*. Chicago: Markham publishing company, 1971, ix, 188 p.
- Ethington P.J., McDaniel J.A. Political places and institutional spaces: The intersection of political science and political geography. *Annual review of political science*. 2007, Vol. 10, N 1, P. 127–142. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.080505.100522>
- Foote K., Toth A., Arvay A. Hungary after 1989: Inscribing a new past on place. *Geographical Review*. 2000, Vol. 90, N 3, P. 301–334. DOI: <https://doi.org/10.2307/3250856>
- Forest B., Johnson J. Unraveling the threads of history: Soviet-era monuments and post-Soviet national identity in Moscow. *Annals of the association of American geographers*. 2002, Vol. 92, N 3, P. 524–547. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00303>
- Forest B., Johnson J., Till K. Post - totalitarian national identity: public memory in Germany and Russia. *Social & cultural geography*. 2004, Vol. 5, N 3, P. 357–380. DOI: <https://doi.org/10.1080/1464936042000252778>
- Forest B., Johnson J. Monumental politics: regime type and public memory in post-communist states. *Post-Soviet affairs*. 2011, Vol. 27, N 3, P. 269–288. DOI: <https://doi.org/10.2747/1060-586x.27.3.269>
- Fornäs J. *Signifying Europe*. Chicago: University of Chicago Press, 2012, 339 p.
- Gamson W.A., Stuart D. Media discourse as a symbolic contest: the bomb in political cartoons. *Sociological forum*. 1992, Vol. 7, N 1, P. 55–86. DOI: <https://doi.org/10.1007/bf01124756>
- Gellner E. *Nations and nationalism*. Ithaca: Cornell university press, 1983, 152 p.
- Gill G. *Symbols and legitimacy in Soviet politics*. Cambridge: Cambridge university press, 2011, vi, 356 p.
- Gill G. *Symbolism and regime change: Russia*. Cambridge: Cambridge university press, 2013, viii, 246 p.
- Goeckel R.F. The Luther anniversary in East Germany. *World politics*. 1984, Vol. 37, N 1, P. 112–133. DOI: <https://doi.org/10.2307/2010308>
- Goode J.P. Redefining Russia: hybrid regimes, fieldwork, and Russian politics. *Perspectives on Politics*. 2010, Vol. 8, N 4, P. 1055–1075. DOI: <https://doi.org/10.1017/s153759271000318x>
- Goode J.P. Humming along: Public and private patriotism in Putin's Russia. In: Skey M., Antonsich M. (eds). *Everyday nationhood: Theorising culture, identity and belonging after banal nationalism*. London: Palgrave Macmillan, 2017, P. 121–146.

- Grant B. New Moscow monuments, or, states of innocence. *American ethnologist*. 2001, Vol. 28, N 2, P. 332–362. DOI: <https://doi.org/10.1525/ae.2001.28.2.332>
- Halbwachs M. *On collective memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992, 244 p.
- Irwin-Zarecka I. *Frames of remembrance. The dynamics of collective memory*. New Brunswick etc.: Transaction Publishers, 1994, xiv, 214 p.
- James B. Fencing in the past: Budapest's statue park museum. *Media Culture & Society*. 1999, Vol. 21, N 3, P. 291–311. DOI: <https://doi.org/10.1177/016344399021003001>
- James B. *Imagining postcommunism: Visual narratives of Hungary's 1956 Revolution*. Texas A&M: University press, 2005, xi, 202 p.
- Jezernik B. Monuments in the winds of change. *International journal of urban and regional research*. 1998, Vol. 22, N 4, P. 582–588. DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00162>
- Joesalu K. The role of the Soviet past in post-Soviet memory politics through examples of speeches from Estonian presidents. *Europe-Asia Studies*, 2012, Vol. 64, N 6, P. 1007–1032. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2012.691723>
- Karn A. *Amending the past. Europe's Holocaust commissions and the right to history*. Wisconsin: The university of Wisconsin press, 2015, 336 p.
- Kaufman S.J. *Modern hatreds: The symbolic politics of ethnic war*. Ithaca: Cornell university press, 2001, 401 p.
- Kertzer D.I. *Ritual, politics, and power*. New Haven, etc.: Yale university press, 1988, ix, 235 p.
- Khazanov A.M. Post-Communist Moscow: re-building the “third Rome” in the country of missed opportunities? *City & Society*. 1998, Vol. 10, N 1, P. 269–314. DOI: <https://doi.org/10.1525/city.1998.10.1.269>
- Khazanov A.M. Selecting the past: the politics of memory in Moscow's history museums. *City & Society*. 2000, Vol. 12, N 2, P. 35–62. DOI: <https://doi.org/10.1525/city.2000.12.2.35>
- Koposov N. *Strict security memory: history and politics in Russia*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, 320 p. (In Russ.).
- Langenbacher E. Twenty-first century memory regimes in Germany and Poland: an analysis of elite discourses and public opinion. *German Politics and Society*. 2008, Vol. 26, N 4, P. 50–81. DOI: <https://doi.org/10.3167/gps.2008.260404>
- Langenbacher E. Collective memory as a factor in political culture and international relations. In: *Power and the past. Collective memory and international relations*. E. Langenbacher, Y. Shain (eds). Washington: Georgetown university press, 2010, P. 13–49.
- Laruelle M. Commemorating 1917 in Russia: ambivalent state history policy and the church's conquest of the history market. *Europe-Asia studies*. 2019, Vol. 71, N 2, P. 249–267. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1552922>
- Lehti M., Jutila M., Jokisipilä M. Never-ending Second World War: public performances of national dignity and the drama of the Bronze soldier. *Journal of Baltic studies*. 2008, Vol. 39, N 4, P. 393–418. DOI: <https://doi.org/10.1080/01629770802461175>

- Malinova O. Symbolic politics: outlining the research field. In: *Symbolic Politics*. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power. Moscow: INION RAS, 2012, P. 5–16. (In Russ.)
- Malinova O. *The usable past: Symbolic politics of the governing elites and dilemmas of the Russian identity*. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2015, – 190 p. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. The commemoration of the centenary of the 1917 revolution (s) in Russia: analysis of strategies of the key mnemonic actors. *Polis. Political studies*. 2018 a, N 2, P. 9–25. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.02> (In Russ.)
- Malinova O.Yu. The commemoration of the centenary of the 1917 revolution (s) in Russia: comparative analysis of the competing narratives. *Polis. Political Studies*. 2018 b, N 2, P. 37–56. DOI: <http://www.doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04> (In Russ.)
- Malinova O. The embarrassing centenary: reinterpretation of the 1917 revolution in the official historical narrative of post-soviet Russia (1991–2017). *Nationalities Papers*. 2018 c, Vol. 46, N 2, P. 272–289. DOI: <https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1386639>
- Maoz Z. The Pursuit of peace and the crisis of Israeli identity: defending/defining the nation. *Perspectives on politics*. 2008, Vol. 6, N 1, P. 211–212. DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592708080559>
- Margalit A. *The Ethics of Memory*. Cambridge: Harvard university press, 2002, 240 p.
- Merridale C. Redesigning history in contemporary Russia. *Journal of contemporary history*. 2003, Vol. 38, N 1, P. 13–28.
- Miller A.I. Historical politics in Russia: a new turn? In: Miller A.I., Lipman M. (eds.) *Historical politics in the XXI century*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012, P. 328–367. (In Russ.)
- Mink G., Neumayer L. Introduction. *History, memory and politics in Central and Eastern Europe: memory games*. G. Mink, L. Neumayer. (eds). Basingstoke etc.: Palgrave Macmillan, 2013, P. 1–20.
- Misurov D.A. Political symbolics: between ideology and political publicity. *Polis. Political studies*. 1999, N 1, P. 168–174. (In Russ.)
- Murphy A.R. Longing, nostalgia, and golden age politics: The American jeremiad and the power of the past. *Perspectives on politics*. 2009, Vol. 7, N 1, P. 125–141. DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592709090148>
- Nelson T.H. History as ideology: The portrayal of Stalinism and the Great Patriotic War in contemporary Russian high school textbooks. *Post-Soviet affairs*. 2015, Vol. 31, N 1, P. 37–65. DOI: <https://doi.org/10.1080/1060586x.2014.942542>
- Norris S.M. Memory for sale: Victory Day 2010 and Russian remembrance. *The Soviet and post-Soviet review*. 2011, Vol. 38, N 2, P. 201–229. DOI: <https://doi.org/10.1163/187633211x589123>
- Nunnally S.C. How we remember (and forget) in our public history. *Perspectives on politics*. 2016, Vol. 14, N 3, P. 764–765. DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592716001328>
- Olick J.K. “Collective memory”: a memoir and prospect. *Memory studies*. 2008, Vol. 1, N 1, P. 23–29. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083885>
- Olick J.K., Sierp A., Wüstenberg J. The Memory studies association: ambitions and an invitation. *Memory studies*. 2017, Vol. 10, N 4, P. 490–494. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698017721792>

- Onken E.C. The Baltic states and Moscow's 9 May commemoration: Analysing memory politics in Europe. *Europe-Asia studies*. 2007, Vol. 59, N 1, P. 23–46. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668130601072589>
- Potseluev S.P. Symbolical politics: a constellation of concepts for an approach to the problem. *Polis. Political Studies*. 1999, N 5, P. 62–76. (In Russ.)
- Potseluev S.P. “Symbolic politics”: the history of concept. In: *Symbolic politics. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power*. Moscow: INION RAS, 2012, P. 17–53.
- Nora P. (ed). *Realms of memory: rethinking the French past*. Vol. I: Conflicts and divisions. New York: Columbia university press, 1996, 642 p.
- Ricœur P. *Memory, history, forgetting*. Chicago: University of Chicago press, 2004, 624 p.
- Schatz E. Transnational image making and soft authoritarian Kazakhstan. *Slavic Review*. 2008, Vol. 67, N 1, P. 50–62. DOI: <https://doi.org/10.2307/27652766>
- Schleifman N. Moscow's Victory park: a monumental change. *History and memory*. 2001, Vol. 13, N 2, P. 5–34. DOI: <https://doi.org/10.1353/ham.2001.0012>
- Sherlock T. *Historical narratives in the Soviet Union and post-Soviet Russia: Destroying the settled past, creating an uncertain future*. New York: Palgrave Macmillan, 2007, viii, 271 p.
- Segesten A.D., Wustenberg J. Memory studies: The state of an emergent field. *Memory Studies*. 2017, Vol. 10, N 4, P. 474–489. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698016655394>
- Sidorov D. National monumentalization and the politics of scale: the resurrections of the cathedral of Christ the Savior in Moscow. *Annals of the association of American geographers*. 2000, Vol. 90, N 3, P. 548–572. DOI: <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00208>
- Symbolic Politics. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power. Moscow: INION RAS, 2012, 334 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 2: Discussions about the past as projecting future. Moscow: INION RAS, 2014, 382 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 3: Political functions of myths. Moscow: INION RAS, 2015, 371 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 4: Social consrtuction of space. Moscow: INION RAS, 2016, 371 p. (In Russ.)
- Symbolic Politics. Issue 5: identity politics. Moscow: INION RAS, 2017, 356 p. (In Russ.)
- Smith A. *Myths and memories of the nation*. Oxford: Oxford university press, 2000, 288 p.
- Smith K.E. *Remembering Stalin's victims: popular memory and the end of the USSR*. Ithaca, NY: Cornell university press, 1996, 238 p.
- Smith K.E. *Mythmaking in the new Russia: politics and memory in the Yeltsin era*. Ithaca: Cornell university press, 2002, xi, 223 p.
- Smyth R., Sobolev A., Soboleva I. A well-organized play: symbolic politics and the effect of the pro-Putin rallies. *Problems of post-communism*. 2013, Vol. 60, N 2, P. 24–39. DOI: <https://doi.org/10.2753/ppc1075-8216600203>

- Suny R. Provisional stabilities: the politics of identity in Post-Soviet Eurasia. *International Security*. 1999–2000, Vol. 24, N 3, P. 139–178. DOI: <https://doi.org/10.1162/016228899560266>
- The art of commemoration: fifty years after the Warsaw uprising*. T. Ensink, C. Sauer (eds). Amsterdam etc.: John Benjamins publishing company. 2003, xi, 245 p.
- Hobsbawm E., Ranger T. (eds.) *The invention of tradition*. Cambridge: Cambridge university press, 1983, vii, 320 p.
- Gofas A., Hay C. (eds.) *The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates*. London, etc.: Routledge, 2010, 224 p.
- Bernhard M.H., Kubik J. (eds.) *Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration*. Oxford: Oxford university press, 2014, xviii, 362 p.
- Varshney A. Nationalism, ethnic conflict, and rationality. *Perspectives on politics*. 2003, Vol. 1, N 1, P. 85–99. DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592703000069>
- Verdery K. *The political lives of dead bodies: reburial and post socialist change*. New York: Columbia university press, 1999, 208 p.
- Vujačić V. Elites, narratives, and nationalist mobilization in the former Yugoslavia. *Comparative politics*. 2007, Vol. 40, N 1, P. 103–124. DOI: <https://doi.org/10.5129/001041507x12911361134514>
- Fedor J. et. al. (eds.) *War and memory in Russia, Ukraine and Belarus*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, xxvii, 506 p.
- White A. The memorial society in the Russian provinces. *Europe-Asia studies*. 1995, Vol. 47, N 8, P. 1343–1366. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668139508412324>
- Wood E.A. Performing memory: Vladimir Putin and the celebration of World War II in Russia. *The soviet and post-soviet review*. 2011, Vol. 38, N 2, P. 172–200. DOI: <https://doi.org/10.1163/187633211x591175>
- Wüstenberg J., Art D. Using the past in the Nazi successor states from 1945 to the present. *The annals of the American academy of political and social science*. 2008, Vol. 617, P. 72–87. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716207312762>
- Young J. *The texture of memory: Holocaust memorials and meaning*. New Haven, CT: Yale university press, 1993, 398 p.

С.П. ПОЦЕЛУЕВ*

**СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)¹**

Аннотация. Статья посвящена прояснению роли различных типов социальной забывчивости как символическому ресурсу национальной мобилизации. С опорой на методологический потенциал концептов памяти / забывчивости, представленных в сочинениях Аврелия Августина, Ф. Анкерсмита, П. Рикёра, П. Коннертона, Я. Ассмана и А. Ассман, П. Бергера и Т. Лукмана, автор идентифицирует забывание, забвение и амнезию как основные типы мнемонических дефицитов, релевантных в аспекте социального конструирования реальности. Сверх того, акцентируется роль «нарративной конфигурации» (П. Рикёр) как способа целенаправленного забывания, альтернативного социальной амнезии в контексте национальной мобилизации. В статье данный тезис поясняется с опорой на случаи ирландского и черкесского национализма, описанные в научной литературе. По мысли автора, идеология черкесского национализма показывает, что травмирующий исторический опыт, который трудно поддается забвению (вытеснению), может быть сознательно использован в качестве инструмента национальной мобилизации. Однако успех этого использования в существенной мере обусловлен символической убедительностью (естественностью) нарративного перетолкования эпического (фольклорного) наследия, а не отвлеченной «национальной идеей». В статье разворачивается тезис о том, что теоретическая релевантность кон-

*** Поцелуев Сергей Петрович**, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия), e-mail: spotselu@mail.ru

¹ Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере научной деятельности, проект № 30.2875.2017/8.9 «Этнополитическая и этнорелигиозная мобилизация черкесов и тюркских народов на Кавказе, в Крыму и диаспорах за рубежом».

цепта социального забвения относительно «забывания» и «амнезии» отчетливо проявляется в институте амнистии как виде предписанного забвения. Хотя амнистия часто выдает себя за амнезию либо отчасти ее порождает, она фактически никогда вполне с ней не совпадает. Опираясь на опыт стран, переживших острые гражданские конфликты (Испания, ЮАР, Руанда и др.), автор приводит аргументы в пользу вывода о том, что смешение амнистии с амнезией не только аморально, но часто ведет к политически ошибочной оценке предписанного забвения как инструмента национальной мобилизации. Статья может представлять интерес для прояснения концептуального аппарата в рамках анализа современных национальных движений, а также для уточнения методологии *memory studies* как отдельного направления научных исследований.

Ключевые слова: мнемонические дефициты; забывание; забвение; амнезия; нарративная конфигурация; травмирующее прошлое; амнистия; национальная мобилизация; черкесский национализм.

Для цитирования: Поцелуев С.П. Социальная забывчивость как символический ресурс национальной мобилизации (концептуальный аспект) // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 42–65 – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.02>

Введение

Некоторые исследователи не без основания отмечают, что в отличие от зарубежных коллег российские ученые уделяют недостаточно внимания феноменам забвения, концентрируясь на проблеме воспроизводства культурной (исторической, социальной и т.п.) памяти [Галиндабаева, Карбаинов, 2019, с. 49]. Между тем известная сентенция Э. Ренана о том, что для создания своей коллективной исторической памяти нужно, чтобы члены национальной общности «много позабыли» и вообще умели «хорошо забывать» [Ренан, 1902, с. 92, 97], требует солидного концептуального развертывания. Очевидным это становится в анализе феномена национальной мобилизации, под которой здесь будет подразумеваться «целенаправленная деятельность по организации разнообразных ресурсов (прежде всего символических) для вовлечения индивидов и групп в массовые акции и кампании, в ходе которых формируются идентификации людей с национальной общностью и конструируется коллективная идентичность нации на основе исходных сетей причастности индивидов к различным социальным общностям, воображаемого национального 'врага' и пропагандируемого концепта нации как цели движения» [Поцелуев, Цибенко, 2019, с. 1].

Цель данной статьи – определить, какую роль играют разные типы забывчивости в рамках символической политики национальной мобилизации.

К вопросу о типологии социальной забывчивости

Если концепт социальной памяти относительно подробно проработан в рамках *memory studies* как отдельного направления исследований, то противоположный ему концепт социальной забывчивости остается довольно туманным. Такие термины, как «забывчивость», «забывание», «забвение», «амнезия» и т.п. зачастую используются нестрого, во всяком случае, на существенность их различий указывается редко. Как следствие возникают недоразумения, прежде всего, при попытке выстроить классификацию или типологию мнемонических дефицитов¹.

Прежде всего, здесь следует указать на типы «забвения», выделяемые нидерландским философом Франклином Анкерсмитом в его известной книге [Анкерсмит, 2007, с. 438–442]. Из анализа Анкерсмитом типичных случаев забвения вытекает, что, во-первых, забвение выступает обязательным условием обретения новой коллективной идентичности; во-вторых, для формирования устойчивой и жизнеспособной идентичности забвение прошлого опыта должно быть избирательным, а не тотальным; в-третьих, это забвение есть радикальное стирание из памяти прежнего опыта, когда социальный актор с новой идентичностью помнит лишь то, что он забыл этот опыт; в-четвертых, такое забвение есть результат сознательной практики проработки прошлого, вступившего в противоречие с новыми реалиями. Однако концептуальное соотношение выделяемых Анкерсмитом четырех «типов забвения» (которые не получают у него терминологической спецификации) остается неясным, поскольку их характеристика носит не столько идеально-типический, сколько дескриптивно-феноменологический характер. Другими словами, речь идет об описании ряда типичных

¹ Под мнемоническими дефицитами мы понимаем все возможные проявления недостаточности и дисфункциональности памяти. Данный концепт употребляется здесь как русскоязычный аналог термина «mnemonic deficits» [Modulation and mediation ..., 1995, p. 135 ff.]. В качестве синонима «мнемонических дефицитов» в статье будет использоваться термин «забывчивость».

случаев мнемонических дефицитов (причем одновременно на микро- и макроуровне социума), без видимого единого основания для их типологизации или классификации. Аналогичный подход наблюдается в описаниях забывчивости, предложенных рядом других авторов, к примеру, британским социальным антропологом Полом Коннертоном [Connerton, 2008].

Чтобы как-то разобраться в полисемии концепта забывчивости, требуются аналитические средства, способные разграничить разные виды, типы и уровни забывчивости. Прояснение соответствующей терминологии показывает, прежде всего, необходимость строгого разграничения между абсолютными и относительными формами проявления социальной забывчивости. К первым относятся различные типы социальной амнезии, ко вторым – прагматика забывчивости, также представленная разными формами. На принципиальность этого различия указывал в свое время классик философской мысли Аврелий Августин. В своей «Исповеди» он делает различие между «забывчивостью» (именно этим словом передается в русском издании оригинальный латинский термин *oblivionem*), которая оставляет следы (по которым можно вернуть забытое), и бесследной забывчивостью. В первом случае память, «ущемленная в привычном, словно охромев», сама помогает вернуть утраченное ею содержание [Августин Аврелий, 1991, с. 254–255]. Во втором случае такой возможности уже нет, и забытое нельзя вернуть даже напоминанием.

Однако даже бесследная утрата памяти о каких-то событиях еще не будет абсолютным мнемоническим дефицитом, коль скоро отдельный человек либо сообщество твердо помнят о своей забывчивости; помнят, что они «забыли не до такой степени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли» [Августин Аврелий, 1991, с. 255]. Эта память о самом факте забывания есть тоже след, из-за которого было бы некорректно отождествлять забвение с амнезией как абсолютной забывчивостью. «Симптомы амнезии – как было верно замечено – обычно обнаруживаются теми, кто от нее не страдает, и связаны как с полной неспособностью страдающего амнезией человека проследить прошлое, так и с необходимостью помочь ему как можно скорее исправить это положение» [Lampropoulos, Markidou, 2010, p. 1].

Таким образом, с подачи Августина (и гипотетически расширяя его подход на уровень коллективных идентичностей)

мы можем говорить о трех типах забывчивости, маркирующих разные степени ее глубины. Целесообразно дать этим уровням и специальные названия, обозначив их соответственно как *забывание*, *забвение* и *амнезия*.

В современных социогуманитарных науках уже имеется понимание необходимости концептуально отличать социальную амнезию, прежде всего, от практики забывания. Так, французский философ Поль Рикёр различает, с одной стороны, «обычное забывание», которое «столь же молчаливо здесь, как и обычная память» [Рикёр, 2004, с. 591], а с другой – «глубокое забвение» [там же, с. 576]. В последнем он идентифицирует «два соперничающих между собой прочтения мнемонических феноменов», первое из которых «склоняется к идее окончательного забвения: это забывание из-за стирания следов; второе тяготеет к идее обратимого забвения, даже к идее незабываемого, т.е. забывания-резерва» [там же, с. 579]. Собственно амнезией как «дисфункцией памяти» Рикёр считает «окончательное забывание, связанное со стиранием следов» [там же, с. 590]. А «забывание-резерв» он трактует аналогично оговоренному выше смыслу «забвения»: память о прошлом в данном случае не уничтожается, а как бы складывается в хранилище, куда сознанию закрыт актуальный доступ, но последний не исключен в принципе, коль скоро найдутся для этого подходящие «ключи»; поэтому забывание-резерв есть не окончательное, а «обратимое забвение» [там же, с. 579]. Таким образом, развиваемый Рикёром концепт забывчивости содержит в себе понятийную дистинкцию забывания, забвения и амнезии в выделенном выше (вслед за Августином) смысле.

Некоторые авторы обозначают эту дистинкцию в терминах, аналогичных предложенным здесь, а именно отличая «забывание», которое через некоторое время может вернуть утраченное бытие актов воспоминания, и *забвение*, в результате которого утраченное бытие больше не возвращается» [Соломина, 2005, с. 18]. Сходным образом о случаях «забывания без забвения» (forgetting without oblivion) пишет американский политический философ Брэдфорд Вивьен [Vivian, 2010, p. 39 ff.].

В целом определение специфики отдельных типов социомнемонических дефицитов остается открытым вопросом, и приведенных выше аргументов в пользу трехчленной дистинкции «забывание – забвение – амнезия», конечно, недостаточно. Не только

сама экстраполяция общей августиновской схемы на уровень коллективных идентичностей требует дополнительного обоснования; не менее тривиальным вопросом является соотношение описывающих эти идентичности различных концептов (культурная, историческая, социальная, политическая и т.д. память / забывчивость). Но в данной статье автор от этих вопросов абстрагируется, подразумевая под «социальной забывчивостью» зонтичный концепт для всех разновидностей мнемонических дефицитов. Основной же акцент будет сделан на ряде методологических моментов, релевантных для конструирования национальной памяти с учетом упомянутых типов забывчивости.

Нарратив как символическая фигура вспоминания / забывания

Переходя в своем анализе проявлений забывчивости от глубинного (часто бессознательного) уровня мнемонического опыта к уровню «неусыпной бдительности», «прагматике забвения», П. Рикёр замечает, что на этом уровне «суждения о забвении составляют по большей части просто оборотную сторону высказываний о памяти» [Рикёр, 2004, с. 614]. Это и есть тот уровень «обычного забывания», которому Рикёр противопоставляет амнезию как клинический случай. Обычное забывание составляет лишь одну сторону единой мнемонической способности, в которой «на сохранение и забывание исторической информации работают одни и те же механизмы» [Шестов, 2014, с. 80]. Алейда Ассман пишет о «динамике припоминания и забвения», состоящей в том, что «обеспечение сохранности неизменно подразумевает свою противоположность – отбор, отбрасывание и уничтожение, а также более мягкие формы забвения: пренебрежение, деформацию и потерю» [Ассман, 2014, с. 32]. В духе прагматики забывания определяет «коммеморативные практики» и О.Ю. Малинова – как «процесс отбора того, что подлежит вспоминанию и забвению. ‘Вспоминается’ то, что кажется важным с позиций настоящего. ‘Забывается’ то, что представляется ‘деталью’ или ‘случайностями’» [Малинова, 2018, с. 44].

Основа такой прямой связи вспоминания и забывания – в их предметности, предполагающей селективное обращение с про-

шлым. Другими словами, забывание, как и вспоминание, предполагает активацию определенных когнитивных инструментов (концептуальных «рамок», по М. Хальбваксу [Хальбвакс, 2007, с. 129]), и на этот момент не всегда обращается должное внимание. Акцентируя специфическое сочетание теоретического и эстетического начал в упомянутых «рамках», Ян Ассман называет их «символическими фигурами воспоминания» как культурно сформированными, общественно обязательными мнемоническими образами. Эти образы, выражаясь в нарративной либо иконической форме, относятся к конкретному времени и пространству, конкретной группе, а также характеризуются «воссозданием как специфическим для них способом действия» [Ассман, 2004, с. 39].

На «воссоздание» здесь стоит обратить особое внимание: оно представляет собой воспроизводимость символического смысла в другой вещественной оболочке знака – подобно тому, как святыне места Палестины символически воссоздавались русскими монахами среди суровой природы Валаама. Эта символическая экстраполируемость памятных мест и событий имеет особое значение для национальной мобилизации, так как позволяет существенно расширить географию мобилизуемых людей на основе исходных сетей их причастности к разным социокультурным общностям. При этом различия в материальных оболочках символически значимых событий предаются забвению как несущественные. Это позволяет, к примеру, лучше понять (при учете прочих обстоятельств), почему в России 90-х годов прошлого века «две чеченские военные кампании стали для черкесов и чеченцев общим делом, победа в котором приравнивалась к возвращению Кавказа и возвращению на Кавказ» [Цибенко, Никифоров, 2015, с. 94].

Упомянутые символические фигуры социальной памяти связывают прежде всего с вербально выраженными нарративами. В частности, П. Рикёр пишет о «работе нарративной конфигурации» [Рикёр, 2004, с. 616], которая может выступать инструментом не только активного вспоминания, но и забывания. Но как *можно* эффективно забыть то, что *нужно* забыть? Это составляет нетривиальную проблему не только на индивидуальном, но и на коллективном (историческом, культурном) уровне. Ведь нельзя так просто забыть по приказу или соглашению, и даже то, что кажется амнезией, может оказаться лишь «памятью-резервом».

На индивидуальном уровне классическое изложение этой проблемы дают Питер Бергер и Томас Лукман, описывая случай «альтернатики» как радикальной трансформации субъективной реальности (идентичности) индивида, требующей ресоциализации. Последняя предполагает перетолкование всей биографии; в особенности нуждаются в новом истолковании лица и события, которые в прошлом служили опорными точками для формирования прежней идентичности. Для альтернативы индивида, пишут Бергер и Лукман, лучше всего было бы *полностью забыть* эти опоры своего прежнего «я». Но полное забвение часто затруднительно, если вообще возможно. Из этой ситуации есть, однако, выход: радикальная реинтерпретация значимых моментов прошлого в свете новой идентичности. «Поскольку *гораздо легче выдумать то, что никогда не происходило, нежели забыть то, что действительно произошло* [курсив мой. – С. П.], индивиду может понадобиться фабрикация и вставка в биографию событий – повсюду, где есть нужда в гармонизации воспоминаний с перетолкованием прошлого» [Бергер, Лукман, 1995, с. 259].

Другими словами, трансформация идентичности эффективнее осуществляется не через амнезию на прошлый опыт, а благодаря его новому истолкованию в сфабрикованной новой истории (биографии). Таким образом, у авторов «Социального конструирования реальности» нарративная реинтерпретация выступает альтернативой амнезии в процессе трансформации идентичности. В этот тезис П. Рикёр вносит одно важное дополнение: реинтерпретация прошлого опыта посредством *нового рассказа* оказывается именно *потому* эффективной альтернативой амнезии в процессе конструирования социальной идентичности, что сам по себе нарратив есть форма незаметного и ненавязчивого забывания. Рассказ, подчеркивает Рикёр, предполагает избирательное отношение к историческому материалу в силу своей сюжетной структуры. Соответственно, идеологическое манипулирование памятью (ради конструирования социальных идентичностей) «становится возможным благодаря средствам варьирования, предоставляемым работой нарративной конфигурации. Стратегии забывания непосредственно соотносятся с такой работой конфигурации: всегда можно рассказать по-другому, о чем-то умалчивая, смещая акценты, различными способами рефигурируя участников действия, как и контуры самого действия» [Рикёр, 2004, с. 619]. Безусловной заслугой рикёровского

концепта «прагматики забвения» является акцент на существенной связи между этими тремя моментами: конструированием социальной идентичности, избирательностью вспоминания / забывания и селективным характером повествовательности.

Забывание через нарратив на службе национальной мобилизации

Нарративный подход к объяснению динамики запоминания / забывания интересно проследить при анализе символических стратегий национальной мобилизации. К наиболее сложным случаям такого рода относятся проявления этнического (в широком смысле) национализма в многосоставных обществах, и типичным примером здесь может служить черкесский национализм, представленный в России и ряде других стран. Среди его проявлений эксперты выделяют два основных типа. «Первый, объединительный, развивается в русле макронационализма, т.е. собирает черкесов в единую кавказскую (северокавказскую) нацию. Согласно второму, черкесский национальный проект существует параллельно абхазскому, осетинскому, чеченскому и пр. и строится на постулате ‘черкес = адыг’» [Цибенко, 2017, с. 197]. Когда сторонники первого, макронационального черкесского проекта, получившие неформальное название «макронов» (в отличие от «микронов», выступающих за узкое этническое понимание «черкесскости»), пытаются выстроить соответствующий национальный нарратив черкесов, они отталкиваются от определенных идейно-политических посылок. С позиции турецкого государственного национализма всех черкесов (всех северокавказцев) объединяет тюркское происхождение, исламское вероисповедание, общая историческая судьба и общий Враг (российский империализм) [Цибенко, 2017, с. 196]. Эта идеологическая рамка задает направление дальнейшего выстраивания нарратива, его главных героев и связанных с ними событий, причем поверх объективной логики исторического процесса. Всё, что в последнем противоречит конструируемому мифонарративу, оперативно забывается. В свою очередь, «микроны» выстраивают свои версии черкесского национального нарратива, используя фольклорно-эпическое наследие отдельных кавказских народов. В этом случае конструирование национального

нарратива выглядит естественнее, однако и здесь предполагается реинтерпретация «старых историй».

Нарративный подход к дискурсу национальной мобилизации нередко имеет дело только с базовым национальным мифом как уже готовым продуктом символического конструирования, тогда как эпическо-рапсодический этап в изобретении национального мифонарратива недооценивается. Между тем конструирование национальной идентичности предполагает реконструкцию традиционных нарративов, составленных из отдельных событий, историй, героев, а также их различных версий, которые не связаны между собой общим, связным повествованием, хотя и могут обнаруживать родство на уровне отдельных сюжетных линий и персонажей. Как замечает Патрик Хаттон, «талант рапсода заключался не в создании мифа, а в изобретении эпоса, и каждый рапсод рассказывал свою историю немного иначе, чем остальные» [Хаттон, 2004, с. 122]. Без опоры – в той или иной форме – на эпическую предысторию (даже если последняя есть тоже в значительной мере позднейший конструкт) современным разработчикам национальных мифов трудно быть убедительными.

Основная смысловая схема национальной реконструкции фольклорно-эпического наследия состоит в изменении мифического времени с абсолютного на историческое в рамках соответствующей политики памяти [Ассман, 2004, с. 82]. Абсолютное прошлое – это фантастическое, в реальности недостижимое «превремя», в котором действуют боги и герои-полубоги. Историческое время представляется тоже героическим, но одновременно и соразмерным современным людям; поэтому оно оказывается достижимым для них образцом для подражания. Героика исторического времени не просто противопоставляется мрачному настоящему, а вдохновляет современников на подвиги его преобразования, в частности, в духе национального идеала.

Немецкий историк Маттиас Швайгер показывает в своей диссертации, посвященной ирландскому национальному движению первой половины XIX в. [Schwaiger, 2002], каким образом национальными активистами создавался и поддерживался миф о непрерывной «тысячелетней борьбе» ирландского народа за независимость от «имперской Британии», для чего реальная история ирландцев переписывалась, выборочно забывалась и монтировалась заново. Как отмечает Швайгер, в традиционном ирландском

эпосе главный герой грезит о том, как ему является Ирландия в облике женщины неземной красоты, которая плачется на свою судьбу и разбитые надежды. В других вариантах эпического наследия Ирландия фигурировала в образе «Shan Van Vocht» – бедной старухи, с которой нищие ирландцы могли легко себя идентифицировать, поскольку этот образ точно соответствовал их реальному положению. Однако националистически мыслящие ирландские журналисты изменили этот пессимистический настрой эпоса, превратив олицетворяющий Ирландию образ в гордую молодую женщину, вполне земную, призывающую к подвигам во имя отечества. Этот боевой образ получил и соответствующее имя, взятое, опять же, из местного фольклора: теперь Ирландия отождествлялась с «королевой пиратов» Грануаль (Granuaile), которая, по легенде, не боялась бросить вызов даже королеве Елизавете I [Schwaiger, 2002, S. 315]. Здесь мы видим классический пример перетолкования народного прошлого в духе националистического варианта «альтернативы». Было бы интересно систематически исследовать с помощью данных концептов сходные процессы, которые сейчас разворачиваются, в частности, на Юге России.

Символизм социального забвения между травмой и табу

Социальное забвение, как и забывание, выступает в двух модусах: как целенаправленная деятельность и как стихийная когнитивная активность. Первый модус забвения превосходно описывает Ф. Анкерсмит на примере социального забвения домодерновых порядков в Европе в эпоху Просвещения и буржуазных революций. Такое забвение мыслится как масштабный и драматичный опыт социальной трансформации, далеко выходящий за рамки обычной прагматики забывания. Далее, социальное забвение относится не столько к процессу, сколько к результату трансформации социальных идентичностей (что, кстати, коррелирует и с различиями семантик сходных русских и английских терминов: забывание vs забвение; forgetting vs oblivion); основу новой идентичности образует состоявшееся забвение, а не процесс забывания. Отсюда – более радикальное, чем в случае забывания, исключение прошлого.

Однако этот радикализм не следует путать с амнезией. Речь идет о новой идентичности сообщества либо человека, «который

знает о своей прежней идентичности (но больше не совпадает с ней). Он исключил (часть) прошлого из своей идентичности и, в этом смысле, забыл его. Но он не забыл, что забыл его» [Анкер-смит, 2007, с. 455]. Последняя фраза звучит почти как цитата из Августина, точно характеризуя отличие забвения от амнезии. В отличие от амнезии, забвение, как и забывание, может быть весьма активным процессом, точнее, результатом критической проработки прошлого. Но забвение может осуществляться и в форме неотрафелированного вытеснения негативной памяти, что тоже бывает обусловлено каким-то драматичным, пороговым опытом (войны, революции, кризисы и т.п.). А. Ассман выделяет несколько «стратегий вытеснения», располагающихся в пространстве между *травмой* и *табу*, причем последние далеко не всегда совпадают; так, «стратегия в виде отрицания вины, отделения себя от произошедших событий, вытеснение этих событий из сознания через замалчивание описываются скорее понятием “табу”, нежели понятием “травма”» [Ассман, 2014, с. 60–61].

Забвение в форме вытеснения травматического опыта само по себе еще не означает ни неизбежной пассивности его носителей, ни разрушения их идентичности. Травма, в отличие от рядового поражения есть то, что нации, как и отдельному человеку, трудно забыть даже при желании забыть. И если простое вытеснение (замалчивание) травматического опыта не помогает его преодолению, тогда в дело включается упомянутое переписывание биографии. А оно может происходить как в режиме проработки трудного прошлого с опорой на историческую правду либо в режиме «альтернативы». В любом случае, тезис о том, что «травма – в отличие от героического нарратива – не мобилизует и не консолидирует, а нарушает и даже разрушает идентичность» [Ассман, 2014, с. 69], представляется спорным. Это, по-видимому, не совсем точно в отношении Германии, где катастрофа Второй мировой войны не означала ликвидации «морально-духовных основ» нации. Более того, восприятие этой катастрофы как «нулевой отметки» послевоенной истории производило на немцев мобилизующий эффект: нация определяла себя заново, но не разрушала.

Другой пример – травматический опыт кавказских войн, о котором пишут многие авторы, включая симпатизантов черкесского национализма. «Кавказская война и мухаджирство для адыгов – историческая травма» [Урушадзе, 2018, с. 115], однако националиста

эта травма скорее мобилизует, чем деморализует, поскольку она «выступает важной частью рассказа о себе и способом актуализации адыгского единства» [там же, с. 115]. Всё дело в выстраивании нужного нарратива, способного не только поражение, но и любую травму сделать символическим ресурсом национальной мобилизации. Здесь гораздо важнее акцентируемое Ренаном различие между трауром и триумфом, чем между травмой и поражением [Ренан, 1902]. Это верно, что нарратив, обладающий «искусством ассоциации», по природе своей «может исцелять от травмы: создавая повествование о травматическом опыте, включая его в состав нашей личной истории, мы надеемся овладеть им и лишить его зловещих свойств» [Анкерсмит, 2007, с. 469–470]. Но не менее верно и то, что нарративное искусство ассоциации может сохранять и даже усиливать травматический эффект исторического опыта – подумаем только о нынешних «войнах памяти» на постсоветском пространстве.

Общий концепт национальной мобилизации, характерный для актуальных этнонациональных движений на Северном Кавказе, требует Врага, причем не в далеком «русском царизме, отделенном от русского народа», а в актуальном пространстве России. «В настоящий момент можно наблюдать, как формируется северокавказская контристория, выросшая из советской идеологии борьбы против колониального гнета царизма, но сменившая классовый подход на этнонациональный, опрокинутый в имперское и советское прошлое. Теперь места трудящихся и угнетенных заняли, соответственно, кавказцы и русские, последние из которых обвиняются в совершении с XVI по XXI век серии этноцидов» [Цибенко, 2018, с. 214]. С этим связаны беспепелляционные утверждения о том, что «память о Кавказской войне невозможно эффективно использовать в качестве исторического примера единения многонационального народа Российской Федерации» [Урушадзе, 2018, с. 110]. Данный тезис понятен в контексте разговоров о «незавершенности процессов нациестроительства в регионе» Северного Кавказа [там же, с. 125], однако при такой постановке вопроса у российской гражданской нации, известной под именем «многонационального народа», в этом российском регионе будет мало шансов на реализацию.

В любом случае кейс черкесского национализма хорошо показывает, что социальное забвение, как и обычное забывание, тоже

имеет свою – масштабную и глубокую – историческую прагматику, которая отнюдь не сводится к невротическому вытеснению опыта, травмирующего «душу народа».

Амнистия как социальное забвение, «притворяющееся» амнезией

Забвение, связанное не столько с травмой, сколько с табуированием прошлого, может принимать разные формы. В ряде случаев наложение табу на забываемое прошлое может быть вообще молчаливым и невольным, и здесь оно смыкается с травмой. «Столкнувшись с табу, – пишет П. Коннертон, – люди могут замолчать от ужаса или паники [...]. Конечно, мы не можем вывести факт забвения из факта молчания. Тем не менее некоторые акты молчания могут быть попыткой похоронить вещи вне выражения и досягаемости памяти» [Connerton, 2008, p. 68]. Но в случае национальной мобилизации табуирование прошлого есть сознательная политическая стратегия, нацеленная на примирение враждующих сил ради национального единства. И типичным примером такого табуирования является амнистия.

По словам П. Рикёра, «амнистия как форма институционального забвения касается самих корней политического, а через него – наиболее глубокого и потаенного отношения к прошлому, находящемуся под категорическим запретом» [Рикёр, 2004, с. 626]. Но сам факт запрета говорит о том, что мы имеем дело не с амнезией, которая вообще в табу не нуждается, а с предписанным забвением. А. Ассман принципиально различает два вида такого забвения: в одном случае оно работает в режиме символической кары, «проклятия памяти» («*damnatio memoriae*»), когда, к примеру, террористов обрекают на безымянное погребение, как бы вычеркивая их (конечно, только символически) из социальной (исторической) памяти. В другом случае, напротив, предписанное забвение означает акт пощады и милосердия, как в случае амнистии [Ассман, 2014, с. 65].

П. Коннертон склоняется к мнению, что амнистия всегда должна означать полное забвение «всего насилия, ран и ущерба», которые некогда враждующие стороны нанесли друг другу [Connerton, 2008, p. 62]. В этой связи он позитивно оценивает тот факт,

что «выявление и наказание активных нацистов было забыто в Германии к началу 1950-х годов, так же как число осужденных было сведено к минимуму в Австрии и Франции» [Connerton, 2008, p. 62]. В этом британский антрополог видит условие для восстановления легитимности государства и минимального уровня сплоченности гражданского общества в странах, переживших тоталитаризм.

Для многих историков и политологов такой вывод представляется, однако, крайне спорным, причем спорным в двояком смысле: когнитивном и моральном. На когнитивный аспект этой проблемы обращает внимание А. Ассман, подчеркивая, что «амнистию не следует путать с амнезией; амнезия – бесформенное, бессознательное и незавершенное забвение; амнистия, напротив, является забвением волевым – той формой самоопределения и ограничения дискурса, которая запрещает определенные факты в публичном общении» [Assmann, 2009, S. 71]. Б. Вивьен также акцентирует когнитивный момент, замечая, что в случае амнистии концепты прощения и забвения имеют несколько иной смысл, чем в религиозной практике, где прошлое грешника буквально стирается, низводится до полного забвения. В случае же амнистии как политического акта эффект прощения – «это не стирание (или амнезия), а что-то вроде сокрытия... в котором голое присутствие прошлого сохраняется в заметно измененной форме, что парадоксально привлекает внимание к самому акту сокрытия» [Vivian, 2010, p. 56]. По крайней мере в контексте преступлений против человечности забывание сопротивляется его отождествлению с амнезией.

Сходного мнения придерживается и Рикёр. Он признает, что юридически помилование в виде амнистии оказывается равнозначным амнезии, и семантическая близость слов «амнистия» и «амнезия» говорит о том, что оба феномена имеют отношение к отрицанию памяти. Однако, замечает философ, в амнистии это отрицание только имитируется, отнюдь не способствуя прощению. На самом деле единство амнистии и амнезии – только воображаемое, в связи с чем возникает вопрос, «не является ли недостатком этого воображаемого единства то, что оно вычеркивает из официальной памяти примеры преступлений, способные предохранить будущее от ошибок, совершенных в прошлом, и, лишая общест-

венное мнение преимуществ диссенсуса, осуждает соперничающие памяти на опасную потаенную жизнь?» [Рикёр, 2004, с. 629].

Но помимо этих когнитивно-психологических аргументов, есть моральная сторона вопроса, на которую также обратила внимание А. Ассман. По ее словам, асимметрия насилия между преступником и беззащитной жертвой, находя свое продолжение в асимметрии памяти, «устраняется не обоюдным забвением, а только общей памятью. Вместо забвения в виде преодоления прошлого должны прийти совместное воспоминание как акт примирения, совершаемый порой уже только потомками, и сохранение прошлого» [Ассман, 2014, с. 66]. Без этой совместной проработки трудного прошлого акт амнистии, сопряженный с амнезией, не может обеспечить бесконфликтную память даже после примирения враждующих сторон. Как показывает актуальный политический опыт Испании, Германии, а также ряда других, в том числе неевропейских стран, проработка трудного прошлого – это не однажды сколоченный символический капитал, на проценты с которого могут потом «безбедно» жить последующие поколения; скорее, это политика, требующая постоянных символических инвестиций. К примеру, так называемый «Пакт забвения» («Pacto de Olvido») в постфранкистской Испании, призванный символизировать акт примирения между враждующими партиями гражданской войны, отнюдь не всеми воспринимается сегодня как призыв к забвению / амнезии. И не воспринимается как раз потому, что не всем очевидна упомянутая «симметрия насилия» между сторонами гражданского противостояния. Правда, отчасти этот вопрос смягчается исторической иронией, когда некоторые из тех, кого можно было бы считать военными преступниками на службе диктатора, стояли у руля перехода к демократии [Ugarte, 2016, p. 148].

Схожий с «Pacto de Olvido» эффект южноафриканской «Комиссии правды и примирения» (Truth and Reconciliation Commission), задуманной как средство национального единения и включавшей акт амнистии для замешанных в преступлениях апартеида, также обнаружил с течением времени свою двусмысленность. Как отмечает в своем эссе «Всё не прощено. Южная Африка и шрамы апартеида» южноафриканская писательница и политическая активистка Сисонке Мсиманг, упомянутая комиссия, оставив без внимания институциональные аспекты наследия апартеида, многими в ЮАР воспринимается сегодня критически – как «спек-

такль, имеющий отношение преимущественно к внешней стороне установления истины, а не содержательному наполнению этой истины» [Пономарева, 2018, с. 210].

Проблематичность постконфликтной амнезии отмечает и британский социолог Джон Нэйгл, показывая на примере городской политики памяти в Бейруте и Белфасте, что там вместо проработки трудного прошлого «государство часто культивирует амнезию для поддержания логики политического перехода, в то время как на общинном уровне конкурирующие этнические группы распространяют мемориальные практики в рамках войн памяти» [Nagle, 2018]. Однако политика официальной амнезии работает плохо – ей сопротивляются «призраки прошлого» и «места-привидения» как фигуры вытесненной (табуированной) памяти, которые, однако, никуда не исчезают из сознания людей, хотя и не видимы в актуальных культурных ландшафтах. Они содержат характеристики, которые противоречат ребрендинговым нарративам городских центров, прерывая линейный поток официальной истории [Ibid].

Таким образом, амнезия через амнистию, во-первых, сама по себе не решает важнейшую для нациестроительства проблему примирения разных вариантов исторической памяти; она лишь отражает отсутствие в обществе консенсуса в отношении памяти о конфликте, который рассматривается как слишком противоречивый, чтобы осмысливать его в совместной рефлексии. Во-вторых, эта амнезия часто есть лишь желание, выдаваемое за действительность, потому что ему, помимо прочего, сопротивляются упомянутые мемориальные «призраки», а также тип забывания, который Коннертон называет «униженным молчанием». В этом «тайном молчании, вызванном особым видом коллективного стыда, обнаруживается как желание забыть, так и иногда фактический эффект забвения [Connerton, 2008, р. 67], но никогда – желание и способность помнить и забывать *вместе*.

Упомянутые выше случаи предписанного забвения, включая амнистию, крайне актуальны для России, будущность которой напрямую зависит от успешности гражданской национальной мобилизации. Здесь более эффективной стратегией представляется не амнезия и предписанное забвение, а совместное забывание общего проблемного прошлого в контексте диалога разных версий исторической памяти. Такое забывание выходит за рамки националисти-

ческого обращения с травматическим прошлым по принципу игры с нулевой суммой, предполагая с необходимостью «совместное производство исторического знания о чередующейся роли жертв и палачей в общей истории пережитого и причиненного насилия» [Ассман, 2016, с. 213]. В этой связи концепт «диалогической памяти», сформулированный А. Ассман для общей мемориальной политики стран ЕС, может быть развит применительно к реалиям много-составного российского общества. В современной России тоже политически успешной представляется не унифицированная память на основе официальной амнезии на проблемное прошлое, а стратегия «диалогической соотнесенности, взаимного признания и совместимости» [там же, с. 213] картин истории, сформированных в разных сегментах российской политики.

Резюмируем сказанное выше в нескольких тезисах.

Имеющийся в науке опыт концептуализации различных проявлений социальной забывчивости обнаруживает недостаточность дескриптивно-феноменологического подхода. Для разработки собственно типологии социомнемонических дефицитов следует использовать (хотя бы для начала как гипотезу) восходящую к А. Августину концептуальную схему, различающую уровни забывчивости в зависимости от сохранности следов забываемого. С учетом семантики соответствующих терминов, а также имеющих в научной литературе подходов, можно упорядочить разнообразие проявлений социальной забывчивости по трем типам: *забывание, забвение и амнезия*.

Если забывание носит селективный и относительный характер, составляя лишь оборотную сторону воспоминания, то забвение, напротив, предполагает полное стирание (вытеснение) следов забываемого, что зачастую сопровождается травмами и табу в отношении пережитого прошлого. Однако забвение не ведет к утрате самой способности помнить, что отличает забвение от амнезии и выражается в «призраках» памяти, оппонирующих амнезии как предписанному забвению и прочим практикам официальной политики памяти.

Эффективность работы памяти как когнитивной способности обусловлена символическими фигурами (рамками), позволяющими не только предметно помнить, но и предметно забывать. Особенно востребованной эта способность становится в случае радикальной трансформации / конструирования социальных иден-

тичности («альтернати́и» в терминах П. Бергера и Т. Лукмана), когда полное забвение проблемного прошлого бывает необходимым, но трудно достижимым опытом. В этом случае альтернативой забвению и амнезии оказываются стратегии забывания на основе смыслового варьирования, фабрикации новых «фактов» прошлого и т.п., присущие «нарративной конфигурации» в смысле П. Рикёра.

Забывание через нарративную конфигурацию в случае национальной мобилизации предполагает тонкое нарративное перетолкование традиционного культурного (рапсодического, эпического, фольклорного и т.п.) наследия. Убедительность (для носителей соответствующих культурных паттернов) такого перетолкования может служить одним из критериев собственно национальной мобилизации, а не ее фантома, оказывающегося на поверку лишь проекцией иных политических стратегий. Последнее, по-видимому, имеет место в случае поддерживаемого турецкими властями «общекавказского» черкесского проекта – в отличие от тех версий черкесского национализма, которые используют фольклорно-эпическое наследие отдельных кавказских народов.

В отличие от обычной (в том числе нарративной) прагматики забывания социальное забвение есть результат драматичного опыта общественных катастроф и трансформаций, который сопровождается как героизмом побед, так и травмами поражений. Однако и в этом случае действует своя прагматика, которая даже травмирующий опыт масштабных поражений может использовать в качестве инструмента конструирования новой социальной идентичности.

Теоретическая релевантность концепта социального забвения относительно забывания и амнезии ярче всего проявляется в случае амнистии как вида предписанного забвения. Табуирование прошлого в пространстве амнистии придает акту забвения существенно больший символизм по сравнению с организованным забыванием в рамках обычных политических технологий. Однако, как показывают многочисленные случаи постконфликтных стран, разворачивающих гражданско-национальную мобилизацию на своих территориях, амнистия, с одной стороны, не может (по когнитивным и моральным основаниям) отождествляться с амнезией, а с другой – заменять собой диалогические практики забывания и вспоминания.

Национальная мобилизация включает в себя не только повседневную прагматику забывания и возвышенный символизм забвения, но также реальную амнезию на моменты прошлого, которые не совместимы с возникающей национальной идентичностью. Поэтому для трезвой и критической оценки символической политики национальной мобилизации различие упомянутых типов забывчивости представляется методологически релевантным.

Список литературы

- Августин Аврелий.* Исповедь / М.К. Сергеев (пер. с лат.); А.А. Столяров (вступит. статья). – М.: Ренессанс: СП ИВО – Сид, 1991. – 488 с.
- Анкерсмит Ф.Р.* Возвышенный исторический опыт: пер. с англ. – М.: Европа, 2007. – 612 с.
- Ассман А.* Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 223 с.
- Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Б. Хлебников (пер. с нем.). – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 187 с.
- Ассман Я.* Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / М.М. Сокольская (пер. с нем.). – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. (Трактат по социологии знания). – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Галиндабаева В.В., Карбаинов Н.И.* Память и забвение в метисном сельском сообществе // Социологические исследования. – 2019. – № 7. – С. 48–55. – DOI: <https://doi.org/10.31857/s013216250005792-4>
- Малинова О.Ю.* Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. – М.; СПб.: Нестор-История, 2018. – С. 27–53.
- Понамарева А.М.* Политика памяти на страницах журнала Foreign Affairs: методологические установки: аналитический обзор // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. – М.; СПб.: Нестор-История, 2018. – С. 196–221.
- Поцелуев С.П., Цибенко С.Н.* Феномен национальной мобилизации: к уточнению концепта // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 1–23. – DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-9173-2019-1-1-23>
- Ренан Э.* Что такое нация? // Ренан Э. Собр. соч.: в 12 т. – Киев, 1902. – Т. 6. – С. 87–101.
- Рикёр П.* Память, история, забвение: пер. с франц. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.

- Соломина И.Ю. Социальная память: структура и феномены: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Сам. гос. ун-т. – Самара, 2005. – 19 с.
- Урушадзе А.Т. Помнить-нельзя-забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и российском пространстве коммеморации // Политическая наука. – 2018. – № 3. – С. 106–128. – DOI: <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.06>
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.
- Хаттон П.Х. История как искусство памяти. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – 424 с.
- Цибенко В.В. Микро- и макронациональная идентичность черкесской (кавказской) диаспоры Турции // Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. – 2017. – № 12 (36). – С. 196–201.
- Цибенко В.В. Такое разное прошлое: коммуникативный разрыв и другие вызовы для современного кавказоведения // Новое прошлое = The New Past. – 2018. – № 3. – С. 211–215.
- Цибенко В.В., Никифоров С.В. 1864–1944–1994. Коллективная память и особенности черкесо-чеченского взаимодействия на Ближнем Востоке // Научная мысль Кавказа. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – DOI: <https://doi.org/10.18522/2072-0181-2015-84-4-89-97>
- Шестов Н.И. Механизмы «забывания» в структуре исторической памяти // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под. ред. А.В. Гладышева. – Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2014. – Вып. 9. – С. 76–89.
- Assmann A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. – München: C.H. Beck, 2009. – 424 S.
- Connerton P. Seven types of forgetting // Memory Studies. – 2008. – N 1. – P. 59–71. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Lampropoulos A., Markidou V. Introduction: Configuring Cultural Amnesia // Synthesis: an Anglophone journal of comparative literary studies. – 2010. – N 2. – P. 1–6. – DOI: <http://dx.doi.org/10.12681/syn.16485>
- Modulation and mediation of neuroplasticity / J.L. McGaugh, N.M. Weinberger, G. Lynch (eds). – N.Y.; Oxford: Oxford university press, 1995. – 364 p.
- Nagle J. Defying state amnesia and memory war's: non-sectarian memory activism in Beirut and Belfast city centres // Social & Cultural Geography. – 2018. – P. 1–22. – DOI: <https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1497191>
- Schwaiger M.A. Nationale Mobilisierung einer Agrargesellschaft. Die Catholic Association, die Loyal National Repeal Association und Young Ireland, 1801–1848. Dissertation an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München. – München. – 2002. – den 02. April. – 453 S.
- Ugarte M. [Rec.] // Historiografías. – 2017. – N 13. – P. 146–155. – Rec. ad. op.: David Rieff. In praise of forgetting: Historical memory and its ironies. – New Haven, CT: Yale university press, 2016. – 160 p. – DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.2017132357

Vivian B. Public forgetting: the rhetoric and politics of beginning again. – University Park: Penn state university press, 2010. – 212 p.

S.P. Potseluev*

**Social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization
(conceptual aspect)¹**

Abstract. The article is devoted to clarifying the role of different types of social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization. Based on the methodological potential of the concepts of memory / forgetfulness presented in the works of Saint Augustine, F. Ankersmit, P. Ricoeur, P. Connerton, J. Assmann and A. Assmann, P.L. Berger and T. Luckmann, the author identifies forgetting, oblivion and amnesia as the main types of mnemonic deficits relevant in the aspect of social construction of reality. The article emphasizes the role of «narrative configuration» (P. Ricoeur) as a way of purposeful forgetting, an alternative to social amnesia in the context of national mobilization. The article develops this thesis based on the cases of Irish and Circassian nationalism described in the scientific literature. According to the author, the ideology of Circassian nationalism shows that the traumatic historical experience, which is difficult to forget (displace), can be consciously used as an instrument of national mobilization. However, the success of this use is largely due to the symbolic persuasiveness (naturalness) of the narrative reinterpretation of the epic (folk) heritage, and not to the abstract national «idea». The article develops the thesis that the theoretical relevance of the concept of social oblivion with respect to social «forgetting» and «amnesia» is clearly manifested in the amnesty institute as a form of prescribed oblivion. Although amnesty often pretends to be amnesia, or in part generates it, it never quite coincides with it. Based on the experience of countries that have experienced acute civil conflicts (Spain, South Africa, Rwanda etc.), the author gathers arguments in favor of the conclusion that mixing amnesty with amnesia is not only immoral, but often leads to a politically erroneous assessment of prescribed oblivion as an instrument of national mobilization. The article may be of interest to clarify the conceptual apparatus in the analysis of modern national movements, as well as to clarify the methodology of memory studies as a separate area of research.

Keywords: mnemonic deficits; forgetting; oblivion; amnesia; narrative configuration; traumatic past; amnesty; national mobilization; Circassian nationalism.

* **Potseluev Sergey**, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia),
e-mail: spotselu@mail.ru

¹The research is a part of the programme budgeted by Russian Federation Ministry of Education and Science, project no. 30.2875.2017/8.9 «Ethno-political and ethno-religious mobilization of the Circassians and the Turkic peoples in the Caucasus, the Crimea and foreign diasporas».

For citation: Potseluev S.P. Social forgetfulness as a symbolic resource of national mobilization (conceptual aspect). *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 42–65. DOI: <https://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.02>

References

- Ankersmit F.R. *Sublime historical experience*. Moscow: Europa, 2007, 612 p. (In Russ.)
- Assmann J. *Cultural memory: writing, memory of the past and political identity in high cultures of antiquity*. Moscow: Languages of Slavic culture, 2004, 368 p. (In Russ.)
- Assmann A. Memory spaces. Forms and transformations of cultural memory. Munich: C.H. Beck, 2009, 424 p. (In Germ.)
- Assmann A. *Long shadow of the past: memorial culture and historical politics*. Moscow: New literary review, 2014, 328 p. (In Russ.)
- Assman A. New discontent with memorial culture. Moscow: New literary review, 2016, 223 p. (In Russ.)
- Augustine. *Confessions*. Moscow: Renaissance, SP IVO-SID, 1991, 488 p. (In Russ.)
- Berger P.L., Luckmann T. *The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. Moscow: Medium, 1995, 323 p. (In Russ.)
- Connerton P. Seven types of forgetting. *Memory Studies*. 2008, N 1, P. 59–71. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750698007083889>
- Galindabaeva V.V., Karbainov N. Memory and oblivion in the metis rural community. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. 2019, N 7, P. 48–55. DOI: <https://doi.org/10.31857/s013216250005792-4> (In Russ.)
- Halbwachs M. *The Social frameworks of memory*. Moscow: New publishing house, 2007, 348 p. (In Russ.)
- Hutton P.H. *History as an art of memory*. Saint Petersburg: Vladimir Dal publishing house, 2004, 424 p. (In Russ.)
- Lampropoulos A., Markidou V. Introduction: Configuring Cultural Amnesia. *Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies*. 2010, N 2, P. 1–6. DOI: <http://dx.doi.org/10.12681/syn.16485>
- Malinova O.Yu. Politics of memory as a field of symbolic politics. In: Miller A.I., Efremenko D.V. (eds.) *Methodological issues of studying the politics of memory: collection of scientific papers*. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018, P. 27–53. (In Russ.)
- McGaugh J.L., Weinberger N.M., Lynch G. (eds.) *Modulation and Mediation of Neuroplasticity*. New York; Oxford: Oxford university press, 1995, 364 p.
- Nagle J. Defying state amnesia and memory war's: non-sectarian memory activism in Beirut and Belfast city centres. *Social & Cultural Geography*. 2018, P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1497191>
- Ponamareva A.M. Politics of memory on the pages of *Foreign Affairs*: methodological settings (analytical review). In: Miller A.I., Efremenko D.V. (eds.) *Methodological issues of studying the politics of memory: collection of scientific papers*. Moscow, Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018, P. 196–221. (In Russ.)

- Potseluev S.P., Tsibenko S.N. The Phenomenon of national mobilization: clarifying the concept. *Ars Administrandi*. 2019, Vol. 11, N 1, P. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.17072/2218-9173-2019-1-1-23> (In Russ.)
- Renan E. What is a nation? In: *Renan E. Coll. Op. in 12 vols*. Vol. 6. Kiev, 1902, P. 87–101. (In Russ.)
- Ricoeur P. *Memory, history, forgetting*. Moscow: publishing house of humanitarian literature, 2004, 728 p. (In Russ.)
- Shestov N.I. Mechanisms of ‘Forgetting’ in the structure of historical memory. In: Gladyshev A.V. (eds.) *History and historical memory: collection of scientific papers*. Vol. 9. Saratov: Saratov state university, 2014, P. 76–89. (In Russ.)
- Schwaiger M.A. *National mobilization of an agricultural society. The Catholic association, the Loyal national repeal association and young Ireland, 1801–1848*. Dissertation at the Faculty of History and Art Studies at the Ludwig Maximilians university in Munich. Munich, April 02, 2002, 453 p. (In Germ.)
- Solomina I.Yu. *Social memory: structure and phenomenon: abstract of the thesis of Cand. Sci in Philosophy*. Samara, Samara state university. 2005 (In Russ.)
- Tsibenko V.V. Micro- and macronational identity of the Circassian (Caucasian) diaspora in Turkey. *Bulletin of science of the Adyghe Republican Research Institute of Humanitarian Studies named after T.M. Kerashev*. 2017, N 12(36), P. 196–201. (In Russ.)
- Tsibenko V.V. Such different past: Communicative gap and other challenges for modern Caucasus. *The New Past*. 2018, N 3, P. 211–215. (In Russ.)
- Tsibenko V.V., Nikiforov S.V. 1864–1944–1994. Collective memory and the features of Circassian-Chechen interaction in the Middle East. *Naučnaâ mysl' Kavkaza (Scientific Thought of the Caucasus)*. 2015, N 4, P. 89–97. DOI: <https://doi.org/10.18522/2072-0181-2015-84-4-89-97> (In Russ.)
- Ugarte M. David Rieff, in praise of forgetting: Historical memory and its ironies. New Haven, CT: Yale university press, 2016, 160 pp. *Historiografias*. 2017, N 13, P. 146–155. DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.2017132357
- Urushadze A.T. Remember–can't–be forgotten: Caucasian war in the historical memory of Adygys and in the Russian space of commemoration. *Political science (RU)*. 2018, N 3, P. 106–128. DOI: <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.06> (In Russ.)
- Vivian B. *Public forgetting: the rhetoric and politics of beginning again*. University park: Penn state university press, 2010, 212 p.

Я.В. СЕВАСТЬЯНОВА, Д.В. ЕФРЕМЕНКО*
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ПАМЯТИ И ДИЛЕММА
МНЕМОНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ¹

Аннотация. В статье рассматривается феномен секьюритизации памяти, ее предпосылки и последствия, включая использование исторических аргументов в межгосударственных взаимодействиях и геополитической конкуренции. Усилия по секьюритизации исторических нарративов и символических практик нередко оборачиваются диктатом со стороны доминирующих мнемонических акторов, стремящихся при помощи нормативных обоснований и инструментария защиты физической и социальной безопасности закрепить в общественном сознании определенную трактовку прошлого. На международной арене секьюритизация определенных трактовок исторического прошлого может приводить к возникновению дилеммы мнемонической безопасности. Дилемма мнемонической безопасности проявляется в том случае, когда исторический нарратив, служащий «мифом основания» для государства А или играющий большую роль в сплочении стоящего за этим государством сообщества, на систематической основе оспаривается влиятельными силами, выступающими от лица сообщества, стоящего за государством В. Если институты государства В оказывают устойчивую поддержку этим усилиям, то политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать такого рода действия или разработать свой комплекс мер, направленных на противодействие подрыву «своего» нарратива и дискредитацию исторических нарративов, значимых для сплочения сообщества в государстве В.

* **Севастьянова Ярослава Викторовна**, главный специалист, Институт научной информации по общественным наукам РАН, e-mail: 123almaks@mail.ru ; **Ефременко Дмитрий Валерьевич**, д-р полит. наук, заместитель директора, Институт научной информации по общественным наукам РАН, e-mail: efdv2015@mail.ru

¹ Статья отражает результаты исследования, проводимого в Институте научной информации по общественным наукам РАН в рамках проекта № 19-011-31148, поддержанного РФФИ и АНО ЭИСИ («опн»).

Ключевые слова: политическое использование прошлого; мнемоническая безопасность; мнемонические акторы; нарративы; дилемма безопасности.

Для цитирования: Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В. Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 66–86 – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.03>

Память о прошлом – неотъемлемая часть макрополитической идентичности тех сообществ, чей уровень консолидации и самосознания, а также связь с государством позволяют рассматривать их в качестве наций. Это верно и для тех социокультурных общностей, в которых процессы нациестроительства не являются завершенными, но вектор развития в данном направлении вполне очевиден. Как отмечает О.Ю. Малинова, «именно идея нации задает общую рамку, в которую так или иначе должна быть вписана макрополитическая идентичность» [Малинова, 2010, с. 91]. Историческая память является необходимой предпосылкой и инструментом национального сплочения. Но воздействие на макрополитическую идентичность и устойчивость соответствующего сообщества через историческую память может быть разнонаправленным, ведущим в ряде случаев не к сплочению, а к ослаблению сообщества. Острота конфликтов последних лет вокруг исторической памяти обусловлена в значительной мере тем, что разные акторы пытаются использовать трактовки прошлого как наступательное и оборонительное оружие в вопросах легитимности политического режима, оснований суверенного контроля над той или иной территорией, достижения преимуществ одной из политических сил во внутриполитическом противостоянии, одной страны или группы государств – в рамках геополитической конкуренции. Память о прошлом все чаще рассматривается в контекстах безопасности – начиная с субъективного ощущения безопасности жизненного мира индивида или группы и заканчивая различными измерениями международной безопасности. В настоящей статье проблематика исторической памяти и деятельность различных акторов, направленная на ее секьюритизацию, рассматривается на пересечении социальной теории, *memory studies* и исследований международных отношений. Анализ и обобщение научной литературы, представляющей эти дисциплинарные и междисциплинарные области знания, позволяет выявить перспективные направления дальнейших исследований мнемонической безопасности и взаимодействий

акторов исторической и символической политики на международном уровне.

Историческая память как проблема онтологической безопасности

Как известно, термин «онтологическая безопасность» был введен в научный оборот британским специалистом по психиатрии и психоанализу Р. Лэйнгем [Laing, 1960], а в качестве понятия социальной теории – существенно реинтерпретирован Э. Гидденсом [Giddens, 1991]. С помощью данного понятия Гидденс характеризует уровень уверенности социальных акторов в окружающем их мире, в том, что отсутствуют значимые угрозы их образу жизни и идентичности, постоянству окружающей природной и материальной среды. По сути дела, речь идет об эмоциональных и когнитивных основаниях определения социальными акторами своих интересов, их готовности формировать сообщества и действовать стратегически в своей социальной среде [Krahmann, 2018]. Уже на уровне индивидов рутинизированные социальные практики и биографические нарративы выступают в качестве важнейших составляющих онтологической безопасности, которая, в свою очередь, оказывает влияние на политическое поведение. В этом ракурсе представляется перспективным анализировать и уровень доверия к существующему в том или ином обществе институциональному порядку, который должен играть стабилизирующую роль для межличностных и межгрупповых взаимодействий. О состоянии онтологической небезопасности (insecurity) уместно говорить в том случае, когда функционирование институтов не в состоянии купировать ощущение тревоги у индивидов или сообществ [Rumelili, 2015], возникающее из-за угрозы нарушения привычного порядка вещей и оспаривания биографических нарративов, значимых для идентичности соответствующего социального актора [Giddens, 1991, p. 52].

Если изначально построения Гидденса сфокусированы на индивидах и их жизненном мире, то перенос этой логики на социальные группы и устойчивые сообщества открывает новые аналитические перспективы, при этом порождая и ряд новых вопросов. Экстраполяция представлений об онтологической безопасности на

политологию и международные отношения более рельефно высвечивает взаимосвязь государств и стоящих за ними сообществ, включая тем самым вопросы идентичности и исторической памяти в соответствующую сферу дисциплинарного анализа. В то же время возникает проблема соотнесения традиционных для этих дисциплин представлений о безопасности с концептом онтологической безопасности. Попутно усиливаются риски того, что секьюритизация исторической памяти обернется переносом в сферу дискуссий о прошлом и идентичности подходов и инструментария, используемых для защиты безопасности и интересов государств.

Основанием для обсуждения вопросов онтологической безопасности применительно к сообществам является не только возможность их представления в качестве унитарных коллективных акторов, но также то, что способы редукции / преодоления экзистенциальной тревожности и ощущения небезопасности для индивидов и сообществ во многом являются общими. Самоидентификация, конструирование и отстаивание биографических нарративов неразрывно связаны с ощущением индивидом своей принадлежности к тому или иному сообществу, а на уровне сообществ, в свою очередь, могут происходить определение объектов страха и источников угроз, демаркация свой / чужой, которые затем оказывают воздействие на индивидуальное восприятие. Причем эти индивидуально-групповые взаимодействия являются комплексным процессом, динамика которого может быть как рутинной, так и экстраординарной. Однако даже в условиях экстраординарной динамики стремление индивида или сообщества сохранить собственную идентичность является превалирующим, и в этом смысле онтологическая безопасность может оказаться более значимой, чем безопасность физическая [Mitzen, 2006; Steele, 2008].

Вывод о том, что сохранению идентичности и онтологической безопасности в ряде случаев может быть отдано предпочтение даже в условиях угрозы выживанию сообщества или государства идет вразрез с установками представителей мейнстрима теории международных отношений, причем не только проponentов политического реализма и его модификаций, но и ключевых фигур в других направлениях ТМО, как, например, А. Вендта (конструктивизм), А. Джорджа (политическая психология) или Р. Кохейна (неолиберальный институционализм) [Herrington, 2013]. Но это лишь подчеркивает эвристическую ценность использования концепта онто-

логической безопасности в ТМО, поскольку именно с его помощью удастся объяснить такие события, как, например, «суицидальное» решение Бельгии оказать вооруженное сопротивление вторжению Германской империи в 1914 г. [Steele, 2008]. В сущности, речь не идет о конституировании еще одного направления в ТМО – обращение к проблематике онтологической безопасности позволяет заполнить некоторые из существующих пробелов в международных исследованиях, включая и аспекты политического использования исторического прошлого.

Если исходить из предпосылки, что государство, отстаивая онтологическую безопасность своего сообщества, стремится обеспечить непрерывность бытия собственного Я (иногда допуская при этом понижение порога физической безопасности), то тогда историческая память, поддерживающие ее нарративы и символические практики могут рассматриваться в качестве объектов секьюритизации. Концепция секьюритизации, разработанная лидерами Копенгагенской школы исследований международных отношений Б. Бузаном и О. Вейвером, формирует теоретическую рамку, позволяющую рассматривать в ракурсе безопасности значительно более широкий спектр явлений, которые прежде находились вне поля зрения специалистов в этой области [Buzan, Waever, de Wilde, 1998]. Общая модель секьюритизации, разработанная представителями Копенгагенской школы, служит основой для эмпирического анализа конкретных процессов, который должен выявить наличие исходных предпосылок секьюритизации (актор, референтный объект, аудитория) и определенной последовательности действий актора, позволяющих убедить аудиторию в том, что угроза референтному объекту существует и заслуживает реагирования. Следует, однако, отметить, что инновационный подход Копенгагенской школы вызвал широкую дискуссию, которую рано считать завершенной. В частности, в числе дискуссионных остается секьюритизация тех или иных аспектов идентичности [McSweeney, 1996]. Не ставя перед собой задачу глубокого погружения в данную дискуссию, мы придерживаемся трактовки секьюритизации, близкой к позиции М. Мальксоо. В этой оптике секьюритизация нарративов и символических практик, т.е. признание их значимыми для поддержания идентичности и заслуживающими применения защитных мер, рассматривается в качестве селекции, «отбраковки» тех нарративов и практик, которые не признаются полезными для

поддержания идентичности «как основы дееспособности политического актора» [Mälksoo, 2015]. Строго говоря, мнемоническая безопасность может здесь рассматриваться в качестве одного из важнейших аспектов онтологической безопасности сообщества, но, на наш взгляд, проблема состоит не в этой констатации, а в модальностях секьюритизации исторической памяти.

Турецкая исследовательница Б. Румелили предлагает в этой связи следующую объяснительную модель. Она отмечает, что в случае социальной безопасности внимание фокусируется на идентифицируемых объектах страха (например, мигрантах), которые могут угрожать жизнеспособности ранее сформировавшейся идентичности. В случае онтологической безопасности речь идет не о прямой угрозе идентичности, а о постоянной озабоченности ее стабильностью, т.е. о довольно неопределенных опасениях, связанных с возможным нарушением устоявшегося порядка вещей [Rumelili, 2015]. Однако и в последнем случае социальные акторы нередко прибегают к секьюритизации, которая выступает своеобразным механизмом преобразования вызывающей опасения неопределенности в более артикулированный объект тревоги. Иначе говоря, секьюритизация служит способом снижения неопределенности, что само по себе создает видимость некоторого повышения порога онтологической безопасности.

Подобный поиск простых ответов на сложные вопросы приводит к тому, что секьюритизация исторических нарративов и символических практик оборачивается попытками диктата со стороны доминирующих мнемонических акторов, стремящихся при помощи нормативных обоснований и инструментария защиты физической и социальной безопасности закрепить в общественном сознании определенную трактовку прошлого [Mälksoo, 2015]. Обеспечивая привилегированное положение нарратива «биографии государства» [Berenskoetter, 2014], эти акторы фиксируют его в статичной позиции, ограничивая критическую дискуссию и уровень рефлексивности данного нарратива. В долгосрочной перспективе такого рода процессы ведут к производству гораздо более серьезных рисков и в конечном счете к росту онтологической небезопасности [Croft, 2012].

Секьюритизация исторической памяти

Со времен Сорбоннской лекции Э. Ренана (1882) утвердилось понимание того, что одним из важнейших условий формирования и сохранения устойчивости нации является коллективная память о прошлом. Яркая метафора Ренана о существовании нации как о «повседневном плебисците» указывает на процессуальность, на то, что обращение к прошлому, его осмысление и переосмысление выступает важной предпосылкой достижения такого уровня национальной солидарности, который обеспечивает и актуальное согласие жить вместе, и готовность идти на жертвы ради общего будущего: «Разделять в прошлом общую славу и общие сожаления, осуществлять в будущем ту же программу, вместе страдать, наслаждаться, надеяться – вот что лучше общих таможен и границ, соответствующих стратегическим соображениям; вот что мы осознали, несмотря на различия расы и языка» [Renan, 1991, p. 112].

Развивая метафору «повседневного плебисцита», логично прийти к выводу о том, что постоянно идущие в публичном пространстве дебаты об историческом прошлом выступают инструментом формирования и последующей актуализации национальной идентичности. Такие дебаты не являются универсальным механизмом солидаризации – напротив, они могут приводить и к дивергенции. Как показал Д. Арт, публичные дискуссии, отличающиеся достаточной широтой, интенсивностью и продолжительностью, способствуют формированию фреймов для интерпретации политических проблем и, таким образом, влияют на политические процессы и их динамику [Art, 2005; Малинова, 2018]. Обеспечивая селекцию политически пригодного прошлого, публичные дискуссии с активным участием представителей политических элит в большинстве случаев способствуют поддержанию устойчивости ядра исторической мифологии соответствующего сообщества. Прошедшие такой квазиестественный отбор исторические нарративы сами могут выступать фактором стрессоустойчивости сообщества, причем стрессоустойчивость надо понимать не просто как способность адекватно реагировать на внутренние или внешние вызовы, но как способность мобилизовать внутренние ресурсы сообщества, которые не задействованы в рутинных обстоятельствах.

Альтернативная модель состоит в утверждении нарратива при помощи инструментария, в котором основную роль играют методы политико-идеологического и государственного принуждения. Предельными случаями реализации этой модели выступают метанарративы идеократических режимов. Согласно Г. Гиллу, исследовавшему советский метанарратив, речь идет о совокупности «дискурсов, в упрощенной форме представляющих идеологию» [Gill, 2011, p. 8]. Подобные метанарративы отличались высокой степенью идеологической индоктринации; ограничением вплоть до полного подавления / жестким регулированием властью дискуссий об историческом прошлом и развитии нации (наций); акцентированием (в частности, в СССР или социалистической Югославии) наднационального характера государственности и подчиненной роли факторов этничности в отношении декларируемых политическим режимом задач государственного строительства. По сути дела, метанарративы идеократических режимов – не просто редуцированные идеологемы, но целый механизм их трансляции в повседневную реальность и репрезентации норм и ценностей, имеющих конституирующее значение для режима, при помощи определенного набора символических средств (язык, визуализация, физическое окружение, ритуалы). Метанарратив в известном смысле облегчает приспособление индивида к таким особенностям идеократии как неопределенность фактов и порочный круг, «по которому движутся все объяснения» [Геллнер, 2004, с. 161]. Одновременно идеократический метанарратив выступает средством экспликации континуума «прошлое – будущее», тем самым включая в себя исторические нарративы и лежащие в их основе смыслопорождающие мифы.

Предпосылкой формирования такого рода метанарративов является функционирование политических систем, ориентированных на достижение высокой степени политико-идеологического контроля общественного мнения либо на его подмену директивными идеологическими установками. В рамках этой модели социальная коммуникация и общественные дебаты не могут в полном объеме выполнять функцию развития национального самосознания и формирования новых фреймов для интерпретации политических проблем. Формируемый и насаждаемый сверху метанарратив заполняет вакуум, возникающий при ограничении общественных дебатов. Но оборотной стороной этого процесса становится пагуб-

ность даже относительно свободной и продолжительной публичной дискуссии (если режим в силу тех или иных обстоятельств решается ее допустить) для целостности и устойчивости метанарратива. Иными словами, в условиях даже частичной либерализации метанарратив оказывается очень уязвим, и эта уязвимость не ограничивается идеологической сферой, она распространяется на всю политическую систему и в конечном счете – на общество [Севастьянова, Ефременко, 2020].

В идеократических метанарративах тем или иным образом комбинируются элементы, относящиеся и к идеологии, и к культурной традиции (иногда практически заново сконструированной в политических целях), и к ценностным предпочтениям. Разрушение метанарратива означает невозможность сохранения его целостности, отмирание многих составляющих, но – во многих случаях – выживание других компонентов, которые могут сохранять свое значение для тех или иных типов идентичности, и, постепенно трансформируясь, передаваться от поколения к поколению. Эти компоненты могут использоваться и используются в политических целях. На постсоветском пространстве такие практики получили широкое распространение в России (особенно с начала 2000-х годов), Белоруссии, в меньшей степени – в других независимых государствах, а также в непризнанных сепаратистских образованиях, где использование компонентов советского метанарратива принимает иногда весьма причудливые формы [Voronovici, 2019].

Примером трансформации компонентов метанарратива и их политического использования может служить и Сербия. Там с приходом С. Милошевича к руководству Союзом коммунистов Сербии в 1986 г. фактически был осуществлен синтез коммунистической идеологии и сербского националистического дискурса. Этот синтез внес значительный вклад в ускорение распада югославской федерации, но в самой Сербии, а также в Черногории, регионах Боснии и Хорватии с преобладанием сербского населения он был политически функциональным. Сохраняя во многих аспектах титовскую ортодоксию в части политической организации и управления социально-экономическими процессами, новый синтетический нарратив делал упор на виктимизацию сербов, на осуждение систематической и целенаправленной недооценки роли Сербии и сербов в истории Югославии [Stojanović, 2011].

После падения режима Милошевича новая политическая элита воздержалась от кардинального пересмотра синтетического нарратива [подробнее см.: Ефременко, Мелешкина, 2019]. Вместе с тем идеологические рудименты прежнего югославского метанарратива, сохранявшиеся в программе перешедшей в оппозицию Социалистической партии, стали утрачивать свою значимость на общесербском уровне. Несмотря на то что публичный дискурс во многом продолжал контролироваться властями в Белграде, постепенно дискуссии об историческом прошлом начали приближаться к модели, описанной Д. Артом. Соответственно, в этом формате все меньшее количество рудиментов титовского метанарратива сохраняет признание в качестве политически пригодных. Разумеется, фрагменты метанарратива продолжают «приватизироваться» теми группами, которые в этом заинтересованы. Они могут выстраивать на этих обломках новые мифы и развивать соответствующие нарративные стратегии, но при этом возрастает потенциал конфликта с идентичностями и мифологией других групп внутри одного и того же общества [Govedarica, 2012]. Этот потенциал может оставаться скрытым и незадействованным, но может и быть активирован, в том числе под внешним воздействием.

Вне всякого сомнения, ситуации на постъюгославском и постсоветском пространствах – это ситуации высокого уровня онтологической небезопасности. Формирование идентичности сообществ, стоящих за новыми независимыми государствами (а к ним можно отнести и государства с досоветской и доюгославской историческими традициями, включая Россию и Сербию), – процесс весьма болезненный и конфликтный. Другое дело, что во второй половине второго десятилетия XXI в. в число «проблемных» неожиданно попали сообщества, в которых, как казалось, на смену спорам о «мифе основания» давно пришел консенсус. Соответственно, запрос на решение проблем онтологической безопасности и секьюритизацию исторической памяти становится в условиях фрагментации мирового порядка и всплесков политической турбулентности все более широким.

Однако здесь проявляется новая группа рисков.

Во-первых, стремление к секьюритизации определенного набора исторических нарративов в условиях, когда эти нарративы еще не прошли необходимой селекции в ходе широкой, интенсивной и продолжительной публичной дискуссии (а во многих неза-

висимых государствах постсоветского пространства дела обстоят именно таким образом), ведет к тому, что отбор осуществляется теми мнемоническими акторами, которые имеют очевидное преимущество в ресурсах. Используя это преимущество, они добиваются признания определенных трактовок исторического прошлого принципиально важными для поддержания биографического нарратива государства и нуждающимися в защите от любых попыток их оспорить. Мнение и интересы других мнемонических акторов могут при этом быть проигнорированы, что уже закладывает основу для обострения в будущем конфликтов исторической памяти. Это также означает, что публичные дискуссии по значимым для общества темам если не сворачиваются вовсе, то существенно ограничиваются за счет изъятия чувствительных исторических сюжетов. Тем самым потенциал политической дестабилизации только усиливается.

Во-вторых, высока вероятность того, что «неприкосновенность» секьюритизированных нарративов будет обеспечиваться в том числе и мерами государственного принуждения, законодательными актами, предусматривающими репрессии в отношении критиков соответствующих нарративов, цензурными ограничениями. Если применение таких мер будет носить систематический характер, то возрастет опасность того, что рано или поздно секьюритизированные исторические нарративы повторят судьбу идеократических метанарративов СССР и бывшей Югославии со всеми вытекающими из этого политическими и социальными последствиями.

В-третьих, устойчиво закрепившись в домене *raison d'État*, набор секьюритизированных исторических нарративов может стать предметом межгосударственных противоречий и поводом для ведения разного рода гибридных информационных войн. В последнем случае появляются основания и для модификации дилеммы безопасности.

Мнемоническая модификация дилеммы безопасности

Рост интереса специалистов по международным отношениям к представлениям об онтологической безопасности обусловлен в значительной мере тем, что данный концепт открывает новые воз-

возможности для объяснения факторов, обуславливающих возникновение дилемм безопасности и влияющих на динамику международных конфликтов [Browning, Joenniemi, 2016]. Согласно Р. Джервису, дилемма безопасности проявляется в том случае, когда укрепление безопасности одного государства воспринимается другим государством или группой государств как угроза их собственной безопасности [Jervis, 1978]. Следует учитывать, что основой для такого восприятия служат не только и даже не столько калькуляции объективных факторов безопасности, но также интуитивные ощущения и негативные ожидания в отношении намерений партнера. Субъективные и психологические составляющие таких оценок играют особенно значимую роль в условиях общей стратегической неопределенности, дефицита доверия и коммуникации между лидерами и политическими элитами соперничающих государств. Суть классической дилеммы безопасности состоит в том, что в ответ на действия государства А лидеры государства В должны смириться с предполагаемым понижением порога собственной безопасности либо предпринять какие-либо активные ответные действия, которые, в свою очередь, могут быть восприняты руководством государства А в качестве угрожающих. В ситуации, когда руководство и политические элиты государств А и В рассматривают двусторонние отношения в модальности игры с нулевой суммой, вероятность эскалации конфликта существенно возрастает.

Конкурентные отношения государственных акторов по вопросам исторической памяти, очевидно, могут воспроизводить дилемму безопасности, хотя и с известными коррективами. *Дилемма мнемонической безопасности* возникает в том случае, когда, например, исторический нарратив, служащий «мифом основания» для государства А или играющий большую роль в сплочении стоящего за этим государством сообщества, на систематической основе оспаривается влиятельными силами, выступающими от лица сообщества, стоящего за государством В. Если институты государства В оказывают устойчивую поддержку этим усилиям, то политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать такого рода действия или разработать свой комплекс мер, направленных на противодействие подрыву «своего» нарратива и дискредитацию исторических нарративов, значимых для сплочения сообщества в государстве В. Такая динамика может особенно ярко проявляться в тех случаях, когда мнемонические

акторы современных государств, между которыми сложились остро конкурентные отношения, пытаются «приватизировать» какую-то часть некогда общего «наследия воспоминаний». Стремясь разрушить «миф основания» государства А, мнемонические акторы государства В пытаются из его обломков сконструировать свой собственный «миф основания», и, таким образом, усугубляют конфликт, переводя его на уровень антагонизма идентичностей.

Разумеется, дилемма мнемонической безопасности, как правило, выступает производным от классической дилеммы безопасности. Иначе говоря, под уже существующие противоречия, связанные с военно-стратегической и экономической безопасностью, ориентацией на те или иные союзы и межгосударственные объединения [Charap, Troitskiy, 2013], подводится исторический и символический базис, и конфликт с государством А начинает мыслиться политическими элитами и частью массовых групп государства В как важный и даже конституирующий элемент собственной национально-государственной идентичности. Другое дело, что дивергенция государств, перевод их отношений в логику игры с нулевой суммы имеют под собой определенные исторические основания, анализ которых необходим для успеха усилий, направленных на снижение конфликтного потенциала.

Дилемма мнемонической безопасности особенно сложна именно потому, что затрагивает наиболее чувствительные стороны онтологической безопасности сообществ. В этих условиях свобода маневра государственных деятелей, представляющих соответствующее сообщество, существенно сокращается, и процесс принятия политических решений может существенно отклоняться от логики рационального выбора. Деятельность политических лидеров при этом в значительной мере переходит в регистр «соответствия чаяниям» своего сообщества. Как подметил еще Р. Джервис, в отношении оппонирующего государства они почти утрачивают способность «понять, что собственные действия могут выглядеть угрожающими», недружественные шаги другого государства воспринимают исключительно как признаки агрессии, в результате чего конфликт обостряется «до такого уровня, который невозможно объяснить объективными факторами» [Jervis, 1976, p. 75].

Эскалация конфликтов исторической памяти на межгосударственном уровне редко ограничивается одним лишь ужесточением полемики и снижающейся способностью воспринимать аргументы

оппонирующей стороны. Секьюритизация памяти зачастую переходит в разработку серии ограничительных и запретительных мер, касающихся, в частности, использования «нежелательной» символики, фактического и даже юридического цензурирования печатных и электронных изданий, предоставляющих доступ к «враждебному» нарративу. В этом же контексте можно рассматривать и создание в Польше и Украине институтов национальной памяти, которые выступают в роли «мнемонических воинов» [Twenty years after communism, 2014], имеющих статус государственных органов и способных благодаря этому привлекать существенный объем ресурсов. Сама дилемма мнемонической безопасности может быть с учетом этой динамики представлена следующим образом: если в рамках межгосударственных взаимодействий проблематика исторической памяти используется одной стороной как инструмент или даже политическое оружие, то высока вероятность, что и другая сторона постарается заполучить в свой арсенал такой же инструмент или оружие.

Заключение

Коллективная память и поддерживающий ее набор нарративов, символических инструментов и практик оказывают существенное влияние на поведение малых и больших сообществ и их реакции на внешние вызовы. В этом контексте попытки воздействия на коллективные представления о собственном прошлом не могут сводиться только к «установлению исторической истины» — такие попытки так или иначе оказывают влияние на групповую сплоченность, на идентичность и модальности политических действий представителей соответствующего сообщества. К этой констатации может быть добавлен набор аргументов, достаточный для того, чтобы обосновать символическую и историческую политику на государственном уровне потребностями онтологической безопасности сообществ. Вопрос состоит в соразмерности действий масштабам вызовов, в выборе эффективного инструментария и адекватной политической стратегии, учитывающей многообразие символических и мнемонических акторов внутри той или иной страны, а также наличие наступательных стратегий ряда влиятельных внешних игроков в сфере политики памяти.

Острота конфликтов вокруг проблем исторической памяти во многом обусловлена тем, что задачи обеспечения мнемонической безопасности могут быть истолкованы превратно. Намеренно упрощенное понимание мнемонической безопасности ведет к постулированию того, что государство и стоящее за ним сообщество нуждаются в достаточно четкой фиксации определенного исторического нарратива, который соответствует идентичности сообщества, ее поддерживает и укрепляет, а также создает благоприятный фон для реализации внешнеполитических задач государства. От такого понимания остается лишь полшага до вывода, что отстаивать целостность нарратива допустимо не только в рамках открытой публичной дискуссии, но также и с использованием возможностей государственного принуждения. Секьюритизацию тех или иных нарративов можно в таком случае сравнить с применением неконвенционального оружия в рамках символической и мнемонической борьбы. Необходимо осознавать, что секьюритизация исторической памяти сама по себе сопряжена с рисками и опасностями, масштабы которых – особенно в долгосрочной перспективе – вполне могут превзойти негативные стороны длительной и открытой дискуссии о сложных вопросах исторического прошлого.

В случае России налицо альтернатива: власть как доминирующий символический и мнемонический актор мобилизует ресурсы для того, чтобы попытаться навязать массовым группам удобный для себя образ прошлого (и, соответственно, создать платформу для определения текущей политической повестки и формирования образа будущего), либо власть ограничивается тем, что устанавливает «правила игры» и очерчивает рамки взаимодействия различных символических и мнемонических акторов относительно политической интерпретации истории. Также следует учитывать, что стратегия может быть рассчитана на удержание *status quo* (т.е. будет преимущественно оборонительной) или на обеспечение воспроизводства в будущем определенного набора представлений об историческом прошлом (а значит, – насколько возможно – воспроизводства политических и интеллектуальных элит, эти представления поддерживающих).

«Войны памяти», инициируемые частью политических и интеллектуальных элит Центральной и Восточной Европы, опасны не только нацеленностью на ревизию международного статуса современной России как страны – наследницы СССР, но и тем, что,

активируя конфликты вокруг исторического прошлого, они могут усилить напряженность, связанную с расхождениями идентичностей и представлений о прошлом различных групп российского общества. Наибольшая опасность «войн памяти» видится в том, что их легко развязать, но очень сложно завершить. На протяжении последних лет мы наблюдаем, что международные интеракции по проблемам исторического прошлого все чаще трансформируются в дилемму мнемонической безопасности. При этом антагонистический характер дискуссий о прошлом зачастую становится самоподдерживающимся. Как справедливо отмечает Алексей Миллер, мнемонические акторы, наиболее активно участвующие в «войнах памяти», «озабочены прежде всего утверждением исключительных прав своего нарратива в пространстве своей общности, воспринимая любую его критику как диверсию против ее единства и сплоченности. Именно в этом кроются корни необычайной активности стран Восточной Европы в производстве законодательных актов, ставящих под запрет попытки оспорить ту или иную интерпретацию, заданную национальными нарративами. Поэтому, кстати, так важен вопрос о том, чем руководствуется воинственный мнемонический актор, предпринимая коррекцию нарратива, — действительно ли он готов пересмотреть собственную позицию или просто старается сделать свой нарратив менее уязвимым для критики, не меняя его по существу» [Миллер, 2019, с. 90].

Батальные сцены современных «войн памяти» вызывают все большую тревогу. Слишком большое число мнемонических акторов в разных странах, чьи действия вышли за пределы национальных границ, заинтересованы в сохранении и даже еще большем усилении конфронтации по проблемам исторического прошлого. Но означает ли это, что любые усилия, направленные на преодоление конфронтации, обречены на провал? Хотелось бы надеяться, что нет, не означает. Во всяком случае, эксперты по проблемам политики памяти, осознанно отказавшиеся от роли «мнемонических воинов», могут и должны предупреждать национальные и наднациональные политические элиты о серьезных рисках секьюритизации исторической памяти и переноса конфликтов памяти в сферу межгосударственных взаимоотношений. Представляется своевременным поставить вопрос и о разработке международным сообществом исследователей памяти своеобразного этического кодекса. Одновременно имеет смысл значительно активизировать

исследования, направленные на разрешение мнемонических конфликтов, что, по всей видимости, потребует сближения исследовательских программ конфликтологии и memory studies.

Список литературы

- Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М.: Московская школа политических исследований, 2004. – 240 с.
- Ефременко Д.В., Мелешикина Е.Ю. Югославский метанарратив и современная югоностальгия в странах Западных Балкан // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2019. – № 4. – С. 56–71.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. – 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. научн. тр. / под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. – М.; СПб.: Нестор-История, 2018. – С. 27–53.
- Миллер А.И. Рост значимости институционального фактора в политике памяти – причины и последствия // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). – 2019. – № 3 (94). – С. 87–102. – DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-94-3-87-102>
- Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В. Прошлое и будущее в советском метанарративе: взаимосвязь национального и наднационального // Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы: коллективная монография / под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. – С. 40–60.
- Art D. The politics of the Nazi past in Germany and Austria. – Cambridge: Cambridge university press, 2005. – 232 p.
- Berenskoetter F. Parameters of a national biography // European journal of international relations. – 2014. – Vol. 20, N 1. – P. 262–288. – DOI: <https://doi.org/10.1177/2F1354066112445290>
- Buzan B., Waever O., de Wilde J. Security: A new framework for analysis. – Boulder, CO; L.: Lynne Rienner, 1998. – 239 p.
- Browning C.S., Joenniemi P. Ontological security, self-articulation and the securitization of identity // Cooperation and conflict. – 2016. – Vol. 52, N 1. – P. 31–47. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836716653161>
- Charap S., Troitskyi M. Russia, the West and the integration dilemma // Survival. – 2013. – Vol. 55, N 6. – P. 49–62. – DOI: <https://doi.org/10.1080/00396338.2013.862935>
- Croft S. Securitizing Islam: identity and the search for security. – Cambridge: Cambridge university press, 2012. – 278 p.
- Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. – Stanford: Stanford university press, 1991. – 256 p.

- Gill G.* Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge university press, 2011. – 356 p.
- Govedarica N.* Zemlja nesigurne prošlosti: Politike sećanja u Srbiji u periodu 1991–2011 godina // Revizija prošlosti. Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990 godine / T. Banjeglav, N. Govedarica, D. Karačić (eds.). – Sarajevo: ACIPS & Friedrich Ebert foundation, 2012. – P. 163–234.
- Herrington L.* Review – Ontological security in international relations // E-International relations. – 2013. – July 27. – Mode of access: <https://www.e-ir.info/2013/07/27/review-ontological-security-in-international-relations/> (accessed: 25.11.2019).
- Jervis R.* Perception and misperception in international politics. – Princeton, NJ: Princeton university press, 1976. – 544 p.
- Jervis R.* Cooperation under the security dilemma // World Politics. – 1978. – Vol. 30, N 2. – P. 167–214. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Krahmann E.* The market for ontological security // European security. – 2018. – Vol. 27, N 3. – P. 356–373. – DOI: <https://doi.org/10.1080/09662839.2018.1497983>
- Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration / Kubik J., Bernhard M. (eds.). – Oxford: Oxford university press, 2014. – 384 p.
- Laing R.D.* The divided Self: an existential study in sanity and madness. – Harmondsworth: Penguin, 1960. – 224 p.
- McSweeney B.* Identity and security: Buzan and the Copenhagen school // Review of international studies. – 1996. – Vol. 22, N 1. – P. 81–94. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210500118467>
- Mälksoo M.* «Memory must be defended»: Beyond the politics of mnemonical security // Security dialogue. – 2015. – Vol. 46, N 3. – P. 221–237. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010614552549>
- Mitzen J.* Ontological security in world politics: state identity and the security dilemma // European Journal of International Relations. – 2006. – Vol. 12, N 3. – P. 341–370. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066106067346>
- Renan E.* Qu'est-ce qu'une nation? – Paris: Pierre Bourdas et fils, 1991. – 128 p.
- Rumelili B.* Peace anxieties: a framework for conflict resolution // Ontological security and conflict resolution: peace anxieties / Rumelili B. (ed). – Abingdon: Routledge (PRIO New Security Studies Series), 2015. – P. 10–29.
- Steele B.* Ontological security in international relations: self-identity and the IR state. – New York: Routledge, 2008. – 210 p.
- Stojanović D.* Value changes in the interpretations of history in Serbia // Civic and uncivic values Serbia in the post-Milošević era / Listhaug O., Ramet S., Dulić D. (eds.). – Budapest: Central European university press, 2011. – P. 221–240.
- Voronovici A.* Internationalist separatism and the political use of «historical statehood» in the unrecognized republics of Transnistria and Donbass // Problems of Post-Communism. – 2019. – Vol. 65, N 4. – P. 1–15. – DOI: <https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1594918>

Ya.V. Sevastyanova, D.V. Efremenko*
Securitization of memory and dilemma of mnemonic security

Abstract. The article examines the phenomenon of memory securitization, its premises and consequences, including the use of historical arguments in interstate interactions and geopolitical competition. The efforts to securitize historical narratives and symbolic practices often turn into dictate by dominant mnemonic actors. By using normative judgements and tools of protection of physical and public security, they seek to consolidate a certain interpretation of the past in public opinion. On the international arena, competitive relations of state-related actors on the issues of historical memory may reproduce the classic security dilemma, albeit with particular adjustments. The dilemma of mnemonic security arises when a historical narrative, which serves as a «foundation myth» for a state A or plays a large role for uniting the community within this state, is systematically challenged by influential forces that act on behalf of the community, which is represented by state B. In case when institutions of the state B provide sustained support to these efforts, then the political elites of the state A faces the following choice: either to ignore such actions or to develop its own set of measures aimed at counteracting this undermining of «one's own» narrative and at discrediting historical narratives that are important for uniting the community in the state B.

Keywords: political use of the past; mnemonic security; mnemonic actors; narratives; security dilemma.

For citation: Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V. Securitization of memory and dilemma of mnemonic security. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 66–86. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.03>

References

- Art D. *The politics of the Nazi past in Germany and Austria*. Cambridge: Cambridge university press, 2005, 232 p.
- Berenskoetter F. Parameters of a national biography. *European journal of international relations*. 2014, Vol. 20, N 1, P. 262–288. DOI: <https://doi.org/10.1177/2F1354066112445290>
- Buzan B., Waever O., de Wilde J. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO., London: Lynne Rienner, 1998, 239 p.
- Browning C.S., Joenniemi P. Ontological security, self-articulation and the securitization of identity. *Cooperation and conflict*. 2016, Vol. 52, N 1, P. 31–47. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836716653161>

* **Sevastyanova Yaroslava**, Institute of Scientific Information of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: 123almaks@mail.ru; **Efremenko Dmitry**, Institute of Scientific Information of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: efd2015@mail.ru

- Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma. *Survival*. 2013, Vol. 55, N 6, P. 49–62. DOI: <https://doi.org/10.1080/00396338.2013.862935>
- Croft S. *Securitizing Islam: identity and the search for security*. Cambridge: Cambridge university press, 2012, 278 p.
- Efremenko D., Meleshkina E. Yugoslav metanarrative and contemporary yugonostalgia in Western Balkan countries. *Political expertise: POLITEX*. 2019, N 4, P. 56–71 (in Russ.)
- Gellner E. *Conditions of liberty. Civil society and its rivals*. Moscow: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy, 2004, 240 p. (in Russ.)
- Giddens A. *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford: Stanford university press, 1991, 256 p.
- Gill G. *Symbols and legitimacy in Soviet politics*. Cambridge: Cambridge university press, 2011, 356 p.
- Govedarica N. The land of uncertain past: Memory politics in Serbia in the period 1991–2011. In: Banjeglav T., Govedarica N., Karačić D. (eds.). *Revizija prošlosti. Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990 godine*. Sarajevo: ACIPS & Friedrich Ebert Foundation, 2012, P. 163–234. (In Serbian)
- Herrington L. Review – Ontological security in international relations. *E-International relations*. 2013. July 27. – Mode of access: <https://www.e-ir.info/2013/07/27/review-ontological-security-in-international-relations/> (accessed: 25.11.2019).
- Jervis R. *Perception and misperception in international politics*. Princeton, NJ: Princeton university press, 1976, 544 p.
- Jervis R. Cooperation under the security dilemma. *World Politics*. 1978, Vol. 30, N 2, P. 167–214. DOI: <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Krahmann E. The market for ontological security. *European security*. 2018, Vol. 27, N 3, P. 356–373. DOI: <https://doi.org/10.1080/09662839.2018.1497983>
- Laing R.D. *The divided Self: an existential study in sanity and madness*. Harmondsworth: Penguin, 1960, 224 p.
- McSweeney B. Identity and security: Buzan and the Copenhagen school. *Review of international studies*. 1996, Vol. 22, N 1, P. 81–94. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210500118467>
- Malinova O. Yu. Symbolic politics and the constructing of macro-political identity in post-soviet Russia. *Polis. Political Studies*. 2010, N 2, P. 90–105 (in Russ.)
- Malinova O. Yu. Politics of memory as a field of symbolic policy. In: Miller A., Efremenko D. (eds.) *Methodological issues of memory studies*. Moscow; Saint Petersburg: Nestor-Istoria, 2018, P. 27–53 (in Russ.)
- Mälksoo M. «Memory must be defended»: Beyond the politics of mnemonical security. *Security dialogue*. 2015, Vol. 46, N 3. P. 221–237. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010614552549>
- Miller A. Growth of the Significance of Institutional Factor in Politics of Memory – Causes and Implications. *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. 2019, N 3 (94), P. 87–102. DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-94-3-87-102> (in Russ.)

- Mitzen J. Ontological security in world politics: state identity and the security dilemma. *European journal of international relations*. 2006, Vol. 12, N 3, P. 341–70. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066106067346>
- Renan E. *What is the nation?* Paris: Pierre Bourdas et fils, 1991, 128 p. (In French)
- Rumelili B. Peace anxieties: a framework for conflict resolution. In: Rumelili B. (ed.) *Ontological security and conflict resolution: peace anxieties*. Abingdon: Routledge (PRIO New Security Studies Series), 2015, P. 10–29.
- Sevastyanova Ya.V., Efremenko D.V. Past and future in Soviet metanarrative: interplay of the national and supranational. In: Miller A., Efremenko D. (eds.) *Politics of memory in contemporary Russia and East European countries: actors, institutions, narratives*. Saint Petersburg: Izdatelstvo evropejskogo universiteta, 2020, P. 40–60 (in Russ.)
- Steele B. *Ontological security in international relations: self-identity and the IR state*. N.Y.: Routledge, 2008, 210 p.
- Stojanović D. Value changes in the interpretations of history in Serbia. In: Listhaug O., Ramet S., Dulić D. (eds.) *Civic and uncivic values Serbia in the post-Milošević era*. Budapest: Central European university press, 2011, P. 221–240.
- Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration*. Kubik J., Bernhard M. (eds.) Oxford: Oxford university press, 2014, 384 p.
- Voronovici A. Internationalist separatism and the political use of “historical statehood” in the unrecognized republics of Transnistria and Donbass. *Problems of Post-Communism*. 2019, Vol. 65, N 4, P. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1594918>

КОНТЕКСТ

М.В. ГАВРИЛОВА*

ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕЗИДЕНТ» В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. Развитие новой системы государственной власти сопровождается внедрением новых политических понятий, (ре)актуализацией и переосмыслением политической лексики, процессами (ре)идеологизации слов и др. Цель данной статьи – лингвокогнитивный анализ способов дискурсивного конструирования понятия «президент» в русском политическом дискурсе. В качестве материала исследования используются инаугурационные речи российских президентов, поскольку инаугурация – это одна из форм символического политического действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и коллективные ценности.

Процедура лингвокогнитивного анализа заключается в: 1) описании семантического развития слова *президент* в русском языке и русском политическом дискурсе, 2) экспликации смысловых блоков: (само)идентификация («Кто такой президент?»), действие («Что он делает?»), принадлежность («Что имеет отношение к президенту?»), 3) сопоставлении инаугурационных речей с целью выявления прототипических и вариативных элементов политического понятия «президент», 4) статистическом анализе языкового материала.

В результате проведенного анализа мы определили инвариантные признаки высшей государственной должности в России: основной вербальный репрезентант понятия «президент» – это глава государства. Исполнение должности президента является крайне ответственным делом. Действия президента мотивированы долгом (служение народу и стране), т.е. имеют морально-нравственное (этическое) основание.

* Гаврилова Марина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: politlinguistics@yandex.ru

© Гаврилова М.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.04

Прототипические действия российских президентов выражаются глаголами речевой деятельности, глаголами социальной деятельности и глаголами межличностных отношений. Изменяющиеся во времени действия представлены относительно большим количеством тематических групп.

Мы выяснили, что в состав формирующихся представлений о должности президента входят определенные предметы: 1) географическое понятие; 2) люди, проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политике; 3) символичные знаки власти; 4) трудовая деятельность; 5) политическая деятельность; 6) этические категории.

Ключевые слова: президент; политическая лингвистика; русский политический дискурс; инаугурационная речь.

Для цитирования: Гаврилова М.В. Дискурсивное конструирование понятия «президент» в русском политическом дискурсе // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 87–109. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.04>

Президент России – это относительно новая должность в государственном устройстве страны. Институт президентства берет свое начало с Декларации о государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 г.), итогов референдума 17 марта 1991 г. и Закона РСФСР «О выборах президента РСФСР» (принят 24 апреля 1991 г.). Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 г.

Развитие новой системы государственной власти сопровождается внедрением новых политических понятий, (ре)актуализацией и переосмыслением политической лексики, процессами (ре)идеологизации слов и др. Цель данной статьи – лингвокогнитивный анализ способов дискурсивного конструирования понятия «президент» в русском политическом дискурсе.

В качестве материала исследования используются инаугурационные речи российских президентов, поскольку, во-первых, инаугурация – это одна из форм символического политического действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и коллективные ценности; во-вторых, торжественная политическая речь, произносимая на церемонии вступления в должность президента России, являет собой идеологический текст, предлагающий обществу идеальный проект дела и формирующий представления о стране, народе, власти и президенте, о взаимоотношениях лидера и народа.

Выясняя языковые механизмы дискурсивного конструирования представлений о должности президента России, мы опишем семантическое развитие слова *президент* в русском языке и рус-

ском политическом дискурсе, эксплицируем актуализируемые политиками когнитивные элементы понятия «президент России», проведем их сравнительный анализ и выявим прототипические и вариативные элементы нового политического понятия.

Отметим, что для когнитивного подхода к анализу текстов характерны две основные особенности: объективация структур знания, стоящих за текстом, с помощью специальных методов представления знаний; экспликация тех механизмов, которые позволяют понимать текст, выявлять скрытые в нем структуры знаний [Сергеев, 1987, с. 16].

Важным преимуществом когнитивного анализа является возможность выяснить ментальные схемы или когнитивные модели, которые лежат в основе общественно значимого текста. Структура и содержание понятий и концептов имеют большое значение для эффективного речевого взаимодействия различных социально-политических сил России, поскольку позволяют описывать особенности мышления представителей государственных и негосударственных политических институтов в определенный исторический период, а также строить предсказывающие модели [Ильин, 1997; Сергеев, Цымбурский, 1990].

Отметим, что данная статья является продолжением принятого нами в 2008 г. исследования способов репрезентации политического понятия «президент» [Гаврилова, 2008] в инаугурационных речах российских президентов. Данное исследование содержит новый текстовый материал: речь Д.А. Медведева в 2008 г., выступления В.В. Путина в 2012 и в 2018 гг. Подчеркнем, что новый этап исследования характеризуется применением дополнительных методик изучения политического текста: 1) выявлены лексико-семантические объединения, описывающие действия президента, и осуществлена их классификация; определена частотность групп глаголов; представлена когнитивная интерпретация данных лексико-семантического анализа; 2) улучшена методика анализа морфологических средств, участвующих в дискурсивном конструировании представлений о президенте, в частности, разграничены институциональный и индивидуальный способы выражения значения; 3) усовершенствована структура фрейма понятия «президент».

Семантическое развитие слова *президент* в русском языке

Слово *президент* пришло в русский язык через немецкий язык от латинского *praesidens* (*praesidentis*) – сидящий впереди; стоящий во главе; председательствующий¹. Рассмотрение значения слова, представленного в толковых словарях русского языка, изданных в различные исторические периоды, привело нас к выводу об изменении толкования слова на протяжении XX – начала XXI в. Семантическое развитие слова таково: председатель, старший член совещательного места, управления (начало XX в.) – глава государства в буржуазной республике (30-е годы XX в.) – председатель, избранный для руководства обществом или научным учреждением (60–80-е годы XX в.), – выборный глава государства (в большинстве стран с республиканской формой правления) (90-е годы XX в.) – председатель, избранный для руководства обществом, объединением, научным учреждением (начало XXI в.). Как видно, семантическое изменение слова представляет собою чередование двух значений «председатель союза» и «глава республики», одно из которых становится основным в различные периоды истории.

Сравнительный анализ позволил выявить прототипическое основание лексического значения слова *президент*: «ограниченная определенным сроком выборная должность председателя, руководящего организацией или государством».

Отметим, что с начала 1990-х годов, после учреждения поста президента страны, наблюдаются определенные изменения и в семантике, и в функционировании слова в русском языке и, в частности, в политическом дискурсе.

Во-первых, увеличивается частотность использования слова в различных дискурсивных типах. Обратившись к Национальному корпусу русского языка², мы выяснили, что в советский период иностранное слово *президент* было малоупотребительным. Однако с 1990-х годов наблюдается возвращение в активное словоупотребление слов *президент*, *президентский*, *президентство*.

¹ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – Т. 3. – С. 1022.

² Национальный корпус русского языка. – Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru/new/index.html> (дата посещения: 29.11.2019.)

Во-вторых, в политическом дискурсе осуществляется вытеснение русского слова *председатель* заимствованным *президентом*. Переименование приобретает широкое распространение, и наименование *президент* повышает престиж лица, управляющего организацией. Напомним, что в советском политическом дискурсе широко использовалось русское слово *председатель*, синонимичное *президенту*. Ср.: председатель – лицо, руководящее собранием, заседанием. Руководитель некоторых учреждений, объединений, обществ, организаций, органов. Председатель колхоза, сельсовета, домкома, Комитета советских женщин, родительского комитета, совета дружины, Президиума Верховного Совета СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР = Президент рабочих и крестьян¹.

В-третьих, изменение категориальной принадлежности слова. Толкование, описывающее зарубежную действительность, перемещается в сферу, объясняющую отечественные реалии. Например, в 1930-е годы слово *президент* имело стилистическую окраску «официальное» и употреблялось в определенных контекстах: в основном значении в дискурсах о «них», в частности о буржуазных республиках (президентские выборы в США) и в неосновном значении в дискурсах об общественных организациях. Однако «Словарь перестройки», в котором обобщен языковой материал 1985–1992 гг., фиксирует слово *президент* с пометой *переориентированное*, т.е. «переориентированное по своему употреблению с зарубежной действительности на сегодняшнюю советскую» в значении «с 1990 г. – глава советского государства». Переориентированным является и неосновное значение слова «глава некоторых ненаучных учреждений». Появляется и переносное значение «глава любой местной исполнительной власти», которое реализуется в ироническом контексте: «Обогнали всех и по количеству президентов – “больших” и “малых”»: Президенты страны, республик, районов, улиц².

В-четвертых, изменение дискурсивных контекстов функционирования слова *президент*. Начиная с 1950 годов слово преимущественно употреблялось в дискурсах о науке и научных ра-

¹ Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка совдепии. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – С. 473.

² Словарь перестройки 1985–1992 / под ред. В.И. Максимова. – СПб.: Златоуст, 1992. – С. 17.

ботниках (*президент Академии наук СССР*) и основным являлось значение «председатель, избранный для руководства обществом или научным учреждением»¹. Начиная с 1990-х годов слово в основном используется в политическом и экономическом дискурсах, где переосмысляются и закрепляются новые (со)значения: 1) выборный глава государства (в большинстве стран с республиканской формой правления); 2) высшее должностное лицо фирмы, банка, компании и т.п.; 3) высшее должностное лицо компании, корпорации в буржуазных странах².

В-пятых, коннотативные оценочные смыслы сменяются на противоположные. Пейоративная (отрицательная) оценка слова *президент* в значении «глава государства», относящегося к враждебному лагерю буржуазных стран, сменилась на мелиоративную (положительную), где буржуазные страны, изменив оценочные признаки, стали называться цивилизованными государствами и выступать в качестве образца.

Таким образом, политические изменения в стране, связанные с введением новой государственной должности, нашли свое отражение в речевых процессах актуализации и идеологизации слова *президент* в русском языке.

Когнитивные элементы политического понятия «президент»

В Конституции Российской Федерации описанию должности президента посвящена глава 4, где в 14 статьях (ст. 80–93) дано определение, указаны полномочия, процедуры избрания и прекращения полномочий главы государства и др. Данное юридическое понятие представлено как готовое терминологическое знание. Но поскольку президентство предстало новым явлением для общественного сознания, то ему необходимо было постигнуть президентство в ходе процесса ментализации, т.е. осмысления, «длительного и сложного процесса погружения языка в категории

¹ Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд. – М.: Русский язык, 1983. – Т. 3. – 376 с.

² Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Складневской. – СПб.: Фолио-Пресс, 2000. – С. 501.

смысла»¹. Примечательно, что русское языковое сознание осмысляет президентскую систему власти при помощи как образных (концептуальные метафоры), так и логических средств (расширение сочетательных возможностей слова).

Проведя лингвокогнитивное исследование инаугурационных выступлений российских президентов, мы выявили тематический репертуар торжественной речи. Все руководители обращаются к теме единства нации, к историческому прошлому; подчеркивают значимость момента и новизну ситуации; говорят о необходимости преобразований, определяют роль и персональную задачу президента [Гаврилова, 2004].

Наши исследования показали, что российские президенты формируют представление о должности, (вос)создавая определенные когнитивные элементы: (само)идентификация (Кто такой президент?), действие (Что президент делает?), принадлежность (Что имеет отношение к президенту?).

Рассмотрим, как данные элементы дискурсивно конструируются в инаугурационных речах российских президентов.

(Само)идентификация: кто такой президент?

О становлении президентской формы правления в России свидетельствует, во-первых, обязательное определение в тексте функций главы государства, и, во-вторых, меняющаяся во времени идентификация должности президента.

В первой инаугурационной речи представлены описательные характеристики политического лидера новой России. Б.Н. Ельцин апофатически определяет роль президента, исходя из понимания традиционных субъектов власти в России – Бога и монарха: «Президент – не Бог, не новый монарх, не всемогущий чудотворец, он гражданин, облеченный огромной ответственностью за судьбу России, своих сограждан». Первый российский президент придает большое значение переходу к президентской системе правления, утверждая, что граждане России «выбрали не только личность, не только Президента, но прежде всего тот путь, по которому пред-

¹ Колесов В.В., Колесова Д.В., Харитонов А.А. Словарь русской ментальности: в 2 т. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. – Т. 1. – С. 7.

стоит идти нашей Родине. Это путь демократии, путь реформ, путь возрождения достоинства человека»¹.

В.В. Путин актуализирует такое качество личности политика, исполняющего должность президента, как ответственность; говорит о доверии, которое граждане оказали на выборах кандидату; подчеркивает, что деятельность президента – это, прежде всего, служение: «каждый день и каждую минуту служения Отечеству помнить»², «Вступая в должность Президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной»³.

Д.А. Медведев, ссылаясь на слова присяги, утверждает, что «обязательство уважать и охранять права и свободы человека <...> определяют смысл и содержание всей государственной деятельности». Представляется не вполне ясным, почему, давая обещание «работать с полной отдачей сил», политик разграничивает понятия «президент» и «человек, родившийся и живущий в стране»: «как Президент и как человек, для которого Россия – это родной дом, родная земля»⁴.

Существенно, что на торжественной церемонии в формировании представлений о должности президента используются не только речевые произведения, но и символические знаки. Во время второй инаугурации Б.Н. Ельцина вводятся геральдические символы президентского отличия – штандарт и знак президента, поскольку переход к новой системе правления потребовал создания новых символов власти.

Таким образом, сравнив инаугурационные выступления, мы определили инвариантные признаки высшей государственной должности: президент – это, прежде всего, глава государства. Исполнение должности президента является крайне ответственным

¹ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.

² Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089> (дата посещения: 29.11.2019.)

³ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁴ Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (дата посещения: 29.11.2019.)

делом. Действия президента мотивированы долгом (служение народу и стране), т.е. имеют морально-нравственное (этическое) основание.

Выявленные нами вариативные компоненты свидетельствуют о меняющемся во времени восприятии должности президента и отражают видение политической ситуации и политические задачи: президент – это гражданин, ответственный за судьбу сограждан и России, и человек, которому оказано народное доверие¹ – человек, которому народ вновь доверил высший государственный пост страны² – человек, который берет на себя огромную ответственность и руководствуется государственными интересами³, – ответственный за все, что происходит в стране, человек, обязанность которого «хранить государство и служить народу»⁴, – человек, смысл и содержание государственной деятельности которого «уважать и охранять права и свободы человека»⁵, – человек, которому оказано народное доверие, ответственный за страну; для которого «интересы и безопасность» Родины и «благополучие граждан» являются ценностями⁶, – человек, которого граждане поддержали на выборах, чувствующий свою ответственность перед людьми и страной⁷.

¹ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.

² Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.

³ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁴ Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность Президента России // Президент России. – 2004. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁵ Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁶ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁷ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416> (дата посещения: 29.11.2019.)

Действие: что президент делает?

Для того чтобы выяснить возможные действия главы государства, мы рассматриваем предложения, описывающие деятельность президента. Это предложения, в которых лидер (*я, президент*) представлен в качестве субъекта предложения, т.е. активно действующего лица, а также предложения, где контекст позволяет легко восстанавливать Я-субъект. При этом сказуемое выражено глаголом и глагольными формами. Иными словами, единицей описания является грамматическая основа предложения. Напомним, что только предложения с Я-подлежащим и глагольной формой информируют о действиях оратора, за которые он несет ответственность. Поскольку одним из способов языковой категоризации знаний о мире являются лексико-семантические объединения, мы распределяем глаголы по тематическим группам, после чего синтезируем результаты анализа на основе идеографического словаря¹.

В первой инаугурационной речи Б.Н. Ельцин использует семь сказуемых, описывающих деятельность лидера страны. Президент передает речевое сообщение (*присягать*), пребывает в эмоциональном состоянии (*переживать*), устанавливает социальные отношения, используя глаголы убеждения (*убеждать, уверять*), занимается интеллектуальной деятельностью, воспринимая (*смотреть*) и определяя (*рассчитывать*) политическую реальность. Отметим, что тематический класс глаголов убеждения является наиболее частотным в данном выступлении. Полагаем, что Б.Н. Ельцину важно подчеркнуть свою убежденность в правильности выбранного политического курса.

В 1996 г. в торжественной речи используются 24 выраженных глаголом и глагольной формой сказуемых. Статистический анализ показал, что наиболее частотен тематический класс глаголов внешнего проявления отношения (*благодарить*), затем глагол осуществления (*сделать*), глагол речевого сообщения (*говорить*), глагол эмоционально-оценочного отношения (*верить*). И далее следует единичное описание действий президента, который выражает эмоционально-оценочное отношение (*уважать, не сомне-*

¹ Толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. – М.: АСТ-Пресс, 1999. – 694 с.

ваться), понимает ситуацию (*увидеть, видеть*), передает речевое сообщение (*сказать, обращаться*), строит социальные отношения, убеждая (*заверить*) и управляя (*поручить*); занимается интеллектуальной деятельностью (*считать, смотреть*), говорит о желании и решимости достичь цели (*хотеть, добиваться*) и об изменении количественного признака (*продолжать*), пребывает в эмоциональном состоянии (*сметь*).

В 1996 г. наиболее частотная группа, описывающая действия президента, – это глаголы межличностных отношений. Вероятно, после сложной предвыборной борьбы Б.Н. Ельцину было важно поблагодарить избирателей (*благодарить*) и выразить им свое уважение (*уважать*), передать эмоциональное отношение (*не сомневаться, верить*).

После того, как мы распределили все функционирующие в двух речах глаголы по тематическим классам, мы выполнили процедуру синтеза с целью определения тех действий, которые, по мнению Б.Н. Ельцина, присущи должности главы государства. Мы выявили три большие группы: «Действие и деятельность», «Бытие, состояние, качество» и «Отношение».

В свою очередь, «Действие и деятельность» подразделяется на глаголы интеллектуальной деятельности, глаголы речевой деятельности и глаголы социальной деятельности. Интеллектуальная деятельность описывается при помощи глаголов восприятия (*смотреть*), определения (*рассчитывать*), понимания (*увидеть, видеть*) и решения (*считать*). Можно предположить, что, по мнению Б.Н. Ельцина, эти когнитивные функции важны для исполнения должности президента. Ораторская деятельность описывается при помощи глаголов речевого сообщения (*присягать, говорить, сказать*) и общения (*обращаться*). Социальная деятельность описывается глаголами осуществления (*сделать*), достижения цели (*хотеть, добиться*) и использования (*использовать*).

Вторая группа «Бытие, состояние, качество» состоит из глаголов эмоционального состояния и глаголов проявления признака. На каждой инаугурации политик говорил о тех эмоциях, которые он испытывал, вступая в должность (переживать, сметь). Глагол изменения количественного признака (*продолжать*) использовался, чтобы подчеркнуть преемственность политического курса: «*Я продолжу дело, которое начал пять лет назад*».

Третья группа «Отношение» включает глаголы социальных отношений и глаголы межличностных отношений. Новому и / или переизбранному президенту важно показать свое риторическое мастерство убеждения (*убеждать, уверить, заверить*) и способность управлять (*поручить*). Употребление глаголов внешнего проявления отношения (*благодарить*) и эмоционально-оценочного отношения (*уважать, верить, (не) сомневаться*) способствуют установлению межличностных отношений.

Сравнив тематические классы глаголов, используемых Б.Н. Ельциным в торжественных политических речах, мы пришли к выводу о том, что инвариантные действия первого президента России включают, прежде всего, интеллектуальную деятельность, далее строительство социальных отношений, речевую деятельность и описание эмоционального состояния. Один глагол – *смотреть* (в будущее), – повторяясь в обоих выступлениях Б.Н. Ельцина, участвует в построении интеридеологичности русского политического дискурса. Вероятно, устремленность в будущее явилась значимой идеологической задачей в первом десятилетии развития страны. Но вместе с тем призыв «Необходимо двигаться вперед, направлять свой взор в будущее» характерен для инаугурационной речи как жанра торжественного политического красноречия.

Таким образом, лингвокогнитивный анализ позволил разделить существенные и необходимые действия президента, представленные в инаугурационных выступлениях Б.Н. Ельцина.

В первой инаугурационной речи В.В. Путина мы выявили 17 сказуемых. Определив их тематический класс, мы выяснили, что наиболее частотная группа описывает интеллектуальную деятельность, в частности, представлены когнитивные функции определения (*рассчитывать, найти, понимать*), восприятия (*слышать*), решения (*руководствоваться, считать*). Затем президенту важно установить социальные отношения, убеждая (*заверить, убедить*) и защищая (*отстаивать*). Речевая деятельность президента выражается при помощи глагола речевого общения (*обращаться*) и воздействия (*обещать*). Политик внешне проявляет свое отношение к сторонникам (*поблагодарить*), говорит о своем эмоциональном состоянии (*чувствовать*), о значимости социальной деятельности (*работать*). Основные семантические сферы, описывающие действия президента, – это обещание как способ

речевого воздействия (*обещать*), целенаправленность (*хотеть*) и защита (*отстаивать*).

Во второй инаугурационной речи, произнесенной В.В. Путиным в 2004 г., используется 11 сказуемых. Наибольшую по численности группу составляют глаголы социальной деятельности со значением целенаправленности (*хотеть*), осуществления (*сделать*) и занятия профессиональным трудом (*работать*). Полагаем, что эту тематическую группу можно представить в виде тезиса «Есть цель – нужно работать, чтобы ее осуществить». Вторую по численности группу составляют глаголы речевой деятельности со значением сообщения (*сказать*) и воздействия (*подчеркнуть*). Далее следуют единичные употребления глаголов однонаправленного движения, ориентированного относительно конечного пункта (*вернуться*), создания объекта в результате интеллектуального труда (*исходить*). В речи употребляются глаголы, описывающие взаимоотношения с аудиторией, когда политику важно внешне проявить отношение (*поблагодарить*), уверить в истинности своей позиции (*убеждать*).

Д.А. Медведев выражает свои взгляды о действиях президента при помощи 14 сказуемых. Чаше президент использует глаголы интеллектуальной деятельности, решая (*считать*), понимая (*осознавать*), определяя (*рассчитывать*). Затем Д.А. Медведев устанавливает интертекстуальные связи с инаугурационной речью, произнесенной В.В. Путиным в 2004 г., повторяя триаду социальной деятельности «хотеть – работать – сделать». Президенту важно построить социальные отношения, проявляя убежденность в правоте своей позиции (*заверить*, *уверить*, *убеждать*). Продолжая традицию мирной передачи власти и политической преемственности, Д.А. Медведев обращается к предшественнику со словами признательности (*благодарить*). Кроме того, политику важно описать свое эмоциональное состояние. Д.А. Медведев говорит о глубоких чувствах, которые он испытывает, вступая в должность президента; подчеркивает важность поддержки предшественника, которую он постоянно ощущал.

Одно сказуемое сложно отнести к определенному тематическому классу, поскольку оно составлено с нарушением законов лексической сочетаемости русского языка. Речь идет о словосочетании *придавать внимание* («Особое внимание придаю фундамен-

тальной роли права...»). Следует использовать или *придавать значение*, или *уделять внимание*.

Чтобы выяснить, как Д.А. Медведев определяет круг должностных действий президента, мы, объединив все глаголы в большие тематические блоки, выявили следующие группы: «Действие и деятельность», «Бытие, состояние, качество» и «Отношение».

«Действие и деятельность» подразделяется на глаголы интеллектуальной деятельности и глаголы социальной деятельности. Интеллектуальная деятельность описывается при помощи глаголов определения (*рассчитывать*), понимания (*осознавать*) и решения (*считать*). Иными словами, устанавливать, понимать и решать – это те действия, которые совершает глава государства. Социальная деятельность описывается глаголами осуществления (*сделать*), *достижения* цели (*хотеть*) и профессионально-трудовой деятельности (*работать*).

«Бытие, состояние, качество» включает глаголы пребывания субъекта в эмоциональном состоянии (*испытывать, ощущать*). Речь идет о тех чувствах, которые испытывает политик, вступая в должность президента.

«Отношение» состоит из глаголов социальных отношений и глаголов межличностных отношений. Новому президенту важно *уверить, заверить, убедить* аудиторию в правильности и правдивости идеологических положений, звучащих на торжественной церемонии, а также *поблагодарить* предшественника.

Обратимся к третьей инаугурационной речи В.В. Путина, в которой используется шесть сказуемых, из них три глагола описывают такие разновидности интеллектуальной деятельности, как понимание (*видеть*), решение (*считать*) и определение (*понимать*). Жанровые особенности торжественной политической речи предполагают наличие тематики *достижения* цели (*сделать*), речевого сообщения (*желать*) и эмоционально-оценочного отношения (*верить*).

Рассмотрим четвертую инаугурационную речь В.В. Путина, в которой выявлено 15 сказуемых. Наиболее частотный тематический класс – глаголы интеллектуальной деятельности, которые как и в предыдущей речи выражают такие когнитивные операции, как понимание (*осознавать, видеть*), решение (*считать*) и определение (*рассчитывать*). Политик неоднократно использует глаголы с семой «благодарность», вероятно, поскольку вновь переизбирается на пост президента. Тематика целеполагания, свойственная

инаугурационной речи, реализуется при помощи глаголов *хотеть* и *сделать*. Президент уверяет аудиторию в достижимости цели, используя глаголы *заверить* и *убеждать*.

Для выяснения постоянных и изменяющихся представлений о действиях президента мы рассмотрели все глаголы, используемые В.В. Путиным в четырех инаугурационных речах. Мы определили две основные группы («Действие и деятельность» и «Отношение»), которые отличаются большим тематическим разнообразием по сравнению с речами других президентов, что может быть объяснено как количеством выступлений, так и / или изменениями представлений о должности президента с течением времени.

Сравнительный анализ показал, что на уровне тематических подклассов нет повторяющихся глаголов. Мы лишь можем указать, что в группу «Действие и деятельность» входят глаголы речевой деятельности и глаголы социальной деятельности, а группа «Отношение» включает глаголы межличностных отношений. Иными словами, инвариантными элементами действий политика в должности президента, по мнению В.В. Путина, является речевая деятельность (риторический аспект президентства) и социальная деятельность, подразумевающая участие человека и групп людей в изменении социальных процессов. Использование глагола межличностных отношений участвует в формировании такого композиционного приема торжественной речи, как выражение благодарности избирателям.

Статистический анализ выявил наиболее частотную тематическую группу глаголов, которые использует В.В. Путин для описания действий президента. Это глаголы интеллектуальной деятельности со значением определения (*рассчитывать*, *найти*, *понимать*), восприятия (*слышать*), решения (*руководствоваться*, *считать*) и понимания (*видеть*, *осознавать*). Иными словами, по мнению политика, президент преимущественно устанавливает, воспринимает, решает и понимает.

Подводя итог тематического анализа сказуемых, описывающих действия президента, отметим, что прототипическими являются глаголы речевой деятельности, глаголы социальной деятельности и глаголы межличностных отношений. Изменяющиеся во времени действия представлены относительно большим количеством тематических групп.

Наиболее частотное сказуемое отражает значимость описанного глаголом действия в момент произнесения торжественной речи. Так, в 1991 г. Б.Н. Ельцину, устанавливая социальные отношения, было важно *убедить*; в 1996 г., обращая внимание на межличностные отношения, *благодарить*. Д.А. Медведев *осознавал* ответственность и рассчитывал на сотрудничество. В 2000 г. В.В. Путин, оказывая речевое воздействие, *обещал*; в 2004 г. при помощи глагола *хотеть* привлекал внимание к социальной деятельности по достижению цели; в 2012 г. все глаголы использовались единожды, т.е. невозможно определить ключевой глагол; в 2018 г. президент *благодарил* избирателей за доверие.

Важно, что президенты в ходе церемонии вступления в должность президента дают народу обещание: «Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие»¹, «И я сделаю все, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована законом, но и реально обеспечена государством»², «Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны»³. Однако необходимо указать на декларативный характер обещаний президентов, использовавших различные языковые механизмы: лексические (генерализатор *все*, слова с размытым лексическим значением) и синтаксические (структура предложения).

Принадлежность: что имеет отношение к президенту?

В дискурсивном конструировании представлений о новой государственной должности участвуют морфологические средства – притяжательное местоимение *мой* и возвратное *свой*, указывающие на притяжательные отношения, устанавливаемые

¹ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.

² Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России [07.05.2008]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (дата посещения: 29.11.2019).

³ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России [07.05.2018]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416> (дата посещения: 29.11.2019).

говорящим, и имеющие значение «то, что относится ко мне, к себе», а также существительное *президентство*, прилагательное *президентский* и несогласованное определение с существительным *президент* в качестве главного и зависимого слова.

В 1991 г. Б.Н. Ельцин использует следующие словосочетания для описания предметов, относящихся к должности президента: «своих сторонников», «президентская система», «президентский курс». В 1996 г. этот список пополняется словами: «многие мои противники», «моя задача», «моя работа», «моя первейшая задача», «свои собственные промахи», «свои обещания», «своя главная задача», «президентские выборы», «выборы Президента», «кабинет Президента», «Администрация Президента».

В 2000 г. В.В. Путин, говоря о том, что принадлежит главе государства, употребляет словосочетания: «свою главную президентскую обязанность», «своих соратников», «в своих действиях», «своей святой обязанностью», «мои сторонники», «президентская обязанность», «Президент России», «Президент страны».

«Президентская присяга», «своей важнейшей задачей», «мои плечи», «мой долг» – таковы объекты, принадлежащие президенту, в выступлении Д.А. Медведева.

В 2012 г. представления о должности президента формируются при помощи словосочетаний: «должность Президента Российской Федерации», «свою ответственность», «своей жизни», «своим долгом», «Его (Д.А. Медведева. – М. Г.) президентство».

В 2018 г. понятие «президент» очерчивают следующие словосочетания: «Президента России», «свою колоссальную ответственность», «своим долгом», «своей жизни», «моей жизни», «на выборах Президента».

Указанные языковые средства позволяют нам выяснить, что политики относят к должности президента как институту государственного управления и каково личное восприятие должности избранным президентом.

Наш анализ показал, что президенту как должности принадлежат предметы: *система*, *курс*¹; *выборы*, *кабинет*, *Администрация*² –

¹ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.

² Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.

обязанность, Россия, страна¹; присяга, деятельность, обязанность² – присяга³ – должность, Российская Федерация⁴; выборы, Россия⁵. Таким образом, институциональное измерение понятия «президент» включает в себя следующие объекты: система, курс, выборы, кабинет, Администрация, обязанность, Россия, присяга, деятельность, должность.

Мы определили, что индивидуальное восприятие должности избранными президентами таково: *сторонники*⁶ – *противники*, *задача*, *работа*, *промахи*, *обещания*⁷ – *обязанность*, *соратники*, *действия*, *сторонники*⁸ – *силы*⁹ – *задача*, *плечи*, *долг*¹⁰ – *ответственность*, *жизнь*, *долг*¹¹ – *ответственность*, *жизнь*, *долг*¹².

¹ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089> (дата посещения: 29.11.2019).

² Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность Президента России // Президент России. – 2004. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452> (дата посещения: 29.11.2019).

³ Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁴ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁵ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416> (дата посещения: 29.11.2019.)

⁶ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.

⁷ Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.

⁸ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089> (дата посещения: 29.11.2019).

⁹ Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность Президента России // Президент России. 2004. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452> (дата посещения: 29.11.2019.)

¹⁰ Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/1> (дата посещения: 29.11.2019.)

¹¹ Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (дата посещения: 29.11.2019.)

¹² Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416> (дата посещения: 29.11.2019.)

Выявленные в ходе анализа существительные можно условно разделить на несколько тематических групп: 1) географическое понятие (*Россия, Российская Федерация, страна*); 2) люди, проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политику (*сторонники, противники, соратники*); 3) символы власти (*должность, кабинет, присяга, Администрация*); 4) профессиональная деятельность (*задача, работа, действия, деятельность, силы, промахи*); 5) политическая деятельность (*выборы, обещания, курс, система*); 6) этические категории (*долг, жизнь, ответственность, обязанность*).

Подчеркнем, что описание должности президента представлено в сильной позиции текста, т.е. в начале и в конце выступления. Подобное расположение позволяет российским президентам актуализировать в общественном сознании значимые для них функции: для Б.Н. Ельцина – это *задачи*, для В.В. Путина (2000, 2004) – *обязанности*, для Д.А. Медведева – *долг* перед народом, для В.В. Путина (2012, 2018) – *долг* и *ответственность*.

Подведем некоторые итоги. В результате проведенного лингвокогнитивного анализа мы представили структуру политического понятия, выявили содержание понятия в виде перечня когнитивных признаков и описали процесс формирования понятия «президент» в инаугурационных речах российских президентов. Концептуализация денотативной области «президент» сопровождалась формированием прототипических и вариативных признаков политического понятия. Определяя устойчивые базовые черты, присущие понятию «президент», отметим, что основной вербальный репрезентант понятия «президент» в инаугурационных речах российских президентов – это глава государства. Должность президента является высшим государственным постом в России. Народ оказывает доверие, избирая конкретного кандидата в президенты.

Характерные признаки политика, исполняющего должность президента, таковы: это занимающий высший государственный пост деятельный ответственный человек, для которого служение народу и стране является ценностью в жизни.

Мы выяснили, что основными тематическими группами, описывающими действия президента, являются «Действие и деятельность», «Бытие, состояние, качество» и «Отношение». Наиболее частотная тематическая группа, описывающая действия прези-

дента, – это глаголы интеллектуальной деятельности со значением определения, понимания и решения.

Таким образом, инвариантная когнитивная схема понятия «президент», выявленная на материале инаугурационных речей российских президентов, выглядит следующим образом (см. табл.).

Таблица

**Экспликация понятия «президент»
в инаугурационных речах российских президентов**

Кто президент?	Глава государства, ответственные действия которого мотивированы долгом
Что президент делает?	1. Действие и деятельность. 1.1. Глаголы речевой деятельности. 1.2. Глаголы социальной деятельности. 2. Отношение. 2.1. Глаголы межличностных отношений: глагол внешнего проявления отношения
Что имеет отношение к президенту?	1) Географическое понятие; 2) люди, проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политику; 3) символичные знаки власти; 4) трудовая деятельность; 5) политическая деятельность; 6) этические категории

Вариативные компоненты содержания политического понятия реализуются в индивидуальных меняющихся во времени смыслах, которыми каждый президент обогащает понимание того, что значить быть президентом России. Например, первый президент России Б.Н. Ельцин определяет новое политическое понятие через обозначения: 1) гражданин, 2) высший государственный пост, 3) ответственность, 4) народное доверие. При этом наблюдается перемещение семантического вектора со значения «ответственность» в 1991 г. к значению «доверие» в 1996 г. Политик описывает действия президента посредством семантического поля «Отношение»: главе государства нужно установить социальные и межличностные отношения.

Д.А. Медведев главным в деятельности президента считает уважение и защиту прав и свобод человека. Исполнение должности воспринимается политиком как служение народу, долг и выполнение государственных задач. Работа президента характеризуется при помощи семантического поля «Действие и деятельность», где важным является интеллектуальная деятельность.

Для В.В. Путина президент – это человек, 1) несущий большую ответственность перед людьми и страной и 2) отстаивающий государственные интересы. Отметим, что эти два признака являются постоянными в инаугурационных речах действующего президента. Развитие содержания понятия осуществляется при помощи дополнительных характеристик, актуализирующих концепт «народ» и конструирующих семантическую ось «глава государства и народ»: служение народу (2004); народное доверие и благополучие граждан (2012); народная поддержка (2018). Исполнение должности рассматривается как смысл жизни и долг. В системе политических представлений В.В. Путина президент занимается интеллектуальной и социальной деятельностью.

Отметим, что вариативные компоненты содержания понятия могут развиваться под воздействием общественно-политической ситуации в стране, ценностной системы политика, групповых и личных интересов, системы знаний о политике, идеологических воззрений и др.

Дальнейшее исследование политического понятия позволит осуществить моделирование индивидуальной (присущей конкретному политику) концептосферы, изучить существование и изменение концептуальной системы русского политического дискурса, выявить механизмы формирования смысла в политическом тексте и др.

Список литературы

- Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи (на материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина). – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 295 с.
- Гаврилова М.В. Репрезентация понятия «президент» в инаугурационных речах Б.Н. Ельцина и В.В. Путина // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 238–250.
- Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – 432 с.
- Сергеев В.М. Когнитивные методы в социальных исследованиях // Язык и моделирование социального взаимодействия: сб. статей: [перевод] / сост. В.М. Сергеева, П.Б. Паршина; общ. ред. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1987. – С. 3–20.

Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. Когнитивные механизмы принятия решений: модель и приложения в политологии и истории // Компьютеры и познание: очерки по когнитологии. – М.: Наука, 1990. – С. 105–123.

M.V. Gavrilova*

**Discursive construction of the concept «President of Russia»
in Russian political discourse**

Abstract. The foundation and development of a new state, Russian Federation, and a new president system is accompanied by the implementation of new political concepts, updating and rethinking of political vocabulary, processes of (re)ideologization of words. That's why it's important to explore interconnection between language and ideology.

The purpose of this article is a cognitive analysis of the ways of discursive construction of the concept of «President» in Russian political discourse.

The corpus includes 7 Russian Presidents' Inaugural Addresses by B. Yeltsin, D. Medvedev, V. Putin. The inaugural Address is an ideological text about perfect project of future and an inauguration is one of the forms of symbolic political actions expressing dynamics of social relationships and collective values.

Drawing on discursive analytical approach, linguistic pragmatics and cognitive linguistics we examine 1) semantic development of the word *president* in the Russian language and Russian political discourse, 2) linguistic means which are used to explicate knowledge on (self) identification (Who is the president?), action (What does he do?) and affiliation (What subjects refer to president) in order to identify prototypical and variable elements of the political concept of «President of Russia».

Our findings indicate that the execution of the President's office is an extremely responsible matter. The actions of the President are motivated by duty and have a moral (ethical) basis. The prototypical actions of Russian presidents are expressed by verbs of speech activity, social activity and interpersonal relations. Certain subjects refer to the President office: 1) country; 2) voters who show attitude (approval, hostility) to the presidential candidate; 3) symbolic signs of power; 4) labor activity; 5) political activity; 6) ethical categories.

Keywords: president; political linguistics; Russian political discourse; inaugural Address.

For citation: Gavrilova M.V. Discursive construction of the concept «President of Russia» in Russian political discourse. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 87–109. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.04>

* **Gavrilova Marina**, Saint Petersburg State University of Film and Television (Saint-Petersburg, Russia), e-mail.ru: politlinguistics@yandex.ru

References

- Gavrilova M.V. *Cognitive and rhetorical foundations of presidential speech (based on speeches by V.V. Putin and B.N. Yeltsin)*. Saint Petersburg: Faculty of Philology, St. Petersburg State University, 2004, 295 p. (In Russ.)
- Gavrilova M.V. Representation of the notion «President» in inauguration speeches of B.N. Eltsin and V.V. Putin. *Political expertise: POLITEX*. 2008, Vol. 4, N 1, P. 238–250. (In Russ.)
- Ilyin M.V. *Words and meanings: Experience in exploring key political concepts*. Moscow: Russian political encyclopedia (ROSSPEN), 1997, 432 p. (In Russ.)
- Sergeev V.M. Cognitive methods in social research. In: *Language and modeling of social interaction: collection of articles: [translation]*. Ed. by V.V. Petrov. Moscow: Progress, 1987, P. 3–20. (In Russ.)
- Sergeev V.M., Tsymbursky V.L. Cognitive mechanisms of decision-making: model and applications in political science and history. In: *Computers and cognition: essays on cognitology*. Moscow: Nauka, 1990, p. 105–123. (In Russ.)

О.В. ЗАХАРОВА*

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕМОКРАТИЯ»
В ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОСЛАНИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ (2000–2018)**

Аннотация. В настоящей статье с помощью методов дискурсивно-исторического подхода исследуется эволюция подходов к репрезентации «демократии» в ежегодных посланиях президентов Федеральному собранию РФ в период с 2000 по 2018 г. Автор проводит анализ лексического выбора спикера (т.е. слов, использованных для репрезентации ключевых категорий дискурса – права человека, свобода, отношения государства и индивида) и анализ фрейма репрезентации демократии, т.е. структуры для представления данной категории, организованной на основе определенного концепта (например, свободы, сильного государства, суверенитета, угрозы и т.п.).

На основе собранных данных были сопоставлены представленность темы «демократия» в анализируемых документах и частота ее пересечения по годам с другими темами. Это позволило установить внутренние контекстные связи между концептом *демократия* и такими понятиями, как *гражданское общество*, *права человека*, *свобода* и др., и, тем самым, выявить эволюцию репрезентации демократии в президентских посланиях.

В статье показано, что на протяжении длительного периода с 2000 по 2012 г. демократия была одним из ключевых концептов и довольно широко использовалась в риторике президентских ежегодных посланий, но всегда в тесной взаимосвязи с идеей самобытности. После 2012 г. слово «демократия» стало значительно реже появляться в ежегодных посланиях президента, вытесняясь риторикой народного одобрения (вне демократических процедур), единства ответственности граждан перед страной.

* Захарова Олеся Викторовна, кандидат политических наук, независимый исследователь, e-mail: zakharovaolesya@yahoo.com

© Захарова О.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.05

С 2012 г. наблюдаются существенные изменения в интерпретации данного концепта. Если в предыдущие годы в президентской риторике подчеркивался преимущественно диалоговый характер демократии и характеристики, приписываемые ей, подразумевали, прежде всего, ее представительскую форму, то в 2012 г. В. Путин озвучивает концепцию, в рамках которой понятие демократии сильно сужается и либо сводится только к процедуре выборов (не включая в себя свободу слова, собраний и других демократических свобод), либо замещается понятием законности.

Ключевые слова: демократия; дискурс-анализ; президентские послания; политический транзит; сильное государство; свобода.

Для цитирования: Захарова О.В. Трансформация понятия «демократия» в ежегодных президентских посланиях Федеральному собранию РФ (2000–2018) // Политическая наука. – 2020. – № 2 – С. 110–125. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.05>

Демократия является одним из важнейших элементов современного политического дискурса. Практически каждое государство, и Россия не исключение, стремится именовать себя демократическим. Однако политические акторы по-разному интерпретируют данное понятие [см., например: Кубышкина, 2012]. Для российского официального дискурса характерно подчеркивание самобытности российской версии демократии, которая сочетает в себе приверженность универсальным демократическим принципам с самостоятельным и независимым развитием российской версии демократии. Таким образом, представляется актуальным проследить эволюцию подходов к репрезентации концепта «демократия» в риторике российских президентов. Важно определить, какими смыслами наполняется данный концепт в дискурсе главы государства, как он используется для легитимации принимаемых политических решений, и проследить эволюцию данных процессов.

В качестве материала исследования нами были использованы ежегодные президентские послания Федеральному собранию РФ в период с 2000 по 2017 г. Данный временной отрезок совпадает с периодами президентства В. Путина и Д. Медведева (2008–2011). 2000 г. – это приход В. Путина к власти в качестве главы государства. Соответственно, этот год выступает началом формирования определенного подхода к демократии. Конечной точкой был обозначен 2017 г., завершающий год третьего президентского срока В. Путина. Временной отрезок между 2000 и 2017 гг. является периодом перехода от демократического транзита к консолидиро-

ванному авторитаризму [см. подробнее: Макаренко, Мельвиль, 2014; Мельвиль, 2015, с. 11–30; Нисневич, Рябов, 2017; Урнов, 2014 а; b].

Кроме того, 18 лет – это достаточно длительный период, позволяющий провести анализ не отдельных текстов, а последовательной, связанной цепочки текстов (chain of texts). Это, согласно Р. Водак и Е. Ричардсону, позволяет эффективно отследить процесс реконтекстуализации, т.е. «смешивания «новых» и «старых» элементов, таких как определенные слова, выражения, аргументы, топосы, риторические приемы и т.п. [Wodak, Richardson, 2013, p. 8]. Таким образом, анализ посланий за указанный период позволит отследить закономерности трансформации повестки дня главы государства и раскрыть процесс реконтекстуализации концепта «демократия».

Аналитический корпус составили ежегодные послания президента В. Путина и Д. Медведева Федеральному собранию РФ. Подобный подход довольно популярен в политической науке и не раз использовался в исследовательских работах [см., например: Burett, 2011, p. 74; Cohen, 1995]. Послания президента являются одними из важнейших документов, носящих программный характер и определяющих основные направления внутренней и внешней политики, и, фактически, содержат руководство к действию для всех остальных органов государственной власти всех уровней. Кроме того, как отмечает Т.Н. Митрохина, назначение послания как акта политической коммуникации состоит в том, чтобы обозначить официальную позицию по отношению к наиболее актуальным проблемам, предложить свое понимание политической реальности, способы решения проблем [Митрохина, 2012, с. 5]. При этом послание обязательно публикуется в различных медиа-источниках, транслируется по телевидению и многократно комментируется в СМИ. Таким образом, адресатами посланий выступают не только органы власти, но и население, а данный жанр президентских выступлений является эффективным средством воздействия на общественное мнение. Все это позволяет рассматривать ежегодные президентские послания как ценный материал для анализа президентской повестки дня по правам человека.

Кроме того, как пишет О.Ю. Малинова, послания каждый год затрагивают приблизительно один и тот же круг вопросов, что делает их удобными для проведения сравнительного анализа [Малинова,

2015, с. 130–131] и дает возможность проследить трансформацию подхода главы государства к интерпретации демократии.

Всего было проанализировано 18 ежегодных президентских посланий за период с 2000 по 2017 г. В качестве источника данных использовался официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru.

Основу для методологии настоящего исследования составил дискурсивно-исторический подход, разработанный Р. Водак и М. Рейзиглом, предусматривающий анализ дискурса в контексте историко-политических событий [Reisigl, Wodak, 2009].

Для выявления содержательных характеристик понятия «демократия» по каждому документу был проведен тематический анализ. С помощью программы MaxQDA 2018 были закодированы следующие темы: *демократия, права человека, отдельные виды прав человека, экономические права, социальные права, гражданское общество, свобода*. Помимо перечисленного списка тем в документах также кодировались темы, нашедшие свое отражение во фрагментах, закодированных в соответствии со списком кодов. Поэтому помимо основного перечня кодов в процессе анализа был составлен дополнительный список, в который вошли коды *патриотизм, сильное государство, нравственность, великодержавность, самобытность, взаимодействие государства и человека, взаимодействие государства и гражданского общества*. Каждый код идентифицировался в соответствии со словом-индикатором. Впоследствии был проведен анализ лексического выбора спикера (слова, использованные для репрезентации ключевых категорий – *права человека, свобода, отношения государства и индивида*) и фрейма репрезентации демократии, т.е. структуры для представления данной категории, организованной на основе определенного концепта (например, свободы, демократии, суверенитета, угрозы и т.п.).

На основе собранных данных были сопоставлены представленность темы «демократия» в анализируемых документах и частота ее пересечения по годам с другими темами. Это позволило установить внутренние контекстные связи между концептом *демократия* и другими понятиями и тем самым выявить эволюцию репрезентации демократии в президентских посланиях.

Тема демократии была неотъемлемой составляющей президентских посланий в период с 2000 по 2007 г. (см. рис.). Наиболее ярко она представлена в первых посланиях В. Путина после выбо-

ров 2000 и 2004 гг. (по девять раз в каждом из посланий), и в послании 2005 г. – 10 фрагментов, посвященных этой теме.

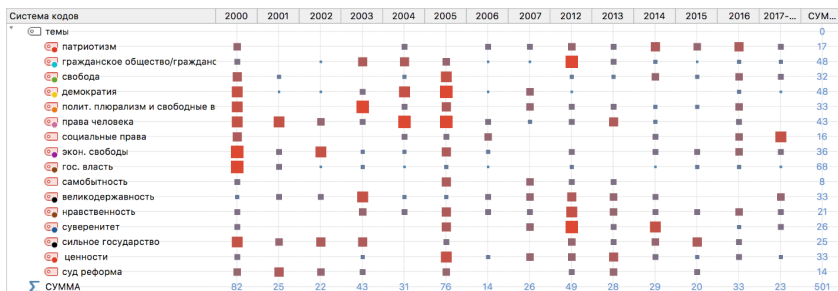


Рис.
**Диаграмма распределения частоты кодов (тем)
 в посланиях В. Путина (2000–2007, 2012–2018)
 (расчет размера символа относится к строке)**

В посланиях Д. Медведева 2008–2011 гг. тема демократии также была обязательным элементом, хотя ей уделялось значительно меньше внимания, чем в посланиях В. Путина периода 2000–2007 гг. Наиболее ярко данная тема представлена лишь в первом после выборов послании 2008 г. В последующие годы Д. Медведевым «демократии» уделялось в 2–3 раза меньше внимания.

С 2012 г. внимание к «демократии» со стороны В. Путина тоже значительно снизилось. Максимальное количество упоминаний этого концепта в посланиях третьего президентского срока В. Путина не превышает трех (2016), и в посланиях 2013, 2014, 2015 гг. данный концепт вообще не используется (см. рис).

Для того чтобы понять причины изменения представленности темы «демократии» в ежегодных президентских посланиях, необходимо установить внутренние связи демократии с другими понятийными категориями.

В посланиях президента 2000–2003 гг. *демократия* представляет как «непререкаемая фундаментальная ценность», как «основная цель и задача политики на предстоящий президентский срок»¹.

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 18.04.2002 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36351> (дата посещения: 11.11.2018.)

В данный период демократия определяется, прежде всего, как «связь между народом и властью»¹, которая обеспечивается политическими партиями через выборы. Выборы в Государственную думу именуются «важным этапом в становлении нашей демократии»². «Без партий невозможны ни проведение политики большинства, ни защита позиций меньшинства»³. Главным условием нормализации жизни в Чечне президент видит проведение выборов президента и парламента республики на демократической основе⁴.

В качестве условий существования демократии называются: развитие политических партий⁵ и «действительно свободные СМИ» – «без них российской демократии просто не выжить»⁶.

Вместе с тем понятие «демократическое государство» в посланиях президента тесно связывается с понятием «сильное государство». Нередко они используются в одном ряду, как взаимодополняющие. Как, например, в следующих фрагментах.

«Устойчивая экономика – это главная гарантия и демократического общества, и основа основ сильного и уважаемого в мире государства»⁷.

«Но наша позиция предельно ясна: только сильное, эффективное, если кому-то не нравится слово “сильное”, скажем эффективное государство и демократическое государство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины»⁸.

При этом подчеркивается, что идея демократии не противоречит самобытности и патриотизму⁹.

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 08.07. 2000 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/22401> (дата посещения: 11.11.2018.) Абз. 47

² Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ от 16.05.2003 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998> (дата посещения: 11.11.2018.) абз. 159–160

³ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 08.07. 2000 г. Абз. 47

⁴ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 16.05.2003 г. Абз. 38.

⁵ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 08.07. 2000 г. Абз. 47

⁶ Там же. Абз. 54.

⁷ Там же. Абз. 29.

⁸ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 08.07. 2000 г. Абз. 38.

⁹ Там же. Абз. 64.

Согласно результатам нашего исследования, в данный период в наибольшей степени тема «демократия» пересекается с темой «права человека», включая независимость СМИ. Это показывает, что в посланиях президента придается большое значение защите прав и свобод человека и гражданина, и именно демократическое государство (и одновременно «сильное») «в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины»¹.

Или, например, в следующем фрагменте: «Между тем сильное государство немыслимо без уважения к правам и свободам человека. Только демократическое государство способно обеспечить баланс интересов личности и общества, совместить частную инициативу с общенациональными задачами»².

В значительной степени также проявляется пересечение с темами «гражданское общество» и «свобода». Свобода при этом интерпретируется преимущественно как индивидуальная свобода, свобода слова, демократические свободы.

Таким образом, в период первого президентского срока В. Путина демократия интерпретируется президентом как соединение принципов власти народа с верховенством права (демократическое государство идет в паре с правовым государством³, свободными выборами и приоритетом прав человека), но в сочетании с принципами самобытности и патриотизма. Понятия «демократическое» и «сильное государство» репрезентируются как неразрывные, тесно взаимосвязанные.

В посланиях второго президентского срока В. Путина сохраняется высокий уровень внимания к демократии, особенно в 2004 и 2005 гг. (см. рис.).

Демократия репрезентируется исключительно в позитивном свете, как «завоевание народа»⁴, как «ценность, продиктованная волей народа», «фундаментальный принцип политики», как «цен-

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 08.07. 2000 г. Абз. 38.

² Там же. Абз. 54.

³ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 18.04.2002 г. Абз. 4.

⁴ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 26.05.2004 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22494> (дата посещения: 20.11.2018.) Абз. 7.

ность, соответствующая стратегическим интересам России»¹, «инструмент реального народовластия», «диалог власти и народа», «главная политико-идеологическая задача»², «экономически выгодный и политически целесообразный диалог с обществом»³, как ключевое условие решения всех «актуальных задач, стоящих перед страной»⁴, а «отказывать собственному народу, самим себе в способности жить по демократическим законам – это значит не уважать себя, своих сограждан»⁵.

В этот период подчеркивается диалоговый характер демократии: она репрезентируется как «диалог власти и народа»⁶, «ответственный диалог с обществом»⁷, «открытый диалог с людьми»⁸, «диалог неправительственных объединений и власти»⁹.

Говоря о демократии, очевидно, что президент имеет в виду ее представительскую форму, неоднократно подчеркивая значимость «демократических процедур»¹⁰, выборов¹¹. В послании 2007 г. президент обращается к теме изменения избирательной системы, а именно введения пропорциональной системы при формировании Государственной думы. Необходимость таких изменений обосновывается с помощью топоса демократии, т.е. они представляются как «демократизация».

«При этом списки кандидатов распределяются по региональным группам, и граждане будут точно знать, кто именно борется за право представлять их интересы в парламенте. Подчеркну,

¹ Там же. Абз. 22.

² Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 25.04.2005 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354> (дата посещения: 11.11.2018) Абз. 6–8.

³ Там же. Абз. 41.

⁴ Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ от 10.05.2006 г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/35528> (дата посещения: 11.11.2018) Абз. 15

⁵ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 25.04.2005 г. Абз. 69–70.

⁶ Там же. Абз. 6–8.

⁷ Там же. Абз. 41.

⁸ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 10.05.2007 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/23819> (дата посещения: 11.11.2018) Абз. 6.

⁹ Там же. Абз. 37–40.

¹⁰ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 25.04.2005 г. Абз. 41.

¹¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 10.05.2007 г. Абз. 15–17.

мы осознанно пошли на этот, по сути революционный, шаг, по-серьезному демократизировали избирательную систему»¹.

«Убежден, новый порядок выборов не только усилит влияние партий на формирование демократической власти, но и будет способствовать росту конкуренции между ними. А следовательно, будет укреплять и улучшать качество российской политической системы»².

Как и в посланиях предыдущего срока, в данный период тема «демократия» в наибольшей степени пересекается с темами «гражданское общество» и «свобода». Однако следует отметить, что свобода в контексте посланий периода 2004–2007 гг., в отличие от предыдущего срока, интерпретируется не только и не столько как индивидуальная свобода, но преимущественно в понимании независимости и самостоятельности нации, и репрезентируется, прежде всего, как возможность самобытного, самостоятельного пути развития. Особый акцент на этом был сделан в послании 2005 г.³

Но и в последующие годы идея самобытности российской демократии, а значит, недопустимости вмешательства или критики извне, звучит отчетливо⁴. На это указывают частотные пересечения темы *свобода* и тем *самобытность, суверенитет и ценности*. При этом частота пересечения с темой прав человека значительно сократилась по сравнению с предыдущим периодом.

Еще одной характерной чертой данного периода является уход из посланий президента категории «сильное государство». Соответственно демократия уже не репрезентируется через категории силы и эффективности, но чаще идет в паре с «гражданским обществом».

Как, например, в следующих фрагментах.

«Наши цели абсолютно ясны. Это – высокий уровень жизни в стране, жизни – безопасной – свободной и комфортной. Это – зрелая демократия и развитое гражданское общество»⁵.

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 10.05.2007 г. Абз. 18.

² Там же. Абз. 24.

³ Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354> (дата посещения: 11.11.2019) Абз. 13, 66–68, 71.

⁴ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 10.05.2007 г. Абз. 26–27.

⁵ Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ от 26.05.2004 г. Абз. 7.

«И только народ – через институты демократического государства и гражданского общества – вправе и в состоянии гарантировать незыблемость нравственных и политических основ развития страны на многие годы вперед»¹.

Таким образом, в данный период на первый план выходит идея самобытности российской демократии, которая выражается в том, что «Она [Россия] сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом – с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики – можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии»².

В посланиях президента Д. Медведева (2008–2011) демократия так же репрезентируется преимущественно через категории *свобода*, *политический плюрализм*, *ценности*, в несколько меньшей степени – с помощью категории *гражданское общество*. Очень часто понятие *демократия* поднимается в рамках темы «взаимоотношение человека и государства». Пересечения с темой «сильное государство» лишь единичны. Как и в посланиях предыдущего периода 2004–2007 гг. демократия нечасто пересекается с темой прав человека. Но в отличие от В. Путина в посланиях Д. Медведева тема демократии тесно переплетается с темой Конституции.

Демократия репрезентируется как ценность Конституции РФ, первоочередная задача политического курса, необходимое условие для развития сильного государства³, как условие развития «современного общества»⁴, «основа для модернизации»⁵.

Демократическая Россия описывается как открытая, свободная, процветающая страна, а демократия – как условие экономического развития и развития творческого потенциала граждан.

¹ Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ от 26.05.2004 г. Абз. 134.

² Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 25.04.2005 г. Абз. 71.

³ Послание Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/1968> (дата посещения: 05.12.2018.)

⁴ Послание Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12.11.2009 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/31381> (дата посещения: 05.12.2018.)

⁵ Там же.

Таким образом, в целом демократия интерпретируется Д. Медведевым как представительство народа, верховенство закона и обеспечение индивидуальных свобод граждан.

Вместе с тем задаются и некоторые границы демократии: «...хотел бы подчеркнуть: укрепление демократии не означает ослабления правопорядка. Любые попытки под демократическими лозунгами раскачать ситуацию, дестабилизировать государство, расколоть общество будут пресекаться»¹.

Существенное изменение в интерпретации понятия «демократия» в посланиях президента наблюдается в период с 2012 по 2017 г., которое во многом было связано с протестами на Болотной площади и волной «цветных революций», репрезентируемых в российском официальном дискурсе как злоупотребление демократическими свободами и серьезные угрозы безопасности российских граждан. Если в период с 2000 по 2007 г. демократия представляла в президентской риторике исключительно как позитивное явление и основа модернизации российского общества, то к 2012 г. данный концепт очевидно стал восприниматься как имеющий амбивалентную природу. С одной стороны, демократия включается в основы конституционного строя России, с другой – с точки зрения власти открывает некоторые угрозы стабильности политического строя.

Думается, не случайно в период предвыборной кампании В. Путин посвящает отдельную речь раскрытию концепции демократии, которая во многом перекликалась с принципами, озвученными в посланиях периода 2004–2007 гг., но в то же время включала в себя и новые элементы. В своем первом послании после избрания в 2012 г. В. Путин продолжает тему демократии, более четко формулируя обновленную концепцию, которая уже была озвучена им в предвыборных речах.

В концепции 2012 г. по-прежнему сохраняется акцент на самобытности российской демократии и недопустимости давления на нее извне. Президент подчеркивает: «мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире. Однако российская демократия – это власть именно российского

¹ Послание Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12.11.2009 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/31381> (дата посещения: 05.12.2018.)

народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам извне»¹.

В то же время само понятие «демократия» интерпретируется совсем иначе, чем в предыдущие периоды. В послании 2012 г. демократия определяется как «соблюдение и уважение принятых действующих законов, правил и норм»². То есть в определенной степени она приравнивается к законности. Добавляется, что демократия – это «возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать результаты её работы»³.

При этом, если в предыдущие годы говоря о демократии президент имел в виду прежде всего представительскую демократию и именно выборы репрезентируются основным институтом и инструментом реализации демократии, то в этот период фокус внимания перемещается на прямую форму демократии, что неоднократно подчеркивается. «Мы должны уделить большее внимание развитию прямой демократии, непосредственного народовластия, в том числе речь о праве народной законодательной инициативы, я уже об этом говорил, вы знаете, когда идея, получившая гражданскую поддержку, в том числе в Интернете, обязательна к рассмотрению в парламенте»⁴.

«Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать»⁵. В этот период демократия тесно связывается с темами патриотизма, самобытности и свободы в понимании свободы нации.

При этом устанавливаются границы демократии: отмечается, что «могут меняться правящие партии, правительства, президенты, но не должны затрагиваться основы государства и общества, прерываться преемственность национального развития, пересматри-

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 12.12.2012 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118> (дата посещения: 11.11.2018.) Абз. 80.

² Там же. Абз. 81.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. // Президент России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379> (дата посещения: 11.11.2018.)

ваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод граждан»¹. Вместо обращения к теме демократии президент чаще говорит о воле народа и объединении граждан вокруг политического курса президента.

В целом в этот период значительно снижается представленность данной темы в посланиях президента. Демократия упоминается лишь в документах 2012, 2016 и 2017 гг., а объем внимания, уделяемый ей в пределах одного послания, очень небольшой (см. рис., размер символа указывает на частоту появления темы в документе).

Подводя итоги, мы можем сказать, что на протяжении длительного периода с 2000 по 2012 г. концепт *демократия* был одним из ключевых, и довольно широко использовался в риторике президентских ежегодных посланий, но всегда в тесной взаимосвязи с идеей самобытности российской демократии. После 2012 г. данное понятие стало значительно реже появляться в ежегодных посланиях президента, вытесняясь риторикой народного одобрения (вне демократических процедур), ответственности и единства граждан перед страной.

В этот же период, с 2012 г., наблюдаются существенные изменения в интерпретации данного концепта. Если в предыдущие годы в президентской риторике подчеркивался преимущественно диалоговый характер демократии и характеристики, приписываемые ей, подразумевали, прежде всего, ее представительскую форму, то в 2012 г. В. Путин озвучивает концепцию, в рамках которой понятие демократии сильно сужается и либо сводится только к процедуре выборов (не включая в себя свободу слова, собраний и других демократических свобод), либо замещается понятием законности. Произошедшие изменения свидетельствуют о том, что концепт *демократия*, вероятно, не отвечает нуждам текущих политических задач действующего руководства, в связи с чем в посланиях президента осуществляется попытка сформулировать некоторую альтернативную концепцию демократии, основанную на патриотизме, гражданской ответственности и единстве.

¹ Послание Президента РФ В. Путина ФС РФ от 12.12.2012 г.

Список литературы

- Кубышкина Е.В. Американский политический дискурс при Дж. Буше-мл.: эволюция метафор // Полис. Политические исследования. – 2012. – № 1. – С. 100–112.
- Макаренко Б.И., Мельвиль А.Ю. Как и почему «зависают» демократические транзиты? Посткоммунистические уроки // Политическая наука. – 2014. – № 3. – С. 9–39.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Мельвиль А.Ю. «Кризис демократии» и «зависшие» демократизации // Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы / под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 2015. – С. 11–30.
- Митрохина Т.Н. Политическая повестка дня для России в официальном дискурсе власти // Власть. – 2012. – № 5. – С. 4–8.
- Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Постсоветский авторитаризм // Общественные науки и современность. – 2017. – № 4. – С. 84–97.
- Урнов М.Ю. Россия: виртуальные и реальные политические перспективы // Общественные науки и современность. – 2014 а. – № 4. – С. 46–58.
- Урнов М.Ю. Россия: виртуальные и реальные политические перспективы // Общественные науки и современность. – 2014 б. – № 5. – С. 114–129.
- Burett T. Television and presidential power in Putin's Russia. – L.; N.Y.: Routledge, 2011. – 320 p.
- Cohen J. Presidential rhetoric and the public agenda // American journal of political science. – 1995. – Vol. 39, N 1. – P. 87–107. – DOI: <https://doi.org/10.2307/2111759>
- Reisigl M., Wodak R. The Discourse-historical approach (DHA) // Method of critical discourse analysis / R. Wodak, M. Meyer (eds). – L.: SAGE Publications Ltd, 2009. – P. 87–121.
- Wodak R., Richardson E. European fascism in talk and text – Introduction // Analysing fascist discourse. European fascism in talk and text / R. Wodak, E. Richardson (eds). – N.Y.; L.: Routledge, 2013. – P. 3–18.

O.V. Zakharova*

Transformation of the concept «democracy» in the annual presidential addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation (2000–2018).

Abstract. Using the methods of the discursive-historical approach, this article analyzes the evolution of approaches to the representation of «democracy» in the presidential annual addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation from 2000 to 2018.

* Zakharova Olesya, PhD The Higher School of Economics, independent researcher, e-mail: zakharovaolesya@yahoo.com

The author studies the lexical choice of the speaker (the words used to represent the discursive key categories such as *human rights, freedom, relations between the state and the individual*) and the frame, that is, the structure for representing democracy, organized on the basis of a certain concept (eg. *freedom, a strong state, sovereignty, threats*, etc.).

Based on the data collected, the representation of the «democracy» in the documents analyzed and the frequency of its intersection with other topics were compared. This made it possible to establish internal contextual relations between the concept of democracy and other concepts such as civil society, human rights, freedom, etc., and thereby reveal the evolution of the representation of democracy in presidential addresses.

The article shows that over a long period from 2000 to 2012 democracy was one of the key concepts used in presidential rhetoric of annual addresses, but always in close connection with the idea of originality (*samobytnost'*). After 2012, «democracy» began to appear much less frequently in the president's addresses, being replaced by rhetoric of popular approval (outside democratic procedures), responsibility and unity of citizens.

The author concludes that the representation of «democracy» in presidential addresses changed significantly in the period from 2012 to 2017. If in the early 2000 s the president emphasized the dialogue nature of democracy and the interaction of people and authorities, then later the meaning of democracy is narrowed and practically reduced to elective procedures, or to the legality.

Keywords: democracy; discourse-analysis; presidential Addresses; political transition; «strong state»; freedom.

For citation: Zakharova O.V. Transformation of the concept «democracy» in the annual presidential Addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation (2000–2018). *Political Science* (RU). 2020, N 2, P. 110–125. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.05>

References

- Burett T. Television and presidential power in Putin's Russia. London; New York: Routledge, 2011. 320 p.
- Cohen J. Presidential rhetoric and the public agenda. *American journal of political science*. 1995, Vol. 39, N 1, P. 87–107. DOI: <https://doi.org/10.2307/2111759>
- Kubyshkina Ye.V. US political discourse under the presidency of G. Bush Jr.: evolution of metaphors. *Polis. Political Studies*. 2012, N 1, P. 100–112. (In Russ.)
- Makarenko B.I., Melville A.Y. How do transitions to democracy get stuck and where? Lessons from post-communism. *Political Science* (RU). 2014, N 3, P. 9–39. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. *The «Actual» Past: A Symbolic Policy of the Governing Elite and Dilemmas of Russian Identity*. Moscow: Political encyclopedia (ROSSPEN), 2015, 207 p. (In Russ.)

- Melville A.Y. Crisis of democracy and transitions to democracy in stuck. In: Gaman-Golutvina O.V. (ed.) *Russian political science: ideas, conceptions, methods*. Moscow: Aspect-Press, 2015, P. 11–30. (In Russ.)
- Mitrokhina T.N. Functionality of political projects: technology vs ideology? *Vlast'*. 2012, N 5, P. 4–8. (In Russ.)
- Nisnevich Iu.A., Ryabov A.V. Post-Soviet authoritarianism. *Social sciences and contemporary world*. 2017, N 4, P. 84–97. (In Russ.)
- Reisigl M., Wodak R. The Discourse-historical approach (DHA). In: Wodak R., Meyer M. (eds.) *Method of Critical Discourse Analysis*. L.: SAGE Publications Ltd, 2009, P. 87–121.
- Urnov M.Yu. Russia: Virtual and real political prospects. *Social sciences and contemporary world*. 2014 a, N 4, P. 46–58. (In Russ.)
- Urnov M.Yu. Russia: virtual and real political prospects. *Social sciences and contemporary world*. 2014 b, N 5, P. 114–129. (In Russ.)
- Wodak R., Richardson E. European fascism in talk and text – Introduction. In: Wodak R., Richardson E. *Analyzing fascist discourse. European fascism in talk and text*. New York; London: Routledge, 2013, P. 3–18.

А.В. МИХАЛЕВ*

СИМВОЛЫ СОВЕТСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОНГОЛИИ¹

Аннотация. Статья посвящена изучению советского символического наследия в современной Монголии, представленного в мемориалах, государственной символике, произведениях искусства и текстах. В центре внимания статьи борьба за присвоение символического пространства и за придание ему новых политических смыслов. Сегодня это борьба между монгольским этнонационализмом и российским «национализмом Родины» (термин Р. Брубейкера). Борьба с памятниками Ленину как часть проекта декоммунизации прошла в Монголии в рамках бесконфликтного сценария. При этом мемориалы воинской славы остались нетронутыми и даже оказались востребованы. Каждый из национализмов формирует свою систему описания мира, встраивая в нее символы предыдущей эпохи. В итоге мы констатируем возникновение симбиоза между данными национализмами, относительно гармонично сосуществующего на «руинах» советской символической системы. Этот симбиоз основан на масштабном спросе на героику как на важный фактор консолидации населения. В данной работе мы также разобрали три ключевых мифа, основанных на советском наследии и остающихся актуальными и в современных условиях. Исследование опирается на полевые результаты автора, полученные в ходе экспедиций в Монголию в период с 2009 по 2019 г. (населенные пункты Улан-Батор, Эрдэнэт, Чойр, Сайшанд). Наряду с этим в основу статьи были положены материалы региональных массмедиа, художественной литературы, визуального контента. Данная работа представляет собой часть лонгитюдного исследования, посвященного изучению советского наследия в Азии.

*** Михалев Алексей Викторович**, доктор политических наук, директор Центра изучения политических трансформаций, Бурятский государственный университет (Улан-Удэ, Россия), e-mail: mihalew80@mail.ru

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00502.

© Михалев А.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.06

Ключевые слова: политика; символическая политика; власть; гегемония; государство; Азия.

Для цитирования: Михалев А.В. Символы советского присутствия в пост-социалистической Монголии // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 126–142. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.06>

Советское наследие, сохранившееся в бывших социалистических странах Азии в самых разных формах, на протяжении последних 30 лет переживает сложные политические трансформации. Данная статья посвящена описанию многообразных и зачастую противоречивых процессов, определивших судьбу системы политических символов в постсоциалистической Монголии.

Эта страна, которую прежде считали едва ли не «шестнадцатой республикой СССР» [Панарин, 2014, с. 66], представляет собой важную часть единого политико-символического пространства от Берлина до Улан-Батора. Однако именно она, несмотря на продолжительность социалистического эксперимента, имела наиболее яркие культурные и исторические особенности среди всех стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Советский метанарратив [Gill, 2013, p. 11–27] сформировал универсальную систему политических символов. Тиражировавшиеся из СССР идеологические установки воспроизводились на местах лишь с небольшими отличиями. Так, решения КПСС по вопросам развития братских государств в Азии дублировались в решениях Монгольской народно-революционной партии. Понятные и узнаваемые политические символы встречались как на территории ГДР или ПНР, так и в МНР. Однако близость к китайскому полюсу марксизма и постоянная напряженность на монгольско-китайской границе с конца 1960-х и на протяжении 1970-х годов [Лиштованный, 2007, с. 36] наложили откровенно милитаристский отпечаток на всю знаково-символическую систему МНР. Необходимость советского присутствия в Монголии была продиктована прежде всего дальнейшей эскалацией советско-китайского конфликта, особенно после вооруженных столкновений в марте 1969 г. в районе острова Даманского. Но в период «преодоления социализма» и перехода к демократической политической системе борьба с советским сосредоточилась на политических, а не военных символах. В проблеме постсоциалистических трансформаций в Монголии и формирования новой символической системы боль-

шое значение имела так называемая «угроза с Юга», или «китайская угроза». Поддерживаемая советской идеологией борьбы с китайскими шовинистами и маоизмом, она просуществовала вплоть до начала XXI в. вместе с целым рядом символов уже ушедшей эпохи. Из первого форпоста, преграждавшего экспансию маоизма на протяжении последних 20 лет позднего социализма, Монголия трансформировалась в один из бастионов синофобии в Азии. Прослеживая специфику происходивших изменений, особенно в контексте символической политики, мы получаем возможность проследить основания не только политической системы современной Монголии, но и конфигурации регионального порядка в Северо-Восточной Азии.

В эмпирическом плане данное исследование базируется на материалах полевых исследований, проводившихся автором на протяжении последних десяти лет в Монголии (населенные пункты Улан-Батор, Эрдэнэт, Чойр, Сайшанд). Основная задача данных экспедиций заключалась в изучении советского наследия в современной Монголии и его трансформации под влиянием политических изменений с 1990 по 2019 г. Последняя экспедиция проходила в апреле 2019 г. на территории столицы изучаемой страны – города Улан-Батор. Вслед за О.Ю. Малиновой мы исходим из тезиса о том, что «символическая политика осуществляется в публичной сфере, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами, имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности» [Малинова, 2012, с. 12]. Наше исследование сосредоточено на изучении «останков» советских символов, сохранившихся после агрессивной декоммунизации начала 1990-х годов. Распад социалистического метанарратива привел к тому, что некоторые его элементы оказались изменены и трансформированы как монгольским национализмом, так и тем, что вслед за Роджером Брубейкером можно назвать российским «национализмом Родины» [Брубейкер, 2005]. Согласно Брубейкеру, «национализмы Родины ориентированы на граждан других стран, воспринимаемых в качестве этнокультурно близких. “Родина” считает своим правом и обязанностью следить за тем, как живут “соплеменники” в других странах, ока-

зывать им разного рода помощь, поддерживать их политическую активность, их организации и пр.» [Брубейкер, 2005, с. 48].

Ключевыми акторами, участвующими в борьбе за символическое пространство современной Монголии, являются российские и монгольские государственные структуры, монгольские политические партии, монгольские демократические и правозащитные НПО, Русская православная церковь, российские военно-патриотические организации.

Анализу символической системы национализма монгольского мира посвящен целый ряд работ Ф. Биле [Billé, 2016], У. Булага [Bulag, 2002], Л. Мунх-Эрдэнэ [Munkh-Erdene, 2006], В.И. Терентьева [Терентьев, 2016], Т.Д. Скрынниковой [Скрынникова, 2014]. В их трудах, преимущественно с позиций культурной антропологии, описана трансформация символического пространства региона на примере, а зачастую и в сравнении Монголии и Бурятии. Несмотря на достаточно солидную академическую традицию изучения постсоциализма как в Монголии, так во Внутренней Азии, в целом можно отметить, что на протяжении почти 30 лет в центре внимания находится монгольская субъектность. Основной упор в литературе делается на монгольском государственностроительстве и формировании новых национальных символов. Однако процессы, связанные с символической политикой, отражающей интересы русских, эвенков, баргутов и других, представляют не меньший интерес. Настоящее исследование фокусируется на советском, его символах и их продолжительном влиянии на природу политической системы современной Монголии. Это позволит более полно проанализировать процессы, происходящие в изучаемом регионе, в том числе опираясь на опыт сравнения с другими постсоциалистическими странами.

Национализм и декоммунизация как точка отсчета

Революция зимы 1989–1990 гг. стала важным событием в истории монгольского нации- и государственностроительства. В сущности, именно после протестов на площади Сухэ-Батора в Монголии был взят курс на свертывание социалистического проекта. В плане символической политики наиболее значимым документом эпохи стала брошюра монгольского либерального публициста Баа-

бара «Не забудь! Иначе гибель» [Баабар, 1989]. Обращаясь к исторической памяти монголов, он дал негативную оценку почти всему периоду социалистического развития, связав его с репрессиями, диктатурой и советскими политическими марионетками у власти в стране [там же]. На первое место в его книге была поставлена идея национального суверенитета как базовой ценности.

На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов в ходе процесса декоммунизации в стране были ликвидированы почти все памятники советским вождям (последний памятник Ленину был снят в 2012 г.). На смену системе неравноправных отношений старшего и младшего братьев советского и монгольского народов пришла идея тысячелетней кочевой цивилизации. В это время был снесен мавзоль Д. Сухэ-Батора на одноименной площади в центре столицы. На смену Сухэ-Батору и Ленину пришел масштабно тиражируемый образ Чингисхана и первых ханов его династии. За короткий период в стране появились аэропорт «Чингисхан», площадь Чингисхана, мемориалы Чингисхана, его портрет отпечатан на национальной валюте, а также выпущена одноименная водка. Его образ стал символом декоммунизации. Как отмечает американский исследователь Кристофер Каплонски, упоминание Чингисхана в период социализма было табуировано, что имело важные последствия для становления общемонгольской идентичности и преодоления межплеменных барьеров. На волне национально-демократической революции 1989–1990 гг. произошло «возвращение Чингисхана», определившее становление новой посткоммунистической монгольской идентичности. Чингисхан стал символом, объединяющим в единую нацию многочисленные монгольские племена, сменив в этой роли Д. Сухэ-Батора и героев-революционеров эпохи социализма [Kaplonski, 2005, p. 148].

В 1991 г. в стране была принята новая Конституция, положившая начало, в том числе, и новому этапу в символической политике. 12 февраля 1992 г. с флага Монголии была убрана золотая пятиконечная звезда, а название страны утратило характеристику Народной Республики, став Государством Монголия (Монгол улс). На смену всаднику-скотоводу, мчащемуся на коне, на государственном гербе появилось изображение Лунгта – священного коня Ветра. Из гимна были убраны слова «за строительство коммунизма в единении с Советским Союзом». Всё это подчеркивало разрыв с предыдущим периодом и символизировало возврат к истокам мон-

гольской государственности [Скрынникова, 2014]. В системе политической символики все большее значение стали приобретать буддистские символы, в частности Соёмбо, с 1924 г. изображавшийся на флаге страны. Несмотря на религиозное значение, данный символ в Монголии считается национальным и тесно связывается с именем Занабазара – первого теократического лидера Халха-Монголии, являвшегося потомком Чингисхана. Большое распространение приобрел буддийский символ Гаруда (например, на гербе Улан-Батора) – покровителя священной горы Богд-хаан-уул. Символ Гаруды в современной Монголии почти механически заменил изображение пятиконечных звезд на воротах ведомственных учреждений. Также в новой монгольской геральдике широко распространилось изображение священного лотоса, колеса-дхармачакры и чинтамани (философский камень в буддизме).

Ключевая схема новой модели описания истории была лаконично сформулирована Баабаром в новой книге «От мирового господства до советского сателлита» [Baabar, 1999]. Данная книга отлично описывает процессы внутри стран социалистического лагеря, начиная с движения «Солидарность» в Польше и заканчивая ростом антисоветских настроений в МНР, а также событиями на площади Тяньаньмэнь в КНР [Baabar, 1999]. Однако преодоление наследия эпохи социализма не было связано с тотальным отрицанием. Это объясняется тем, что МНР, преемником которой стало новое Монгольское государство, обрело в международном праве status quo благодаря решениям мирных конференций 1945 г. 20 октября этого года всенародный референдум МНР единогласно проголосовал за независимость страны. Став частью мирового сообщества в результате ялтинско-потсдамских соглашений, современная Монголия оказалась в сложном положении в Азии после ухода России из региона и усиления КНР в начале 1990-х годов.

Новые политические символы, оформившиеся в 1990-е годы, были ориентированы на закрепление статуса Монголии в сообществе демократических государств. Сформированная система парламентской демократии легитимизировалась через отсылки к Великому Курултаю 1206 г., провозгласившему Тэмуджина Чингисханом и сформировавшему Их Монгол Улс. Демократические ценности стали позиционироваться как традиционные для монгольского общества, что было подкреплено утверждением Президента США Дж. Буша в 2005 г. о том, что «Монголия – это бастион демократии»

в Азии». Данные изменения происходили на фоне экономических реформ «шоковой терапии», резкого социального расслоения, смены устоявшихся моделей социального поведения и появления новых «социальных лифтов». На смену помощи от СССР и стран СЭВ пришли кредиты МВФ, Азиатского банка развития, а также от целого ряда стран, включая США и Японию. В этой ситуации новые политические символы и мифы лишь закрепили сложившееся положение дел как в экономике, так и в политике.

Рефрейминг советских символов

Готовясь к масштабному военному конфликту с КНР, в том числе на территории Монголии, Советский Союз за 1960–1970-е годы максимально увеличил численность советской военной группировки в этой стране. Вместе с военными в страну пришла и советская милитаристская символика, привязанная к местным реалиям. После распада Восточного блока многие из воинских мемориалов в постсоциалистической Монголии остались востребованы, равно как и идеологические шаблоны, воспроизводившиеся в военно-патриотическом дискурсе. На наш взгляд, это связано с опасениями китайской экспансии в этой стране и нарастающими настроениями синофобии [Delaplace, 2010, p. 139]. Советские военные мемориалы, фильмы и книги о Монголии являются наглядным свидетельством героической борьбы за суверенитет, затянувшейся на всю первую половину XX в. Попытаемся выделить ряд мифов, сформированных в период социализма и перефреймированных в современных условиях.

Первым значимым мифом является победа на Халхин-Голе в 1939 г. Она стала основным мифом, подтверждающим жизнеспособность нации и государства в условиях противостояния Японской империи. В настоящее время этот миф является элементом национальной идентичности. Показательно, что несмотря на многочисленные предложения Японии, оказывавшей масштабную материальную помощь Монголии в 1990-е годы, переименовать «войну на Халхин-Голе» в «Номонханский инцидент», в переименовании было отказано. Разгром Японской империи в демократической Монголии рассматривается как один из важных шагов на пути обретения национальной независимости и республиканской

формы государственного устройства. Даты этого знакового события отмечаются на государственном уровне и завершаются военным парадом. На празднование приглашаются представители Российской Федерации. С 2019 г. в Монголии проводится акция «Бессмертный полк», а в параде участвуют российские военные. Здесь же нужно отметить и присутствие мифа в искусстве: художественный фильм о войне 1939 г. «Слушайте на той стороне» и ряд современных документальных лент идут в прокате национальных телеканалов в дни мемориальных мероприятий. Историческая литература о войне систематически переиздается, хотя ее тиражи существенно меньше, чем в предыдущий исторический период. В 2019 г. в районе боев совместно с РФ создан масштабный мемориальный комплекс, включающий в себя памятник монгольским воинам и образцы бронетехники, установленные на постамент. В 2017–2019 гг. миф о свободной монгольской нации победителей достаточно активно воспроизводился в региональных СМИ.

Второй значимый и культивируемый миф – это миф о вкладе Монголии в победу во Второй мировой войне. Баабар, который сейчас стал одним из идеологов современной Монголии, отмечает: «С первых дней войны МНР мобилизовала все внутренние ресурсы в соответствии с условиями военного времени. Страна, вся внешняя торговля которой проходила с СССР, с началом войны практически прекратила импорт. В этом смысле Монголия фактически превратилась в тыловой фронт, наравне с Сибирью, Дальним Востоком и районами Средней Азии. По всей стране широко развернули сбор средств, отправку на фронт подарков, скота, мяса, шерсти, сырья, одежды, денег, золота и серебра, т.е. всего, что можно было собрать и отдать в военный фонд» [Baabar, 1999, p. 393]. Данный нарратив получил широкое распространение. Сейчас он играет важную роль в переосмыслении отношений, сформированных ранее в духе пролетарского интернационализма. На смену дихотомии старшего и младшего брата [Михалев, 2011, с. 198] и ироническому образу «самой независимой страны, от которой ничего не зависит» приходит миф о Монголии как о полномочном акторе мировой политики на протяжении всего XX в. Это позволяет не только обосновать свое место в ряду стран-победительниц, но и заявить о собственном вкладе в формирование Ялтинско-Потсдамской системы, обеспечившей национальный суверенитет Монголии.

Третий важный миф, выделенный и переосмысленный из массива советского наследия, – это покорение космоса. Сюжет о полете 1981 г. монгольского космонавта Ж. Гуррагчи и советского космонавта В.А. Джанибекова оказался востребован и в условиях новой национальной мифологии 1990–2000-х годов. Изначально это событие являлось символическим актом, демонстрирующим нерушимость интернациональной братской дружбы советского и монгольского народов и наглядным свидетельством Прогресса. В ходе постсоциалистических трансформаций этот символический акт не подвергся переоценке, доказательством чему служит то, что микрорайон Сансар (Космос) в столице Монголии не был переименован. В новых условиях этот полет интерпретируется как подтверждение формулы современного этапа нациестроительства «Монгол хун – баатар!» (монгол – это богатырь). В 1990-е годы Ж. Гуррагча имел все шансы стать олицетворением национального героя, консолидирующего вокруг себя общество. Именно поэтому его политический капитал активно эксплуатировался политическими структурами, в результате чего первый монгольский космонавт прошел путь от парламентария до министра обороны.

Перечисленные мифы формируют значительный сегмент символического репертуара Монголии, и, несмотря на свое советское происхождение, активно эксплуатируются и по сей день. В итоге в Монголии еще в конце 1990-х годов удалось сформировать несколько противоречивый и эклектичный национальный нарратив, интегрировавший различные сюжеты и символы, заимствованные как из средневековой, так и из новейшей истории.

Советские символы и российский «национализм Родины»

Анализируя переосмысление советских символов в пространстве современной Монголии, мы констатируем их разрушение, выталкивание на периферию, а также их использование в националистических дискурсах. Как уже отмечалось, отношение РФ к «руинам» советского присутствия вписывается в паттерн «национализма Родины». Так, отстаивая права соотечественников, проживающих в Монголии и потерявших работу на монгольских предприятиях после начала рыночных реформ, одна из диаспоральных газет в 2005 г. писала: «Проблемой является то, что мно-

гие предприятия, находящиеся в государственном подчинении, перешли в частные руки. И обеспечивавшие доход нашим соотечественникам рабочие места были сокращены самым радикальным образом» [цит. по: Михалев, 2007, с. 268].

Обращение МИД России и Россотрудничества к символическому наследию СССР в Монголии тесно связано с проектом «Соотечественники» и поддержкой русской диаспоры в стране. В итоге все, что осталось от некогда монолитной символической системы СССР в МНР, стало достоянием российских соотечественников в Монголии. Финансовую поддержку по линии Россотрудничества получил, прежде всего, военно-патриотический блок. Символами российской воинской славы в Монголии, которые поддерживаются с помощью средств, выделяемых РФ, стали памятник и музей Г.К. Жукова, русское кладбище Улан-Батора, мемориал на Халхин-Голе, памятник воину-освободителю в Чойре (самый точный «Алеша») и ряд других.

Хронологически интерес к символическому наследию в МНР стал проявляться лишь в середине 2000-х годов. При поддержке правительства г. Москвы в 2006 г. проводилась реконструкция Дома-музея Г.К. Жукова в Улан-Баторе. Этот проект является наглядным примером рефрейминга советских символов в современных условиях. В частности, после реконструкции фасад музея Жукова украсила масштабная икона Георгия Победоносца. В рамках происходивших в этой стране процессов мы можем констатировать синхронизацию религиозного рефрейминга советских символов. Сегодня большая часть советских символов переосмыслена и приватизирована как минимум в трех измерениях: национализма, буддизма или православия. Например, в 2005 г. делегация представителей РПЦ установила на Халхин-Голе поклонный крест и отслужила по павшим панихиду по православному чину. Подобный символический акт является попыткой включить Монголию в пространство Русского мира, сформировав систему символов, отсылающих как к советскому периоду, так и ко времени Российской империи [Михалев, 2009].

Особого внимания заслуживают СМИ, отвечающие за систему коммуникаций, связанных с символической политикой. Прежде всего это так называемые «старые» русскоязычные газеты «Новости Монголии» (издается с 1942 г.) и «Монголия сегодня». Среди новых газет необходимо упомянуть «Вестник центра Москва –

Улаанбаатар», ориентированную на соотечественников и выходящую с 2000-х годов, а также газету РПЦ «Троица». Данные газеты обеспечивают воспроизводство образов и смыслов, связанных с символической политикой. Для них характерны заголовки статей «Москва и соотечественники: образование в Монголии», «Исторический обзор формирования русской диаспоры в Монголии», «Спасибо Москве за поддержку!» и т.п. [Михалев, 2007].

Большую долю в публикациях диаспоральной прессы занимают статьи о положении русских соотечественников в других странах мира. Положение русской общины в Прибалтике, в Казахстане и Киргизии – это тот контекст, в который вписываются политические смыслы, сформированные в Монголии [там же]. В сущности, это воображение мира, в центре которого диаспоры, образовавшиеся после распада СССР, а вместе с этим и постимперская травма. Важно обратить внимание на то, что советские символы, оказавшиеся заброшенными и неактуальными в течение 1990-х годов, к началу 2010-х обрели новый сентиментальный смысл переживаний об «ушедшей империи». При этом данный контекст отлично прослеживается в диаспоральной прессе, систематически смешивающий символику царской России и СССР.

В ноябре 2019 г. была закончена реконструкция памятника советскому солдату в районе городе Чойр, где в период с 1969 по 1989 г. дислоцировалась 41-я Особая мотострелковая дивизия Советской армии. Памятник советскому воину в сталинской гимнастерке и со щитом был установлен еще в период социализма, на обыденном уровне он считался самым восточным «Алёшей». Надпись на щите памятника гласит: «Всё, что создано народом, должно быть надежно защищено». Однако осенью 2019 г., после реконструкции, в СМИ за ним закрепилось название мемориальный комплекс «Слава русскому солдату». 7 ноября 2019 г. в торжественной обстановке на памятнике была установлена дополнительная мемориальная доска с надписью на монгольском языке: «Этот комплекс основан в память 41-й Особой мотострелковой дивизии ВС СССР (Чойрский гарнизон), защитившей, выполняя свой интернациональный долг, независимость и безопасность МНР в 1969–1989 гг., с уважением и дружбой к личному составу дивизии, членам их семей и потомкам. Не забудем заслуги воинов-побратимов, защитивших наше священное государство».

В итоге все это формирует особую форму интерпретации советского наследия в Монголии: через призму символов политики русского мира, возникшей как реакция на положение так называемых русских «диаспор катаклизма» после распада СССР. Именно поэтому значительная часть символического поля предыдущего периода важна для поддержания современных коммуникаций. Символическая политика РФ в Монголии на уровне знаков и смыслов имеет много общего с политикой на постсоветском пространстве и в посткоммунистических странах Восточной Европы. Как и в Восточной Европе, интересы российских представительств сосредоточены на памятниках воинской славы. На этих объектах сконцентрировано почти все внимание как посольства РФ, так и представительств субъектов Российской Федерации (Иркутской области, Республик Бурятия и Тыва). Это хорошо прослеживается на уровне газетных публикаций русскоязычных СМИ в Монголии, активно конструирующих некое единое пространство Русского мира (бывшего Восточного блока).

При этом нужно отметить, что каких-либо символов Российской империи в Монголии (кроме русского кладбища) к началу 1990-х практически не осталось. Всё, что включено в современную систему политических коммуникаций, было создано или в СССР, или в 2000-е годы, поэтому почти каждый символический объект, будь то памятник, фреска, газета, песня или фильм, имеет большую ценность и практически сразу присваивается одним из акторов, участвующих в борьбе за право формировать смыслы в политическом пространстве Монголии.

* * *

Советские символы в современной Монголии стали частью как минимум двух националистических способов описания мира. Российский «национализм Родины» и монгольский этнонационализм вполне бесконфликтно сосуществуют на останках советской символической системы. Присвоив и переформатировав памятники ушедшей эпохи, эти два дискурса сформировали новую историческую мифологию и новые политические смыслы, позволяющие претендовать в одном случае на гегемонию в пространстве русского мира, а в другом – говорить о величии монголосферы [Хара-

Даван, 2002]. При этом каждый из них по-своему является достаточно эклектичными и противоречивыми, хотя именно благодаря этим характеристикам – весьма гибким и адаптивным.

В сравнении со странами Восточной Европы, Монголия стоит особняком, это связано как с генеалогией современного Монгольского государства, не разорвавшего преемственность с МНР, так и с пониманием угроз суверенитету и государственной целостности. В этой связи советское наследие, в отличие от Восточной Европы, тесно связано с идеей защиты от притязаний КНР в 1970-е годы. Несомненно, возникали и по-прежнему существуют попытки переосмысления советско-монгольских отношений в негативном ключе. Однако зачастую они оказываются на периферии общественно-политического дискурса, так как ставят под сомнение легитимность существующей генеалогии монгольского государства в связи с отсутствием со времен Средневековья каких-либо приемлемых отправных точек для построения преемственности. Притом что вся история Монголии XX в. – это длительный период преодоления имперского наследия Цин.

Также весьма интересно, что в Монголии роль символического наследия СССР все более возрастает по мере сокращения его экономического наследия. Так, к 2019 г. в Монголии осталось лишь одно совместное российско-монгольское предприятие – это Улан-Баторская железная дорога, построенная еще в 1940-е годы. Но именно к 2019 г. РФ взяла под контроль максимальное количество мемориальных объектов эпохи социализма. Новое время диктует и новые формы экономического сотрудничества, а вслед за ними и появление новых политических символов: памятников Чингисхану, православных храмов, музея политических репрессий, мемориальной доски Николаю II, подарившему дворец монгольскому Богдо-гэгэну.

Важным сюжетом представленного исследования стала борьба за доминирование в поле символической политики. В Монголии период десоветизации со ставшим уже привычным после Восточной Европы сносом памятников В.И. Ленину существенно не затронул конфликтных точек символической политики. Здесь так и не были поставлены памятники белым генералам, а конфликт на Халхин-Голе остался в рамках прежней системы интерпретации. Новые буддийские символы никак не конфликтуют со старыми социалистическими, а политическая элита страны, ответствен-

ная за производство символов, актуализирует их в зависимости от политической конъюнктуры. Поэтому речь идет преимущественно о борьбе за право интерпретации в публичной сфере теми или иными политическими акторами или их коалициями как советских, так и появившихся в более позднее время символов.

Список литературы

- Брубейкер Р.* «Дiasпоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами // *Дiasпоры*. – 2005. – № 3. – С. 44–71.
- Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // *Полис. Политические исследования*. – 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Малинова О.Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // *Символическая политика*. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 5–16.
- Михалев А.В.* Монголия как национализирующееся государство: опыт постсоветских трансформаций // *Политическая наука*. – 2011. – № 2. – С. 193–207.
- Михалев А.В.* Советские мемориалы в Монголии: коллективная память и борьба за символическое пространство // *Дiasпоры*. – 2009. – № 2. – С. 208–232.
- Михалев А.В.* Русские старожилы в Монголии: сообщество в зеркале региональной прессы // *Мигранты и диаспоры на Востоке России: практики взаимодействия с обществом и государством*. – М.: Наталис, 2007. – С. 263–275.
- Лиштованный Е.И.* От великой империи к демократии: очерки политической истории Монголии. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2007. – 198 с.
- Панарин С.А.* Курица не птица? Воспоминания о социалистической Монголии // *Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований*. – 2014. – № 6 – С. 66–76.
- Поцелуев С.П.* «Символическая политика»: к истории концепта // *Символическая политика*. – М.: ИНИОН. РАН, 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–54.
- Скрынникова Т.Д.* «Старые» символы новой Монголии // *Символы, образы и атрибуты власти*. – СПб.: МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2014. – С. 203–216.
- Терентьев В.И.* Образы Китая и китайцев в национальном самосознании монголов // *Вестник Томского государственного университета*. – 2016. – № 406. – С. 152–157.
- Хара-Даван Э.* Русь монгольская: Чингис-хан и монголосфера. – М.: Аграф, 2002. – 320 с.
- Баабар Б.* Бүү март! /Мартвал сөнөнө/. – Улаанбаатар: Ардчилсан социалист хөдөлгөөний хэвэл, 1989. – 37 х.
- Baabar B.* From world power to Soviet satellite. History of Mongolia. – Cambridge: The White Horse Press, 1999. – 448 p.

- Billé F.* Introduction to «cartographic anxieties» // Cross-currents: East Asian history and culture review. – 2016. – N 21. – P. 1–19. – DOI: <https://doi.org/10.1353/ach.2017.0000>
- Bulag U.E.* From Yeke-juu league to Ordos municipality: settler colonialism and alter/native urbanization in Inner Mongolia // Provincial China. – 2002. – Vol. 7, N 2. – P. 196–234. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1326761032000176122>
- Bulag U.E.* Nationalism and Hybridity in Mongolia. – Oxford: Clarendon Press; N.Y.: Oxford university press, 1998. – 302 p.
- Delaplace G.* Chinese ghost in Mongolia // Inner Asia. – 2010. – Vol. 12, N 1. – P. 138–149. – DOI: <https://doi.org/10.1163/146481710792710282>
- Delaplace G.* Parasitic Chinese, vengeful Russians: ghosts, strangers, and reciprocity in Mongolia // Journal of Royal Anthropological Institute. – 2012. – Vol. 18, N 1. – P. 131–144. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2012.01768.x>
- Gill G.J.* Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge university press, 2013. – 326 p.
- Kaplonski C.* The case of the disappearing Chinggis Khaan: dismembering the remembering // Ab imperio. – 2005. – N 4. – P. 147–173. – DOI: <https://doi.org/10.1353/imp.2005.0166>
- Munkh-Erdene L.* The Mongolian nationality lexicon: from the Chinggisid Lineage to Mongolian nationality (from the seventeenth century to the early twentieth century) // Inner Asia. – 2006. – Vol. 8, N 1. – P. 51–98. – DOI: <https://doi.org/10.1163/146481706793646792>

A.V. Mikhalev*

Symbols of soviet presence in post-socialist Mongolia

Abstract. The presented paper is a study of Soviet symbolic legacy in contemporary Mongolia. We are going to discuss not only memorials, but also state symbols, works of art, texts – all things that shape a worldview. The paper is focused on the struggle for the space of symbols and the process of filling this space with new political senses. Today, the struggle is being led between Mongolian ethnic nationalism and Russian nationalism of the Motherland. In Mongolia, the dismantling of monuments to Lenin as a part of decommunization was held within a non-conflict scenario. At the same time, military memorials were left untouched and even turned out to be in a certain demand. Each nationalism forms its own worldview, filling it with symbols of the previous epoch. As a result, we can ascertain a symbiosis of these two nationalisms. This symbiosis exists on the 'ruins' of the Soviet system of symbols and is based on high demand for heroism as an important factor of popular consolidation. In this paper, we study three key myths based on the Soviet legacy and keeping their importance today. The study is based upon the author's fieldwork materials that were obtained dur-

* **Mikhalev Alexey**, Centre of political transformation studies, Buryat State University (Ulan-Ude), mihalew80@mail.ru

ing expeditions to Mongolia in 2009–2019 (Ulaanbaatar, Erdenet, Choir, Sayshand). Besides, the article is based on regional mass media materials, fiction writing, and visual content. This paper is a part of a longitude research devoted to a study of Soviet legacy in Asia.

Keywords: politics; symbolic politics; power; hegemony; state; Asia.

For citation: Mikhalev A.V. Symbols of soviet presence in post-socialist Mongolia.

Political science (RU). 2020, N 2, P. 126–142. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.06>

References

- Baabar B. *Don't forget! / otherwise you will perish*. Ulaanbaatar: Former Socialist movement, 1989, 37 p. (In Mongolian)
- Baabar B. *From world power to soviet satellite. History of Mongolia*. Cambridge: The White horse press, 1999, 448 p.
- Billé F. Introduction to «cartographic anxieties». *Cross-currents: East Asian history and culture review*. 2016, N 21, P. 1–19. DOI: <https://doi.org/10.1353/ach.2017.0000>
- Brubaker R. «Diasporas of the cataclysm» in Central and Eastern Europe and their relations with their homelands. *Diasporas*. 2005, N 3, P. 44–71. (In Russ.)
- Bulag U.E. From Yeke-juu league to Ordos municipality: settler colonialism and alter/native urbanization in Inner Mongolia. *Provincial China*. 2002, Vol. 7, N 2, P. 196–234. DOI: <https://doi.org/10.1080/1326761032000176122>
- Bulag U.E. *Nationalism and hybridity in Mongolia*. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford university press, 1998, 302 p.
- Delaplace G. Chinese ghost in Mongolia. *Inner Asia*. 2010, Vol. 12, N 1, P. 138–149. DOI: <https://doi.org/10.1163/146481710792710282>
- Delaplace G. Parasitic Chinese, vengeful Russians: ghosts, strangers, and reciprocity in Mongolia. *Journal of Royal Anthropological Institute*. 2012, Vol. 18, N 1, P. 131–144. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2012.01768.x>
- Gill G.J. *Symbolism and regime change in Russia*. Cambridge: Cambridge university press, 2013, 326 p.
- Hara-Davan Je. *Mongolian Russia: Genghis Khan and the mongolosphere*. Moscow: Agraf, 2002, 320 p. (In Russ.)
- Kaplonski C. The case of the disappearing Chinggis Khaan: dismembering the remembering. *Ab imperio*. 2005, N 4, P. 147–173. DOI: <https://doi.org/10.1353/imp.2005.0166>
- Lishtovanny E.I. *From the Great Empire to Democracy: Essays on the Political History of Mongolia*. Irkutsk: Publishing house of ISU, 2007, 198 p. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Symbolic politics and the construction of macro-political identity in post-Soviet Russia. *Polis. Political Studies*. 2010, N 2, P. 90–105. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Symbolic politics: contours of the problem field. In: *Symbolic Politics. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power*. Moscow: INION RAS, 2012, P. 5–16. (In Russ.)

- Mikhalev A.V. Mongolia as nationalizing state: experience of Post-Soviet transformation. *Political science (RU)*. 2011, N 2, P. 191–207. (In Russ.)
- Mikhalev A.V. Soviet memorials in Mongolia: collective memory and the struggle for symbolic space. *Diasporas*. 2009, N 2, P. 208–232. (In Russ.)
- Mikhalev A.V. Russian old-timers in Mongolia: a community in the mirror of the regional press. In: *Migrants and Diasporas in the East of Russia: practice of interaction with society and the state*. Moscow: Natalis, 2007, P. 263–275. (In Russ.)
- Munkh-Erdene L. The Mongolian nationality lexicon: from the Chinggisid Lineage to Mongolian nationality (from the seventeenth century to the early twentieth century). *Inner Asia*. 2006, Vol. 8, N 1, P. 51–98. DOI: <https://doi.org/10.1163/146481706793646792>
- Panarin S.A. Isn't chicken a bird? Memories of Socialist Mongolia. *Labyrinth. Journal of philosophy and social sciences*. 2014, N 6, P. 66–76. (In Russ.)
- Poceluev S.P. «Symbolic politics»: to the history of the concept. In: *Symbolic politics. Vol. 1. The construction of ideas about the past as an imperious resource*. Moscow: Institute of Scientific Information on Social Sciences RAS, 2012, P. 17–54. (In Russ.)
- Skrynnikova T.D. «Old» symbols of new Mongolia. In: *Symbols, images and attributes of power*. Saint Petersburg: MAJe im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN, 2014, P. 203–216. (In Russ.)
- Terentyev A.A. Images of China and the Chinese in Mongolian national mentality. *Tomsk State University Journal*. 2016, N 406, P. 152–157. (In Russ.)

ИДЕИ И ПРАКТИКА

В.П. КАЗЬМИНА*

**РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»: СМЕНА ВЕКТОРА
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ?**

Аннотация. Статья посвящена анализу развития мультимедийного проекта «Россия – моя история» на примере реконструкции флагманского исторического парка в Москве, произошедшей в 2018 г. Исследование основано на сравнении способов медиатизации исторического нарратива до и после реконструкции выставочного павильона, проведенном при помощи теоретических подходов Х. Уайта, М. Маклюэна и С. Холла. Перемены, произошедшие в экспозициях, не только обозначили начало нового этапа существования выставок проекта, но и наглядно отразили механизмы взаимодействия институционального и символического уровней исторической политики в современной России.

Ключевые слова: исторический парк; исторический нарратив; РПЦ; РВИО; народ; историческая реконструкция; историческая политика.

Для цитирования: Казьмина В.П. Реконструкция исторического парка «Россия – моя история»: смена вектора символической политики? // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 143–162. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.07>

В 2013 г. Правительство Москвы и Патриарший совет по культуре начали реализацию масштабного мультимедийного проекта, направленного на создание цельного образа российской истории и российского государства. Речь идет о серии выставок в

* Казьмина Виктория Павловна, магистр культурологии, независимый исследователь, e-mail: aoria.aoria@gmail.com

© Казьмина В.П., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.07

рамках проекта «Россия – моя история», которые были представлены на одной из главных музейных площадок Москвы – ЦВЗ «Манеж». На сегодняшний день проект успел полностью осветить российскую историю, которую создатели разделили на четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «1914–1945: от великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя история. 1945–2016».

С декабря 2015 г. эти выставки начали переносить в мультимедийный «исторический парк», разместившийся в качестве постоянной экспозиции в 57 павильоне ВДНХ в Москве¹. В 2016 г. было принято решение о строительстве подобных «исторических парков» в 18 регионах России²; на сегодняшний день в планах организаторов уже около 30 подобных музейных комплексов.

На момент создания первого исторического парка в Москве в его экспозицию входили только первые две части проекта (третья часть в это время шла в Манеже; четвертая заняла ее место в следующем году). В 2017 г. к ним добавилась экспозиция, посвященная первой половине XX в., и в таком виде парк просуществовал до октября 2018 г. После этого помещение закрыли на реконструкцию, которая продолжалась три месяца и должна была, по словам организаторов, внести много изменений в организацию пространства павильона³.

Целью моей статьи является анализ развития проекта «Россия – моя история», которое отражается в изменениях внешнего вида экспозиций, а также артикуляция связи этих изменений с действиями различных политических акторов. В качестве основы для исследования я выбрала случай реконструкции флагманского исторического парка в Москве – этот материал является наиболее показательным, так как дает возможность проследить трансформацию выставок с точки зрения способов репрезентации одного и

¹ Сайт проекта «Россия – моя история». – Режим доступа: <http://myhistorypark.ru/istoricheskij-park-about> (дата посещения: 09.01.2020.)

² Русь мультимедийная // Коммерсантъ. ру. – М., 2017. – 13 февраля. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3218514> (дата посещения: 20.12.2019.)

³ К реконструкции парка «Россия – Моя история» в Москве приступят в октябре // ИА REGNUM. – М., 2018. – 21 сентября. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/society/2486548.html> (дата посещения: 20.12.2019.)

того же контента, локализованного в одном и том же конкретном пространстве.

При анализе экспозиций использовалась методология, предложенная Хейденом Уайтом [White, 1973; 1987]: ее центральным понятием является исторический нарратив, который подробно анализируется на взаимосвязанных уровнях – эпистемологическом, эстетическом и моральном. Отношение между этими уровнями описывается как родство их структурных гомологий – для определенных типов эстетического восприятия и когнитивных операций характерен соответствующий идеологический подтекст, в основе которого лежит этический выбор.

Методология Уайта хорошо подходит для исследования выставок проекта «Россия – моя история» в силу того, что в центре ее внимания находится не анализ «реализма» или «научности» исторического нарратива, но особенности его конструирования. Как замечает автор, «дискурс “имеет смысл” вопреки фактическим неточностям и логическим противоречиям» [Уайт, 2002, с. 17–25]. Важным преимуществом выбранной методологии является то, что она работает не только с научно-историческими и историософскими текстами, о которых писал сам Уайт, но и с высказываниями в области public history (к которым относятся выставки проекта «Россия – моя история»). Примером такого анализа является статья Кевина Платта и Дэвида Бранденбергера «Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin» [Brandenberger, Platt, 1999]; в упрощенном варианте методологию Уайта использует также Венди Слейтер, анализируя особенности нарративов о расстреле Николая II, существующих в рамках жанра «популярной истории» [Slater, 2007].

Следует сказать о методологических ограничениях теории Уайта при ее использовании для исследования проекта «Россия – моя история». Уайт разрабатывал свою концепцию на основе анализа текстов: в центре его исследования находится «историческое сочинение – словесная структура в форме повествовательного прозаического дискурса» [Уайт, 2002, с. 17]. Мультимедийные формы репрезентации прошлого, которые используют создатели исторических парков, очевидным образом требуют привлечения теории медиа. В данном случае продуктивным дополнением являются два ее ключевых момента. Во-первых, это сформулированное Маршаллом Маклюэном положение о том, что тип медиума имеет

прямое влияние на передаваемое сообщение [Маклюэн, 2007]. Во-вторых, это предложенная Стюартом Холлом концепция кодирования / декодирования [Hall, 1973]. Согласно Холлу, получатель сообщения принимает активную роль в его расшифровке – таким образом, в теорию медиа вводится проблема рецепции, которая в случае исторических парков является неотъемлемой частью существования использованного в них исторического нарратива.

«Россия – моя история» ver. 1.0: предварительные замечания и гипотезы

Проведенный ранее (в 2016–2018 гг. – т.е. до реконструкции исторического парка) анализ экспозиций проекта показал, что конструирование исторического нарратива происходило на выставках в двух взаимовлияющих измерениях. Первое можно назвать «внутренней» логикой истории – оно влияет в первую очередь на формальную сторону организации маршрута посетителя (деление исторических парков на выставки, а выставок – на залы). Второе измерение связано с «внешним» вмешательством в эту логику, которое имеет идеологические обоснования, влияющие на эстетику экспозиций. Технически это вмешательство проявлялось в использовании символических доминант и жанров, под которые были выделены отдельные залы и типы медиумов.

Проект представлял историю Российского государства как нарратив, состоящий из сменяющих друг друга эпох-залов. Несмотря на то что во всех случаях использовался линейный маршрут, он строился по различным принципам. И «Романовы», и «Рюриковичи» были построены вокруг судьбы определенной царской династии и ее правителей. Логика периодизации XX в. была совершенно иной: вместо смены династий на две части его делила Великая Отечественная война, а на место смены правителей пришла смена этапов развития государства (военное время – НЭП – индустриализация и т.д.).

Деление XX в. на залы было артикулировано более условно, чем деление дореволюционной истории, что подчеркивалось смелой стратегией визуализации исторического нарратива: если в первых двух выставках залы представляли собой набор отдельно расположенных на стенах тематических стендов, то во втором блоке,

на протяжении практически всего маршрута, на стены проецировался относительно непрерывный иллюстрированный таймлайн.

Последнюю – четвертую – часть проекта я анализировала на примере казанского и петербургского исторических парков, которые показали смену парадигмы репрезентации социально-политической истории, происходившую с переходом к событиям XXI в. Основные визуальные элементы предыдущих экспозиций в этом моменте внезапно исчезали, как исчезал и сам исторический нарратив в виде последовательного рассказа. Все, что происходило в 2000-х годах, представляло собой синхронный фрагментированный срез эпохи, в котором визуализированы уже не события, а основные мотивы, возникавшие в истории современности: «Приоритеты развития», «Геополитические вызовы», «Духовные основы общества» и т.д.

Одной из главных проблем моего исследования была интеграция четвертой экспозиции проекта в уже существующее пространство: до реконструкции три выставки уже полностью занимали оба этажа павильона. Мое предположение заключалось в том, что *«внутренняя» логика организации маршрута посетителя неизбежно должна будет измениться (хотя бы в силу технических причин)*. Сохранение логики, которую я называю «внешней», – включение в выставку определенных символических элементов – также находилось под вопросом, поскольку она во многом была завязана на использовании специальным образом оформленных залов, выбивающихся из общего ритма повествования.

До реконструкции каждая выставка строилась вокруг одного главного зала, который являлся своего рода символической доминантой периода. В первой выставке проекта («Романовы») главный зал представлял собой большую проекцию коллективного портрета правителей династии, в центре которого находился Николай II. Центральный зал «Рюриковичей» являлся в буквальном смысле поворотным моментом российской истории и представлял собой купол-проекцию, посвященный не одному из правителей, а преподобному Сергию Радонежскому – на коллективном портрете династии Рюриковичей он также занимал центральное место. В третьей экспозиции (охватывавшей первую половину XX в.) акценты были расставлены так же явно. Деление на залы в логике периодов развития государства внезапно нарушалось пространным повествованием о гонениях на церковь в советские годы, сразу после

которого следовал зал «Народ», где организаторы попытались собрать «лица эпохи» – множество портретов ученых, деятелей культуры и священнослужителей, которые проецировались на стены зала, сменяя друг друга в бесконечном движении.

Опыт посещения региональных исторических парков позволил мне предположить, что после реконструкции вся экспозиция окажется разделенной на две части – «Рюриковичи + Романовы» и «XX век» (лучше всего такая схема отражена в Казани, где эти половины проекта находятся в разных павильонах). *Соответственно, возник вопрос: что случится с центральными залами? Сохранят ли они прежнюю символическую нагрузку, оказавшись (если это произойдет) на месте «границ» между частями проекта?*

Другой важной проблемой моего исследования стало включение новых медиумов в экспозиции, которое по обещаниям организаторов должно было добавить элементы интерактивности в посещение исторического парка. Несмотря на то что изначально проект был заявлен как «мультимедийный», до реконструкции эта идея была реализована на достаточно примитивном уровне: главным содержанием экспозиций были однотипные проекции и связанные с ними сенсорные экраны, которые позволяли посетителю прочесть ряд тематических статей при нажатии на нужную кнопку. Вся интерактивность в итоге сводилась к пассивному созерцанию либо чтению текстов. Появление на выставках исторического парка новых экспонатов и способов взаимодействия с ними, скорее всего, должно было нарушить эту пассивность, – и здесь возникает вопрос: *в какой позиции по отношению к историческому нарративу окажется теперь посетитель?*

Наконец, последним – но самым главным – для моего анализа стал вопрос сохранения после реконструкции деталей (как на «внешнем», эстетическом, так и на «внутреннем» – эпистемологическом – уровнях), отсылающих к православной символике и церковному дискурсу. Первая версия исторического парка в Москве была наполнена подобными отсылками. Среди них можно назвать наличие отдельного таймлайна для истории Русской православной церкви, соединяющего все «дореволюционные» залы; цветовые решения в залах «Рюриковичей», отсылающие к литургическим цветам православного богослужения; архитектурные метафоры, придающие маршруту посетителя сакральное измерение; оформ-

ление тематических стендов, визуально напоминающее житийные иконы с клеймами.

Моя гипотеза состояла в том, что *в обновленном историческом парке количество таких деталей значительно сократится, что устраним акцент на «церковной» составляющей в пользу «светской» версии общественно-политической истории России.* К этому предположению я пришла после посещения петербургского и казанского филиалов проекта «Россия – моя история»: таймлайн с историей РПЦ в них полностью отсутствовал, а религиозные метафоры были уравновешены «светскими» элементами.

Инструментализация исторического нарратива и нейтрализация «большого стиля»

Посещение обновленного исторического парка подтвердило ожидания, касавшиеся «внутренней» и «внешней» логики организации экспозиций. Все четыре выставки уместились на пространстве, которое раньше занимали две из трех экспозиций павильона. Такая перестановка стала возможна за счет исчезновения «отклонений» от маршрута, которые ранее были представлены отдельными большими кинозалами. Факультативность последних полностью исчезла: в обновленном нарративе они стали связующими звеньями исторических эпох. В этом контексте необходимо подробнее остановиться на особенностях тех фильмов, которые демонстрируются посетителю.

Набор видеороликов остался прежним: это несколько тематических фильмов, посвященных определенным событиям или явлениям российской истории. Все фильмы имеют важную особенность: в каждом из них выстроена прямая связь между историей и современностью – не только при помощи закадрового текста (в котором, например, может говориться о том, что созданные Романовыми армия и флот «до сих пор служат залогом безопасности России»), но и при помощи визуального ряда, включающего в экспозицию, посвященную Романовым, снимки ракет и фотографии из космоса, а в экспозицию Рюриковичей – фрагменты современных богослужений и российский триколор. Дидактический характер исторических событий и их важность для современной России подчеркивается синопсисом, который встречает посетителя перед

просмотром очередного фильма (этот элемент впервые появился в региональных исторических парках). Посетитель заранее получает скрытую интерпретацию – например, готовится посмотреть «фильм о плодотворном пути преемственности в русской культуре».

Преобразование прежде факультативных элементов в обязательный пункт маршрута усиливает инструментальную функцию исторического нарратива, дополняя набор фактов о различных эпохах «лирическими отступлениями», нагруженными идеологическими импликациями.

Распределение кинозалов по различным участкам маршрута позволило организаторам сгладить переходы между историческими эпохами при помощи новых «узловых точек» исторического нарратива. Создание ощущения «связности» исторического нарратива прежде достигалось при помощи схематизации экспозиции на техническом (эпистемологическом) уровне – описанной выше логики деления на залы, – а также использования стандартного набора тематических разделов и медиумов. Эстетический уровень исторического нарратива отличался особенностями визуального оформления, задававшего единый визуальный стиль залов в каждой из трех экспозиций.

Эстетику выставки можно было описать как новый «большой стиль» репрезентации исторических событий, сочетавший в себе принадлежащие различным жанрам и дискурсам элементы. Для каждой исторической эпохи использовалась своя вариация этого стиля. В «Рюриковичах» на первый план выходит визуальный язык, принятый в церковной традиции. В рамках этого дискурса история представляла в качестве православного «фэнтези», во многом отсылающего к эстетике исторических картин Ильи Глазунова, Михаила Нестерова и Михаила Авилова. На выставке «Романовы» к указанным элементам добавлялись отсылки к визуальному наследию «великой русской культуры» – в первую очередь, парадным портретам государей и академической живописи XIX в. Наконец, в XX в. на первый план выступали «документальность» и подчеркнутая «беспристрастность» конструируемого нарратива, визуальная репрезентация которого склонялась в сторону формальной симметрии при освещении противоречивых событий российского прошлого.

После реконструкции павильона отдельные выставки потеряли свою специфику – произошла тотальная унификация маршрута.

Исчезло концептуальное различие между визуализацией различных эпох – стены «Рюриковичей» утратили свои цветовые решения, с выставки «Романовы» пропали яркое освещение и одиноко стоявшие портреты императоров, «XX век» лишился непрерывно идущего по стене таймлайна. Основные залы всех выставок превратились в максимально стандартизированный набор стендов и экранов, количество которых возрастает от прошлого к современности, постепенно уплотняя визуальный ряд – от «темного» прошлого к «яркому» настоящему.

Наконец, изменения затронули и прежние «символические доминанты» каждой выставки – центральные залы. Эти перемены оказались связаны с другими выдвинутыми мной гипотезами, – внедрением новых медиумов и уменьшением роли церковного дискурса, – которые я рассмотрю далее.

Новые медиумы: история как игра и аффект

Если говорить о трансформациях центральных залов экспозиций, то самые заметные нововведения коснулись выставки «Романовы». Центральный зал с портретом царской семьи исчез и вместо него появились новые игровые залы – «Семейное древо Романовых» и «Инстаграм Романовых», вносящие в маршрут посетителя элементы интерактивности.

На поставленный мной вопрос о позиции посетителя по отношению к историческому нарративу сложно ответить без исследования рецепции экспозиций и интервьюирования, однако мне представляется продуктивной попытка реконструкции фигуры посетителя (в представлении организаторов выставки) на основе анализа возможностей взаимодействия, заложенных в интерактивных экспонатах.

Этот анализ дает неоднозначный ответ. В результате реконструкции создателям экспозиций удалось предложить посетителю два новых формата, источником которых можно назвать, во-первых, практику исторических реконструкций, и, во-вторых, компьютерный аналог викторины или квеста.

Эти два формата превращают отдельные залы экспозиций «Романовы» и «Рюриковичи» в своего рода «исторический Диснейленд», в котором знакомство с прошлым принимает форму

игры с элементами переодевания. Доступный посетителю интерактив сводится к возможности найти нужную кнопку и прослушать краткую историческую справку либо к фотографированию в «исторических» интерьерах и костюмах.

Взаимодействие с историей в специализированном игровом зале «Семейное древо Романовых» выглядит наиболее продуманным – посетителю предлагается пройти квест с выбором нескольких маршрутов. Однако на практике оно оказывается неосуществимым в силу технических неисправностей. Подобное разочарование ожидает посетителя и при встрече с экспонатом «Ладья» на выставке «Рюриковичи» – в течение нескольких посещений парка мне так и не удалось увидеть его функционирующим.

Зал «Инстаграм Романовых» в этом контексте оказывается единственной задумкой организаторов, полностью соответствующей на практике своей концепции – взаимодействие с прошлым в нем ограничено возможностью поставить «лайк» отдельным картинам, прекрасно выполняя возложенную на него роль модернизации истории / архаизации современности, соединяя в себе новые медиа с медиумами прошлого.

Описанные выше залы показывают нам взгляд «посетителя Диснейленда / фестиваля исторической реконструкции». Есть, однако, еще два модуля взаимодействия с историей, которые раскрываются в отдельных интерактивных экспонатах, распределенных по основным залам исторического парка:

- взгляд преобразователя государства: посетителю предлагается почувствовать себя на месте князя или воеводы, принимающего решения; построить ЛЭП на карте России при помощи кубиков и тем самым «электрифицировать» страну; попробовать наиболее эффективно изменить природный ландшафт; наконец – принять участие в референдуме 1991 г. (параллельно показываются результаты «тогда» и «сегодня»);

- взгляд ностальгирующего субъекта (особенно заметный в последней экспозиции): посетитель может получить «советское» имя; «потрогать» предметы «советского» быта на столе; походить по «советской» улице; оказаться в «советской» квартире разных десятилетий.

При помощи описанных модулей взаимодействия с экспонатами выставки формируют субъекта, которому интересно и важно эмоционально идентифицироваться с властными инстанциями,

некритически воспринимающего историю и вовлеченного в перформанс «реставрационной» ностальгии [Войт, 2001]. Этот субъект существовал в пространстве исторического парка и до произошедших изменений, однако его приобщение к российской истории напоминало не игровой квест, но паломничество по ее святым местам. Эстетически значимым для подобного субъекта являлся религиозный дискурс и связанные с ним аффекты, возникающие на историческом маршруте, проходящем от Херсонеса до «русской Голгофы».

Секуляризация исторического маршрута

Если изменения, произошедшие с центральным залом «Романовых», поднимают вопрос о роли новых медиумов и позиции зрителя, то трансформация центральных залов других двух выставок отражает сдвиг в отношении к церковному дискурсу, который до реконструкции играл главную роль в экспозиции «Рюриковичей» и серьезно влиял на эстетику выставки, посвященной первой половине XX в.

Все перечисленные выше элементы православной символики «Рюриковичей» полностью исчезли из обновленной экспозиции, что подтверждает первоначальную гипотезу. Однако изменения не только затронули эстетический уровень исторического нарратива, но и «вырезали» из него центральный содержательный фрагмент: зал, посвященный Сергию Радонежскому. До реконструкции в огромном зале-куполе было представлено не только житие преподобного, но и исчерпывающая информация энциклопедического характера обо всех монастырях и святых, существующих на данный момент в России. После реконструкции весь этот массив информации просто исчез; историю святого организаторы убирать не стали, но вместо центрального смыслообразующего элемента экспозиции она превратилась в незначительное отступление от основного рассказа. Неизменными остались только проекции на куполе, имитирующие попеременно своды храма, небо, космос или вершины деревьев, – и это пространство теперь официально называется «комнатой отдыха».

Центральный зал выставки, посвященной XX в., также превратился в «комнату отдыха», на этот раз – наполненную интерак-

тивными викторинами. До реконструкции это пространство являлось залом «Народ» и играло роль главной символической доминанты экспозиции. В этом зале организаторы выставок при помощи избранных высказываний различных исторических деятелей давали своего рода функционалистское определение того, чем является «народ»: это ресурс для преодоления кризисных моментов, помогающий государству всегда возвращаться на правильный исторический путь. Этому образу сопутствовала идея русского мессианства – избранности и жертвенности, приписываемых русскому народу. Важной особенностью «народа» являлась также его отверженность православной вере – благодаря ей оказывалась возможной инклюзивность этого понятия, отраженная в одной из цитат выставки «Рюриковичи»:

В Москву переселялись и иноземцы, и даже татары приходили на поселение не врагами, не господами, а принимали крещение и становились русскими.

Николай Костомаров, историк

После реконструкции исторического парка раздел «Народ» не исчез, но уменьшился в размерах и стал проходным отрезком пути перед залом отдыха. Кроме того, «народ» оказался локализован в более четких хронологических рамках за счет включения в экспозицию интерактивных книг, рассказывающих о солдатских медальонах и поисковом движении, а также соседства с кинозалом «Народ-победитель». Эти перемены имели важные последствия на символическом уровне: на месте безликой сакрализации народа как массы и пантеона «великих людей» возникли реальные имена фронтовиков, погибших в Великой Отечественной войне.

Сходные символические изменения претерпела и темная страница истории Русской православной церкви – зал «Гонения на церковь», обозначавшийся ранее как «Русская Голгофа» и предшествовавший главному залу выставки. Смена названия («Гонения на религии») и отказ от оформления в багровых тонах сгладили прежний пафос, сместив акцент с трагедии православных мучеников на трагедию «народа-победителя» из соседнего зала.

Здесь также необходимо отметить, что именно зал «Гонения на церковь» являлся в буквальном смысле связующим звеном между контекстом возникновения исторических парков и символическим кодом их экспозиций. Изначально проект «Россия – моя история» не был задуман как институция по производству репрезентации

государственной исторической политики (чем, безусловно, можно назвать исторические парки в настоящее время). Экспозиции проекта возникли в рамках серии церковно-общественных мероприятий – выставок-форумов «Православная Русь». Официальный портал исторических парков «Россия – моя история» умалчивает о том, что в действительности проект может отсчитывать свое существование с 2011 г. – именно тогда в Манеже была создана «первая мультимедийная экспозиция, заложившая основу проекта Исторические парки “Россия – моя история”»¹. Выставка имела название «Русская Православная Церковь – итоги двадцатилетия: 1991–2011 гг.», но по факту содержание ее экспозиции выходило далеко за рамки обозначенного исторического периода. Именно здесь берут начало многие технические и эстетические решения, использовавшиеся потом в следующих выставках: купол-проекция, оформление некоторых интерактивных экранов, специфическое освещение. Один из элементов этой экспозиции был в 2017 г. перенесен в исторический парк *практически без изменений* – это галерея «Новомученики и исповедники Российские, прославленные Церковью за последние 20 лет», превратившаяся в зал «Гонения на церковь» выставки «1914–1945: от великих потрясений к Великой Победе».

Отказ от изначально присутствовавшей в экспозициях флагманского исторического парка религиозной символики, а также переход от концепции исторического маршрута как паломничества к маршруту-игре обозначили разрыв с «церковным» этапом существования проекта и смену вектора его дальнейшего развития. Реконструкция павильона в Москве стала неизбежным шагом в этом процессе, инициированном институциональными изменениями, которые коснулись проекта «Россия – моя история» в 2018 г.

«Россия – моя история» ver. 2.0: перезагрузка

Институциональные изменения, произошедшие в 2018 г., связаны с событием, которое можно охарактеризовать как переход контроля над историческими парками к новому политическому

¹ Официальный портал выставок-форумов «Православная Русь». – Режим доступа: <http://pravoslav-expo.ru/> (дата посещения: 09.01.2020.)

актору. Как уже было отмечено, первоначально проект «Россия – моя история» был связан с деятельностью РПЦ. Несмотря на то что его инициаторами официально являлись Патриарший совет по культуре и Правительство Москвы, в ряде российских СМИ сложился консенсус относительно фигуры главного идеолога проекта – им был назван митрополит Псковский и Порховской Тихон (Шевкунов)¹, за которым давно закрепились слава интерпретатора российской истории [Морозов, 2014].

Отец Тихон является председателем экспертного совета организации, созданной в 2013 г. и взявшей на себя роль оператора исторических парков – «Фонда гуманитарных проектов»². Глава фонда, бывший главный юрисконсульт Газпрома Иван Есин, по совместительству руководит компанией «Смарт-групп», которая была подрядчиком всех выставок³. В число спонсоров проекта входят «Норникель», «Газпром» и предприниматель Константин Малофеев.

Несмотря на наличие перечисленных организаторов, инициаторов и идеологов наиболее серьезное влияние на процессы, происходящие вокруг проекта, оказала другая институция – Российское военно-историческое общество [Казьмина, 2020]. РВИО с самого начала принимало участие в организации выставок проекта; после нескольких совместных инициатив ФГП и РВИО в апреле 2018 г. подписали соглашение о сотрудничестве, которое в пресс-релизе последней организации было обозначено как «новый этап развития проекта»⁴.

¹ Светова З. «Сечин в рясе». Как Тихон Шевкунов стал главным идеологом российской реакции // Ахилла. – М., 2017. – 29 декабря. – Режим доступа: <https://ahilla.ru/sechin-v-ryase-kak-tihon-shevkunov-stal-glavnym-ideologom-rossijskoj-reaktsii/> (дата посещения: 20.02.2020.); Сотников Д. Архипелаг Шевкунова: как «духовник Путина» строит патриотические центры по всей стране // «Дождь». – М., 2017. – 20 ноября. – Режим доступа: https://tvrain.ru/articles/gazprom_i_tihon-450410/ (дата посещения: 20.12.2019.)

² Сайт Фонда гуманитарных проектов. – Режим доступа: <http://www.expohistory.ru> (дата посещения: 20.12.2019.)

³ Что такое Фонд гуманитарных проектов // Коммерсантъ Власть. – М., 2017. – 11 февраля, № 5. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3214624> (дата посещения: 20.12.2019.)

⁴ Россия – моя история: новый этап развития // Российское военно-историческое общество. – М., 2018. – 23 апреля. – Режим доступа: <https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-4847> (дата посещения: 20.12.2019.)

Последовавшие за этим соглашением события позволяют говорить о фактическом переходе управления историческими парками к РВИО. В июне 2018 г. рамках XX Международного фестиваля «Интермузей» обсуждалась новая доктрина проекта «Россия – моя история»¹, а через три месяца РВИО представило пятилетний план его развития².

Ближайшее будущее проекта можно в целом охарактеризовать как постепенную институционализацию исторических парков в качестве участника российского музейного сообщества, которая будет производиться в рамках реализации нацпроекта «Культура». Об этом говорит планируемое РОСИЗО участие площадок проекта в проведении временных экспозиций картин из федеральных собраний³. Прошедшие в 2018 и 2019 гг. в «Манеже» выставки проекта, приуроченные ко Дню народного единства, полностью соответствуют выбранному РВИО и РОСИЗО вектору, направленному на усиление межрегионального музейного сотрудничества. Реконструкция исторического парка на ВДНХ также вписывается в этот процесс: благодаря произошедшей реорганизации пространства в павильоне появилось два новых зала, предназначенных для проведения масштабных мероприятий и временных выставок.

Роль РВИО и лично Владимира Мединского как инициаторов изменения концептуальной парадигмы основной экспозиции исторического парка в Москве подчеркивается их участием в ряде событий, связанных с попытками создания схожих масштабных проектов популяризации российской истории – своего рода «двойников» исторических парков.

Определение обновленного 57 павильона ВДНХ как «исторического Диснейленда» было выбрано мной не случайно: это сравнение отсылает к концепции французского парка «Puy du

¹ Москва. Установочный семинар с руководителями парков «Россия – моя история» // Российское военно-историческое общество. – М., 2018. – 28 мая. – Режим доступа: <https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5007> (дата посещения: 20.12.2019.)

² Форум проекта «Россия – моя история» стартует в Ставрополе // Российское военно-историческое общество. – М., 2018. – 26 сентября. – Режим доступа: <https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5457> (дата посещения: 20.12.2019.)

³ Новый директор РОСИЗО Софья Грачева планирует усилить межрегиональные проекты // Артгид. – М., 2018. – 7 декабря. – Режим доступа: <http://artguide.com/news/6076> (дата посещения: 20.12.2019.)

Fou», аналоги которого предлагалось создать в Крыму и Подмосковье¹. Впервые словосочетание «исторический парк» в российском контексте появилось именно в связи с этим проектом, получившим название историко-патриотического парка развлечений «Царьград». Реализация проекта была объявлена компанией PuyduFou International SAS и предпринимателем Константином Малофеевым в июле 2014 г. Малофеев охарактеризовал будущий проект как «не просто парк развлечений, а настоящий учебник истории под открытым небом»². При подписании соглашения между сторонами присутствовал Владимир Мединский, сообщивший прессе о заинтересованности Министерства культуры в создании историко-патриотического парка и отметивший его не только развлекательную, но и образовательную функцию³. Проекты должны были быть завершены в 2017 (Подмосковье) и 2018 (Крым) гг., однако в ноябре 2017 г. появилась информация о ликвидации Константином Малофеевым компании, занимавшейся реализацией исторических парков развлечений. Причиной стал уход французских инвесторов, связанный с введением Францией санкций в отношении Крыма и лично Константина Малофеева⁴. Стоит отметить иронию ситуации: планы на создание парка в Крыму изначально носили нескрываемый политический подтекст, так как должны были доказать возможность ведения бизнеса на полуострове в ситуации конфликта с Украиной.

Более удачным «двойником» проекта «Россия – моя история» можно назвать Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»⁵, открытый Вооруженными силами РФ в июне

¹ Коновалов А. В Крыму построят парк развлечений за 4 млрд руб. // ТАСС. – М., 2014. – 15 августа. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/1382472> (дата посещения: 20.12.2019.)

² Тематический парк Puy du Fou был награжден престижной премией и теперь работает над созданием российского аналога // RUS Новости. – М., 2014. – 20 ноября. – Режим доступа: <http://rus-novosti.net/28430-tematicheskij-park-puy-du-fou-by-l-nagrazhden-prestizhnoj-premiej-i-teper-rabotaet-nad-sozdaniem-rossijskogo-analoga.html> (дата посещения: 20.12.2019.)

³ Коновалов А. Указ соч.

⁴ Макарова Е., Новый В. «Царьград» уходит в историю // Коммерсантъ. – М., 2017. – 22 ноября, № 217. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3474384> (дата посещения: 20.12.2019.)

⁵ Сайт парка «Патриот». – Режим доступа: <http://patriotp.ru/about/general-information/> (дата посещения: 20.12.2019.)

2015 г. В парке часто проводятся исторические реконструкции под руководством РВЮО: например, в 2017 г. здесь было инсценировано «взятие» специально сооруженной копии берлинского Рейхстага¹. Сходство проектов подчеркивается не только их историко-патриотической направленностью, но и тем фактом, что парки «Патриот» практически сразу начали создаваться в регионах России² – еще до того, как эта идея возникла в отношении исторических парков «Россия – моя история». В июле 2019 г. стало известно о плане создания на территории парка центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», а также о строительстве главного храма Вооруженных сил России, который должен открыться 9 мая 2020 г. – в день 75-летия Победы³. На прихрамовой территории будет действовать мультимедийная галерея «Дорога памяти» – своего рода виртуальный «Бессмертный полк», состоящий из множества фотографий фронтовиков и тружеников тыла. В создании мультимедийной «Дороги памяти» может принять участие любой желающий – для этого достаточно зайти на сайт проекта⁴ и загрузить фотографию своего родственника.

Заключение

Проведенный анализ показал, что ключевой особенностью динамики развития проекта «Россия – моя история» является тесная связь между переменами, относящимися к вовлеченности различных политических институций в процесс создания и трансфор-

¹ Реконструкцию взятия Берлина в парке «Патриот» посетили более 7 тыс. человек // ТАСС. – М., 2017. – 23 апреля. – Режим доступа: <https://tass.ru/armiya-i-oprk/4204837> (дата посещения: 20.12.2019.)

² Минобороны задумалось о создании в регионах парков «Патриот» // Интерфакс. – М., 2015. – 19 июня. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/russia/448459> (дата посещения: 20.12.2019.)

³ Шойгу дал старт строительству молодежного центра «Авангард» // Известия.ру. – М., 2019. – 10 сентября. – Режим доступа: <https://iz.ru/920036/2019-09-10/shoigu-dal-start-stroitelstvu-molodezhnogo-tcentra-avangard> (дата посещения: 20.12.2019.)

⁴ Сайт проекта «Дорога памяти». – Режим доступа: <https://foto.pamyat-naroda.ru/> (дата посещения: 09.01.2020.)

мации исторических парков, и сдвигами, происходящими на символическом уровне конструирования исторического нарратива.

Реконструкция исторического парка обозначила уход от эстетики и символического кода церковного дискурса, который совпал с выходом исторических парков из исключительной зоны ответственности РПЦ. Появление в обновленной экспозиции элементов, напоминающих игру в «историческую реконструкцию», а также смещение акцентов выставки, посвященной XX в., в сторону героизации подвига «простого человека», пришедшее на смену эсхатологическим настроениям и жертве православного народа, отсылают к практикам и эстетике, характерным для деятельности РВАО, взявшего на себя весной 2018 г. контроль над стратегией развития исторических парков.

Отдельно стоит отметить двойную роль Владимира Мединского в изменении концепции исторических парков – он выступал и как председатель РВАО, и как министр культуры РФ: об этом свидетельствует коллаборация РОСИЗО и исторических парков в рамках нацпроекта «Культура». Особенности реализации последнего¹ дают повод говорить о начале слияния функций патриотического воспитания и культурного образования в единую систему – и можно ожидать, что проект «Россия – моя история» будет играть значимую роль в этом процессе.

Список литературы

- Казьмина В. Исторические парки «Россия – моя история» как отражение трансформаций институционального измерения российской политики памяти // Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. – С. 248–270.
- Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / перевод с английского В.Г. Николаева. – М.: Гиперборей: Кучково поле, 2007. – 464 с.
- Морозов О. Легенды и мифы российской истории: историческая политика руководства Русской православной церкви в начале XXI в. // Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А.В. Малащенко, С.Б. Филатова. – М.: РОССПЭН, 2014. – С. 255–322.

¹ Минкультуры призвало регионы создавать патриотичные экспозиции в музеях // ТАСС. – М., 2019. – 27 февраля. – Режим доступа: <https://tass.ru/kultura/6162535> (дата посещения: 20.12.2019.)

- Yaym X.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной, В.В. Харитонов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с.
- Boym S.* The future of nostalgia. – N.Y.: Basic Books, 2001. – 404 p.
- Brandenberger D., Platt K.* Terribly romantic, terribly progressive, or terribly tragic: rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin // The Russian review. – 1999. – Vol. 58, N 4. – P. 635–654. – DOI: <https://doi.org/10.1111/0036-0341.00098>
- Hall S.* Encoding and decoding in the television discourse: Paper for the Council of Europe Colloquy on «Training in the critical reading of televisual language», organized by the Council and the Centre for mass communication research, University of Leicester. – Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies, 1973. – 20 p.
- Slater W.* The many deaths of Tsar Nicholas II. Relics, remains and the Romanovs. – London: Routledge, 2007. – 194 p.
- White H.* Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century Europe. – Baltimore: The Johns Hopkins university press, 1973. – 448 p.
- White H.* The Content of the form: narrative discourse and historical representation. – Baltimore: The Johns Hopkins university press, 1987. – 244 p.

V.P. Kazmina*

Reconstruction of the Historical Park «Russia – My History»: Changes of Symbolic Politics?

Abstract. The author analyzes the development of the multimedia project «Russia – my history» using the example of Moscow historical park that was reconstructed in 2018. The research compares the ways of the historical narrative mediation (before and after the reconstruction of the exhibition pavilion) through the lenses of the theoretical approaches developed by H. White, M. McLuhan and S. Hall. The changes that took place in the expositions not only marked the beginning of a new life of the project's exhibitions, but also clearly reflected the mechanisms of interaction between the institutional and symbolic levels of historical politics in modern Russia.

Key words: historical park; historical narrative; ROC; Russian Military Historical Society (RMHS); nation; historical reenactment; historical politics.

For citation: Kazmina P. Reconstruction of the Historical Park «Russia – My History»: Changes of Symbolic Politics? *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 143–162. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.07>

References

- Boym S. *The Future of Nostalgia*. New York: Basic Books, 2001, 404 p.

* Kazmina Victoria, MA in Cultural studies, e-mail: aoria.aoria@gmail.com

- Brandenberger D., Platt K. Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin. *The Russian Review*. 1999, Vol. 58, N, 4, P. 635–654. DOI: <https://doi.org/10.1111/0036-0341.00098>
- Hall S. *Encoding and Decoding in the Television Discourse*: Paper for the Council of Europe Colloquy on «Training in the Critical Reading of Televisual Language», Organized by the Council and the Centre for Mass Communication Research, University of Leicester. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies, 1973, 20 p.
- Kazmina V. Historical Parks «Russia – My History» as a Reflection of Transformations of the Institutional Dimension of the Russian Memory Policy. In: Miller A., Efremenko D. (eds.) *Politics of memory in modern Russia and Eastern Europe. Actors, institutions, narratives*. Saint Petersburg: Publishing house of the European University in St. Petersburg, 2020, P. 248–270. (In Russ.)
- McLuhan M. *Understanding media: the extensions of man*. Moscow: Hiperboreja; Kuchkovo field, 2007, 464 p. (In Russ.)
- Morozov O. Legends and myths of Russian History: the historical policy of the leadership of the Russian Orthodox church in the early XXI Century. In: Malashenko A.V., Filatov S. (eds.) *Installation and dismantling of the secular world*. Moscow: ROSSPEN, 2014, P. 255–322. (In Russ.)
- Slater W. *The many deaths of Tsar Nicholas II. Relics, remains and the Romanovs*. London: Routledge, 2007, 194 p.
- White H. *Metahistory: The Historical imagination in nineteenth-century Europe*. Yekaterinburg: Publishing house of the Ural university, 2002, 528 p. (In Russ.)
- White H. *The content of the form: Narrative discourse and historical representation*. Baltimore: The Johns Hopkins university press, 1987, 244 p.
- White H. *Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins university press, 1973, 448 p.

Е.А. ХУДОРЕНКО*

**ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ**

Аннотация. В статье проводится анализ одного из инструментов мягкой силы, способного обеспечить продвижение внешнеполитических интересов Российской Федерации и интеграционных процессов в Евразийском регионе – русского языка, который, по мнению автора, с одной стороны, является надежной цементирующей основой Евразийского экономического союза, а с другой – условием сохранения и упрочения стабильного геополитического положения России в регионе.

Автор исследует тенденции языковой политики России, проводимой с 2000-х годов, анализирует существующие проблемы продвижения русского языка за рубежом, среди которых: сокращение географии применения русского языка в международном пространстве, изменение его статуса и количества русскоязычного населения на постсоветском пространстве. В качестве примера для исследования положения русского языка в Евразийском регионе рассматривается Республика Казахстан как страна, в которой на момент распада СССР русский язык был вторым по числу носителей языка и первым по владению и уровню распространения среди всех государств постсоветского пространства. Автор указывает на существующие недостатки в сохранении и укреплении позиций языка за рубежом, дает оценку языковой политики России в ближайшем зарубежье и предлагает комплекс рекомендаций по ее совершенствованию и усилению значимости русского языка в международном социальном, гуманитарном и политическом пространстве.

* Худоренко Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений и интеграционных процессов, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия), e-mail: khudorenko@gmail.com

Ключевые слова: евразийская интеграция; внешняя политика России; инструменты мягкой силы; продвижение русского языка; соотечественники за рубежом; меры по укреплению русского языка; усиление интеграционных процессов.

Для цитирования: Худоренко Е.А. Языковая политика России в контексте евразийской интеграции // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 163–182. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.08>

Введение

Джозеф Най, который во второй половине 80-х годов прошлого столетия ввел в научный оборот термин «мягкая сила», понимал под ней способность получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а не принуждения или использования финансовых ресурсов [Нye, 2004, p. 14–17].

Безусловно, понятие «мягкой силы» видоизменялось, совершенствовалось, но понимание того, что в ее основе лежит привлекательность, основанная на высоких достижениях в различных сферах деятельности человека, осталось неизменным. В качестве таких сфер могут выступать: образование, культура, спорт, бизнес и прочие атрибуты повседневной жизни современных государств.

Особенно это важно для полноценного развития интеграционных процессов, проходящих в разных частях земного шара. Более того, сутью любой интеграции является стремление к объединению всего самого лучшего, что есть в странах, желание поделиться этим с государствам-партнерами, объединить усилия в общем развитии для достижения оптимальных результатов. Не являются исключением и интеграционные процессы, проходящие в Евразийском регионе, конечным результатом которых в 2015 г. стало создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Создание Союза явилось закономерным следствием внешней политики Российской Федерации в регионе, от качества которой напрямую зависят интеграционная глубина и успешность интеграции в целом [Лебедева, Харкевич, 2014, с. 10–13]. Вместе с тем трудно переоценить значимость ЕАЭС и для развития самого российского государства в условиях геополитической турбулентности, информационных и торговых войн.

Интеграция является сложным и длительным процессом, в котором позитивные тенденции зачастую сменяются негативными, а движение вперед сопровождается объективными трудностями. С одной стороны, интеграционные процессы в регионе сопровождаются дезинтеграционными, а с другой – на результативность интеграции влияют перепады темпов роста глобальной экономики, неблагоприятная международная обстановка, рост и расширение санкций, неприятие интересов России со стороны стран Запада.

Данный контекст требует ответственного подхода к выбору инструментов внешней политики, способных придать необходимое ускорение интеграционным процессам. Определяющее значение здесь принадлежит русскому языку. «Русский язык является нашим уникальным достоянием, которым мы гордимся и которое должны беречь», – убежден президент страны В.В. Путин¹. Именно язык является фактором, в значительной степени обеспечивающим не только сохранение единого социокультурного постсоветского пространства, но и индикатором, а также средством активизации интеграционного процесса [Егоров, Штоль, 2017].

На его чрезвычайную значимость в объединительных тенденциях в регионе указывает то, что в состав Евразийского экономического союза вошли те государства постсоветского пространства, которые отличались традиционно высоким уровнем распространения русского языка и удельным весом русского населения². Исключением является Армения, но и в ней, по мнению специалистов, до 70% населения (около 2,5 млн человек) владеют русским языком на коммуникативном уровне, а 35% людей старшего возраста имеют хорошие навыки владения русским языком [Мариносян, Куровская, 2017, с. 114].

¹ Путин отметил роль русского языка в объединении нации // РИА Новости. – 2018. – 10 октября. – Режим доступа: <https://ria.ru/20181012/1530503061.html> (дата посещения: 18.10.2019.)

² Шустов А. Арел русского языка в мире сокращается // Евразия Эксперт. – 2017. – 22 марта. – Режим доступа: <http://eurasia.expert/areal-russkogo-yazyka-v-mire-sokrashchaetsya/> (дата посещения: 21.10.2019.)

Языковая политика России в ближнем зарубежье

Правовой базой языковой политики России за рубежом являются Конституция РФ, Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», Концепция внешней политики, «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», указ Президента «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации», «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», нормы и принципы международного права, международные договоры и нормативные правовые акты России, регулирующие деятельность федеральных органов государственной власти в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Впервые о роли русского языка за рубежом в качестве инструмента мягкой силы во внешней политике России было заявлено в 2010 г. в специальном приложении к Концепции внешней политики РФ от 2008 г. «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества»¹. В документе указывалось на «специфические формы и методы воздействия на общественное мнение», работающие «на укрепление международного авторитета страны». В качестве средств внешней политики, использующих мягкую силу, выступали: поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов Российской Федерации, экспорт российских образовательных услуг, расширение объемов подготовки иностранных специалистов в российских образовательных учреждениях, поддержка изучения русского языка за рубежом, подготовка иностранных преподавателей-русистов, системная работа с иностранными выпускниками российских вузов, развитие молодежных обменов и др. [Арская, 2017, с. 142].

Органы законодательной власти РФ видят в русском языке потенциал надежной цементирующей основы Евразийского экономического союза. В итоговой резолюции парламентских слуша-

¹ Приложение № 1 к Концепции внешней политики РФ от 2008 г. / МИД РФ. – 2010. – 18 декабря. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/217418 (дата посещения: 21.10.2019.)

ний «О гуманитарном векторе международной политики Российской Федерации на современном этапе», проведенных Комитетом Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 24.04.2019 г., заявлено, что русский язык и российское образование являются одними из основных инструментов продвижения внешнеполитических интересов Российской Федерации.

В 2007 г. для популяризации и поддержки программ изучения русского языка за рубежом был создан фонд «Русский мир». В 2014 г. – Совет по русскому языку при Президенте Российской Федерации. В задачи Совета входят: защита и поддержка русского языка за рубежом, укрепление его позиций в мире, расширение географии и сфер применения, а также поддержка русскоязычных сообществ за рубежом¹. В этом же году при государственном университете имени Пушкина был создан портал по русскому языку «Образование на русском», на котором все желающие иноязычные граждане могли бесплатно в открытом доступе изучать русский язык. С целью поддержки и продвижения за рубежом общего образования на русском языке как фактора гуманитарного и политического влияния России в мировом сообществе в 2015 г. принята концепция «Русская школа за рубежом».

Большое значение в осуществлении языковой политики России за рубежом принадлежит федеральным целевым программам «Русский язык». Так, одной из задач программы 2011–2015 гг. стала поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах – участниках СНГ, а одним из важнейших целевых индикаторов – количество государств – участников СНГ, в которых более 20% населения владеет русским языком². Логическим продолжением работы по поддержке русского языка в Программе на 2016–2020 гг. стали мероприятия по совершенствованию условий для укрепления и расширения русского

¹ Положение о Совете по русскому языку при Президенте Российской Федерации // Президент России. – 2014. – 9 июня. – Режим доступа <http://kremlin.ru/structure/councils#institution-40> (дата посещения: 24.10.2019.)

² О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2012 № 281). – 2012. – 51 с.

культурного, языкового и образовательного пространства в государствах-членах¹.

Согласно стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г., перед Россией ставится задача по увеличению количества российских культурных центров, популяризации российской культуры в ближнем и дальнем зарубежье, созданию центров изучения русского языка за рубежом².

Проблемы русского языка в контексте евразийской интеграции

Как видим, для сохранения и продвижения русского языка за рубежом сделано немало. Между тем несмотря на целый комплекс проводимых и уже проведенных мероприятий, положение русского языка за пределами России далеко до совершенства. Рассмотрим основные проблемы русского языка за рубежом.

1. Сокращение географии применения русского языка в международном пространстве.

«К сожалению, нам не удалось остановить тенденцию сужения ареала русского языка в мире», – считает спикер верхней палаты парламента В. Матвиенко. С конца прошлого века, по ее мнению, численность людей, владеющих русским языком, сократилась в мире на несколько десятков миллионов³.

Данная тенденция является одной из самых серьезных, имеющих далеко идущие негативные последствия для российского государства как в плане продвижения языка за рубежом, так и в плане сохранения геополитического влияния России в мировом

¹ Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы // Россотрудничество. – 2014. – 20 декабря. – Режим доступа: <http://rs.gov.ru/uploads/document/file/13/fcp2016.pdf> (дата посещения: 23.10.2019.)

² Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Законодательство России. – 2018. – 6 декабря. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949> (дата посещения: 22.10.2019.)

³ Матвиенко обеспокоена сокращением числа русскоговорящих в мире // Sputnik. Таджикистан. – 2017. – 2 марта. – Режим доступа: <https://ru.sputnik-tj.com/world/20170302/1021798122/russskiy-jazyk-matvienko-pasprostranenie.html> (дата посещения: 11.10.2019.)

пространстве. К сожалению, коснулась она и территории Евразии. На IX Международной Ялтинской конференции журнала «Международная жизнь», прошедшей в марте 2019 г., было подчеркнуто, что во всех странах бывшего СССР на протяжении последних лет идет сужение ареала изучения русского языка и ареала его употребления¹.

Как следствие, происходит снижение количества русскоязычных школ. Оно началось еще в 1990-х годах и продолжается до сих пор. Так, вместо 20 тыс. русскоязычных школ в 1990-х годах на постсоветском пространстве в 2016 г. действовало только около 7 тыс. Пропорционально сокращению количества школ уменьшается и количество детей, изучающих русский язык, – более чем на 2 млн человек, опустившись до цифры в 3,1 млн [Немчинова, Музалев, 2016, с. 52–57]. Отрицательная динамика в отношении количества русскоязычных школ одновременно с сокращением количества русскоговорящего населения, а также преподавания на русском языке, да, собственно, и преподавания русского языка в школах ведет к уменьшению владеющих русским языком, количество которых в ближнем зарубежье с 1990-х годов сократилось вдвое².

Если рассматривать этот процесс с исторических позиций, то вторая половина XX в. была периодом наиболее широкого распространения русского языка и русской культуры во всем мире. Русский язык был одним из ведущих мировых языков, используемых во всех крупнейших международных организациях. Общее количество владевших русским языком к концу 1980-х годов составляло 350 млн человек [Арефьев, 2006] (по другим оценкам – 500 млн человек [Виноградов, 1974, с. 23]). В настоящее время, согласно данным 22-го издания Ethnologue, справочника по языкам мира, самым распространенным в мире языком по количеству

¹ IX Международная Ялтинская конференция журнала «Международная жизнь». – 2019. – 20 марта. – Режим доступа: <https://interaffairs.ru/news/show/21966> (дата посещения: 14.10.2019.)

² Дудина Г. «Русский язык сохранится там, где будет экономическая выгода» // Коммерсантъ. – 2019. – 08 июня. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3997629?query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA> (дата посещения: 21.10.2019.)

его носителей является китайский, а самым распространенным по количеству говорящих на нем – английский¹.

В настоящее время русский язык по показателям распространенности находится на 8-м месте², на которое он перемещался с верхних строчек рейтингов из года в год (в 2011 г. он занимал 3-е место после китайского и английского [Пьянов, 2011, с. 55–59]). Арефьев Л. подчеркивает, что русский язык – единственный из 10–12 ведущих мировых языков, который на протяжении последних лет утрачивал свои позиции во всех основных регионах мира [Арефьев, 2014, с. 37].

Таким образом, несмотря на то что русский язык входит в 10 самых распространенных и влиятельных языков мира, начиная с 1990-х годов он постепенно теряет свое влияние, что не может не сказаться не только на сужении ареала его использования, но и на социокультурных, геополитических и интеграционных интересах России в международном и евразийском пространстве.

2. Снижение правового статуса русского языка в странах ближнего зарубежья.

Среди множества проблем, с которыми сталкивается русский язык за рубежом, на первый план выходит ситуация о его статусе в странах ближнего зарубежья, убеждена Э. Митрофанова, подчеркивая далее, что развитие и правовое закрепление определенного статуса русского языка в конституциях и практике наших соседей – это наша первоочередная задача³.

И действительно, анализ законодательства государств на постсоветском пространстве свидетельствует о снижении роли и значения русского языка во многих странах бывшего СССР [Муталиева, Рыбакова, Меньшикова, 2016, с. 265–268]. «Русский язык

¹ What are the top 200 most spoken languages? / Eberhard David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds) // Ethnologue: Languages of the World. – Twenty-second edition. – Dallas, Texas: SIL International, 2019. – Mode of access: <https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200> (accessed: 13.10.2019.)

² What is the most spoken language? / Eberhard David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds) // Ethnologue: Languages of the World. – Twenty-second edition. – Dallas, Texas: SIL International, 2019. – Mode of access: <https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages> (accessed: 13.10.2019.)

³ МИД РФ: русскому языку в странах ближнего зарубежья необходимо придать правовой статус // ТАСС. – 2016. – 17 ноября. – Режим доступа: <https://tass.ru/politika/3791361> (дата посещения: 14.10.2019.)

сегодня становится объектом дискриминации: законы, принятые в некоторых иностранных государствах, фактически направлены на его вытеснение из всех сфер жизни общества», – отмечено в резолюции V Международного гуманитарного Ливадийского форума, прошедшего в июне 2019 г.¹

К настоящему времени среди стран СНГ русский язык признан государственным языком в России и Белоруссии. В Киргизии и Казахстане русский язык является официальным. В Грузии, Азербайджане, Молдавии, Туркменистане и Узбекистане статус русского языка не закреплён. В Молдавии и Таджикистане русский язык является языком межнационального общения. В соответствии с Конституцией Украины русский язык обладает статусом языка национального меньшинства. В Армении, Латвии и Эстонии русский язык признаётся иностранным языком на территории этих государств. И, наконец, в Литве статус русского языка законодательно не определён. Общей тенденцией для постсоветских стран, кроме Беларуси и России, является практически повсеместное вытеснение русского языка из общественно-политической, научной и образовательной сферы, а также из сферы межэтнических коммуникаций при одновременном интенсивном развитии и расширении сфер использования государственного языка [Сейдуманова, 2019, с. 85–93].

Рассмотрим эту тенденцию на примере Казахстана как страны, в которой русский язык был вторым по числу носителей и первым – по владению и уровню распространения среди государств постсоветского пространства. Языковая политика Казахстана основывается на двух основополагающих документах: Конституции и Законе «О языках в Республике Казахстан». Согласно статье 4 Закона о языках государственным языком Республики Казахстан является казахский язык. В статье 5 прописано, что «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык»². Таким образом, принято считать, что

¹ Резолюция V Международного гуманитарного Ливадийского форума // V Международный гуманитарный Ливадийский форум. – 2019 – 5 июня. – Режим доступа: <http://council.gov.ru/media/files/hbWmgVt872u3PAFDGJZLDmD5bsLEIaaP.pdf> (дата посещения: 15.09.2019.)

² Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-І «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) //

русский язык имеет в Казахстане статус официального. Однако по сути, утверждает эксперт информационно-аналитического центра Лаборатории общественно-политического развития стран ближнего зарубежья Ж. Тулиндинова, точное правовое содержание статуса русского языка в Законе не определено¹. Закон «О языках в РК», по мнению эксперта, содержит ряд противоречий и фигур речи, создающих условия для двойного толкования, что ведет к недопониманиям, неправильному толкованию и конфликтам.

Так, к примеру, в части делопроизводства, разработки и принятия актов госорганов, судопроизводства и т.д. в соответствующих статьях закона указывается, что приоритет в этих сферах принадлежит государственному языку, однако «при необходимости» может употребляться и русский язык. При этом не уточняется, что имеется в виду под словом «необходимость». Таким образом, вопрос применения русского языка «отдан на откуп чиновникам и позволяет различные трактовки»².

На деле использование русского языка в стране поступательно сокращается практически во всех основных сферах: на государственной службе, телевидении, в печатных и электронных СМИ, в образовании, при трудоустройстве. Одновременно происходит рост значения английского языка. Так, в 2015 г. была разработана «Дорожная карта развития трехязычного образования на 2015–2020 годы». На английском языке, убеждены казахские эксперты, общается весь прогрессивный мир. Это язык науки и технологий, на нем ведется большая часть исследований в экономике и бизнесе. Владение английским языком открывает перед челове-

Параграф. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1008034#pos=43;-247 (дата посещения: 21.09.2019.)

¹ Тулиндинова Ж. Язык до хайпа доведет? В Казахстане обсуждается сфера применения государственного и русского языков / Информационно-аналитический центр Лаборатории общественно-политического развития стран ближнего зарубежья. – 2018. – 23 октября. – Режим доступа: <https://ia-centr.ru/experts/zhanartulindinova/yazyk-do-khaypa-dovedet-v-kazakhstane-obsuzhdaetsya-sfera-primeneniya-gosudarstvennogo-i-russkogo-ya/> (дата посещения: 21.10.2019.)

² Языковые конфликты и «Закон о языках»: пришло время перемен? // 365 info.kz. – 2018. – 27 октября. – Режим доступа: <https://365info.kz/2018/10/yazykovye-konflikty-i-zakon-o-yazykah-prishlo-vremya-peremen> (дата посещения: 11.10.2019.)

ком большие перспективы¹. Цель концепции трехязычия – в более тесной интеграции республики в мировое сообщество при одновременном подъеме науки, экономики и социально-культурной составляющей страны. Посредником же и ключом к предполагаемому успеху республики должен стать английский язык. Внедрение концепции привело к усилению оттока русскоязычных граждан из страны, поставив вопрос о возможности получения качественного образования [Русский исход ..., 2016], так как планируется не только обучение английскому языку, но и преподавание на нем естественно-научных дисциплин. Это достаточно сложно. Тем более что в стране пока не хватает нужного количества преподавателей английского языка, которые, согласно плану, должны овладеть иностранной речью всего за два года!

В этом ключе чрезвычайно позитивным является взгляд нового президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева относительно статусов русского и английского языков в республике. «Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция: во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому»². Таким образом, возможно, в будущем мы увидим глобальные изменения позиций казахского руководства в отношении языковой политики и русского языка в стране.

В 2015 г. в Республике Казахстан был подписан Конституционный Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), цель которого – создание ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Официальным языком казахского финансового центра стал английский язык. Таким образом, впервые на постсоветском пространстве был создан прецедент: введены принципы английского права, управления и нормотворчества. Само по себе это может указывать на изменение

¹ Трехязычие как пропуск в большой мир // Казахстанский новостной портал: nur.kz. – 2019. – 12 сентября. – Режим доступа: <https://www.nur.kz/1618075-trekhyazychie-kak-propusk-v-bolshoy-mir.html> (дата посещения: 11.10.2019.)

² Дипломатический реверанс, или Смещение приоритетов. Зачем Токаев едет в Москву? // Информационно-аналитический центр лаборатории общественно-политического развития стран ближнего зарубежья. – 2019. – 31 марта. – Режим доступа: <https://ia-centr.ru/experts/zhanar-tulindinova/diplomaticheskii-reverans-ili-smeshchenie-prioritetov-zachem-tokaev-edet-v-moskvu/> (дата посещения: 11.10.2019.)

языковых приоритетов и снижение статуса русского языка в республике.

Еще одним важным событием, касающимся языковой политики Казахстана, является переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Примечательно, что наиболее яркими сторонниками скорейшего введения латиницы являются казахские переселенцы – этнические казахи, которые в советские годы эмигрировали в Китай, Турцию и другие страны. В стране проведена масштабная программа репатриации казахов на родину. Большинство переселенцев совершенно не владеют русским языком. Видимо, этим и можно объяснить их желание поскорее перейти на латинский алфавит¹.

Можно по-разному оценивать процесс языковых реформ в Казахстане. В первую очередь не стоит забывать, что это – внутреннее дело страны. Между тем уже имеются примеры того, как подобные инициативы реализовывались в Азербайджане и Узбекистане. В первом случае после введения латиницы был утерян значительный массив технической документации, написанной на кириллице. В Узбекистане до сих пор многие документы дублируются на кириллице, поскольку старшее поколение с трудом адаптируется к новому алфавиту.

Как пройдет языковая реформа в Казахстане, пока неизвестно, но некоторые ее последствия вполне предсказуемы. Так, казахский политолог Султанбек Султангалиев считает, что неизбежным последствием перехода на латиницу может стать усиление чemoданных настроений «русского» населения и рост эмиграции². И действительно, в казахской прессе отмечается, что наибольшее волнение новая языковая политика вызывает у русскоязычного населения севера Казахстана, которое опасается, что вслед за латиницей начнется притеснение русской культуры, отчего у людей

¹ Байназаров Э. В букварном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется // Известия. – 2019. – 16 июля. – Режим доступа: <https://iz.ru/898760/elnar-bainazarov/v-bukvarnom-smysle-perekhod-na-latinitcu-v-kazakhstane-zatianetsia> (дата посещения: 21.10.2019.)

² Панфилова В. Переход Казахстана на латиницу – это сигнал для России // Независимая газета. – 2017. – 13 апреля. – Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_kazakhstan.html (дата посещения: 11.10.2019.)

возникает желание выехать из страны¹. Все это, безусловно, вызывает определенное беспокойство. В целом же, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия языковая ситуация в стране «просто-ранственно и содержательно будет становиться все более мозаичной и неопределенной»². Схожие процессы происходят и в других странах постсоветского пространства.

3. Сокращение русскоязычного населения в ближайшем зарубежье.

Происходящие изменения в сужении ареала и статуса русского языка соответствуют динамике этнодемографических и миграционных процессов, связанных с преимущественным оттоком русскоязычной части населения из стран ближнего зарубежья [Сейдуманова, 2019, с. 85–93]. Данная тенденция характерна и для стран ЕАЭС. Интересно, что на первом месте по миграции стоит Казахстан, страна, с начала распада СССР имевшая наибольшее количество русскоязычного населения на своей территории³. Так, начиная с 1991 г. Казахстан покинули почти 2,5 млн русских. Данная цифра является самой большой для стран постсоветского пространства. Доля русскоговорящего населения в составе населения Казахстана снизилась с 51 до 23,7% на 2015 г.⁴ По прогнозам исследователей, к 2025 г. она достигнет уровня 10% от количества населения страны⁵.

¹ Байназаров Э. В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется // Известия. – 2019. – 16 июля. – Режим доступа: <https://iz.ru/898760/elmar-bainazarov/v-bukvarnom-smysle-perekhod-na-latinitcu-v-kazakhstane-zatianetsia> (дата посещения: 21.10.2019.)

² Будущее Казахстана – за казахско-русским двуязычием? // Central Asia Monitor. – 2019. – 29 марта. – Режим доступа: <https://news-front.info/2019/04/03/budushhee-kazahstana-za-kazahsko-russkim-dvuyazychiem/> (дата посещения: 21.10.2019.)

³ Почти все эмигранты из Казахстана выбирают Россию // Eurasia Daily. – 2019. – 5 марта. – Режим доступа: <https://eadaily.com/ru/news/2019/03/05/pochti-vse-emigranty-iz-kazahstana-vybirayut-rossiyu> (дата посещения: 21.10.2019.)

⁴ Кречетников А. Русские в Казахстане: жить можно, но проблемы есть // Би-би-си. – 2015. – 25 апреля. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150424_kazakhstan_russians (дата посещения: 22.10.2019.)

⁵ Лихачёв М.А. «Великий и могучий» в языковой политике Казахстана // Российский институт стратегических исследований. – 2015. – 26 мая. – Режим доступа: <https://riss.ru/analitics/17172/> (дата обращения: 03.10.19.)

В последние годы вновь отмечается усиление роста миграции населения из республики¹. Согласно статистическим данным, большинство уезжающих – этнические русские².

Ситуация с сокращением русскоязычного населения наблюдается и в других государствах ЕАЭС. Так, по данным Национального статистического комитета Киргизии, в 1979 г. в стране было 25,9% русских, в 1989 г. – 21,5, в 1999 г. – 12,5%. На конец 2015 г. в стране осталось лишь 364 571 русских, или 6,2% от общего количества населения. Русскоязычное население в основном живет в крупных городах: Бишкеке, Оше и Караколе³.

Между тем количество русскоязычного населения способно серьезно влиять на формирование языковой политики в любом государстве там, где оно проживает. Так, исследования, проведенные московским фондом «Наследие Евразии» в 12 постсоветских странах (кроме Туркмении и Узбекистана), показали, что статус русского языка в первую очередь зависит от размера русскоговорящей общины, проживающей в той или иной конкретной стране⁴.

По официальным данным, сегодня в ближнем зарубежье проживают около 17 млн русских и русскоязычных соотечественников. Из них наибольшее количество находится⁵:

- на Украине – около 7 млн,
- в Казахстане – около 5 млн,
- в Белоруссии – более 1 млн,
- в Узбекистане – около 1 млн.

¹ Внешняя миграция населения // Ranking.kz. – 2017. – 16 августа. – Режим доступа: <http://www.ranking.kz/ru/a/reviews/vneshnyaya-migraciya-naseleniya-yanvar-iyun-2017> (дата посещения: 22.10.2019.)

² Почти все эмигранты из Казахстана выбирают Россию // Eurasia Daily. – 2019. – 5 марта. – Режим доступа: <https://easaily.com/ru/news/2019/03/05/pochti-vse-emigranty-iz-kazahstana-vybirayut-rossiyu> (дата посещения: 21.10.2019.)

³ Иващенко Е. Где мой дом родной? Русские в Кыргызстане рассказывают о себе и своей жизни // Фергана. – 2019. – 17 октября. – Режим доступа: <http://www.fergananews.com/articles/9018> (дата посещения: 22.10.2019.)

⁴ Кузьмин Н. Русский язык: не родной, не иностранный // Эксперт Казахстан. – 2008. – 10 марта, № 10 (158). – Режим доступа: <https://expert.ru/kazakhstan/2008/10/uilelova/> (дата посещения: 22.10.2019.)

⁵ Концепция «Русская школа за рубежом» // Портал «Администрация Президента России». – 2015. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://special.kremlin.ru/catalog/keywords/32/events/50643> (дата посещения: 21.10.2019.)

Однако следует признать, что данная цифра может оказаться неточной. Российские исследователи данной проблематики убеждены, что определить реальное количество соотечественников за рубежом весьма проблематично ввиду чрезвычайной сложности расчетов, требующих анализа данных из разных источников, полевых исследований, социологических опросов, данных статистики и пр. [Герасимова, 2019, с. 904–922]. Более того, само понятие «соотечественник» в редакции Закона от 23.07.2010 № 179-ФЗ трактуется весьма и весьма неоднозначно, включая в себя сразу три определения понятия соотечественника. Так, согласно закону соотечественниками являются¹:

1) лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии;

2) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;

3) лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:

– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;

– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

Данное толкование понятия соотечественника за рубежом вызвало целый ряд критики со стороны экспертного сообщества

¹ Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Консультант Плюс. – 1999. – 24 мая. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23178/4733d92796950eff2201181bdbcf75ca68fa7ddc/ (дата посещения: 21.10.2019.)

России и стран СНГ¹, что, безусловно, требует обстоятельной работы в данном направлении.

Выводы

Анализ современного положения русского языка в ближнем зарубежье указывает на наличие определенных проблем в части его сохранения, развития и продвижения за рубежом. Сужение ареала русского языка, изменение статуса и количества русскоязычного населения в постсоветских странах негативно сказывается на результативности внешней политики в регионе, эффективности применения инструмента мягкой силы, снижении геополитического влияния России в международной среде и скорости интеграционных процессов.

Между тем это не повод впадать в крайность и утверждать, что применению русского языка в ближнем зарубежье пришел конец, как, к примеру, в своей статье «Русский язык в упадке, поскольку постсоветские государства отвергают его» заявила *Financial Times*², а один из череды серьезных вызовов, стоящих перед современной Россией, который можно и нужно решать во благо интересов страны и государств, населяющих Евразию.

Все это требует безотлагательного проведения комплекса мер по совершенствованию национальной законодательной базы и более активному применению мягкой силы, публичной, общественной и классической дипломатии для сохранения, популяризации и роста привлекательности русской культуры, образования, науки и бизнеса в евразийском пространстве. Следует признать, что есть множество положительных примеров использования русского языка за рубежом. Он является одним из самых востребованных языков межнационального общения среди стран постсоветского пространства. Потребность в русском языке как языке

¹ Кто же они, «соотечественники за рубежом»? Исторические хроники РАПСИ // РАПСИ. – 2018. – 07 июня. – Режим доступа: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180607/282914322.html (дата посещения: 22.10.2019.)

² Russian language in decline as post-Soviet states reject it // *Financial Times*. – 2017. – April 13. – Mode of access: <https://www.ft.com/content/c42fbd1c-1e08-11e7-b7d3-163f5a7f229c> (accessed: 22.10.2019.)

культуры, образования, науки и инноваций по-прежнему остается на чрезвычайно высоком уровне.

Необходимо подчеркнуть, что активная деятельность в направлении его продвижения началась лишь в 2000-е годы, и, прежде всего, имела «догоняющий проблемы» характер, из-за чего, в силу инерционности макропроцессов в международном пространстве, а также противодействия со стороны большого количества акторов мировой политики, незаинтересованных в продвижении русского языка, а то и прямо выступающих против, еще не достигла своего пика эффективности. Однако уже сейчас можно сказать, что языковая политика России за рубежом имеет системный стратегический характер, обладающий долгосрочной перспективой воздействия, что вселяет вполне обоснованные надежды на ее будущую результативность и положительный синергетический эффект в Евразийском регионе.

Список литературы

- Арефьев А.Л.* Русский язык в мире: прошлое, настоящее, будущее // Вестник Российской академии наук. – 2014. – Т. 84, № 10. – С. 31–38.
- Арефьев А.Л.* Сколько людей говорят и будут говорить по-русски? // Демоскоп Weekly. – 2006. – № 251. – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema05.php> (дата посещения: 09.10.2019.)
- Арская Ю.А.* Продвижение русского языка за рубежом как инструмент «мягкой силы»: роль вузов в реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом (на примере деятельности Иркутского государственного университета) // Известия Иркутского государственного университета. Серия политология, религиоведение. – 2017. – Т. 22. – С. 141–148.
- Виноградов В.В.* Русский язык в современном мире. – М.: Наука, 1974. – 304 с.
- Герасимова В.А.* Российские соотечественники за рубежом // Постсоветские исследования. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 904–922.
- Егоров В., Штоль В.* Русский язык – фактор интеграции постсоветского пространства // Международная жизнь. – 2017. – № 12. – С. 88–105.
- Лебедева М.М., Харкевич М.В.* «Мягкая сила» России в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 2(35). – С. 10–13.
- Мариносян Т.Э., Куровская Ю.Г.* Регионализация образования в странах постсоветского пространства: предпосылки, результаты, положение русского языка (на примере стран Закавказья и Балтии) // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2017. – № 1. – С. 107–123.

- Муталиева Ж.С., Рыбакова М.Н., Меньшикова В.А. Правовое регулирование использования русского языка в Российской Федерации на постсоветском пространстве // Сборник материалов Международной научно-практической конференции Организационно-правовое регулирование безопасности и жизнедеятельности в современном мире. СПб., 18–20 мая 2016 г. / под ред. Э.Н. Чижикова; сост.: Л.С. Муталиева, Д.К. Саймина. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2016. – С. 265–268.
- Немчинова Т.С., Музалев А.А. Экспорт образования как инструмент интеграции стран – участников Евразийского экономического союза // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 1(92) – С. 52–57.
- Пьянов А.Е. Статус русского языка в странах СНГ // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2011. – № 3(47). – С. 55–59.
- Русский исход. Станет ли Казахстан моноэтническим государством? // Демоскоп Weekly. – 2016. – № 689–690. – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0689/gazeta026.php> (дата посещения: 11.10.2019.)
- Сейдуманова А.С. Особенности формирования этнополитических моделей на постсоветском пространстве // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. – 2019. – Т. 14, № 2 (188). – С. 85–93.
- Nye J. Soft power: the means to success in world politics. – N.Y.: Public affairs, 2004. – 191 p.

Е.А. Khudorenko*
Problems of the Russian language in the nearest foreign

Abstract. The article analyzes the Russian language, as a fundamental soft power tool of Russia's foreign policy, capable to promote the integration processes in the Eurasian region. The Russian language is considered as a necessary condition for a reliable cementing foundation of the Eurasian Economic Union, and as a tool of maintaining and strengthening the stable geopolitical position of Russia in the region.

The author explores the trends in the language policy of Russia, carried out since 2000, analyzes the existing problems of promoting the Russian language abroad, including: reducing the geography of the use of the Russian language in the international space, changing its status and the number of Russian-speaking population in the post-Soviet space. As an example, to study the situation of the Russian language in the Eurasian region, the Republic of Kazakhstan is considered as a country in which, at the time of the collapse of the USSR, Russian was the second in the number of native speakers and the first in possession and level of distribution among all states of the post-Soviet space. The author points out the existing shortcomings in maintaining and

* **Khudorenko Elena Alexandrovna**, Lomonosov Moscow State University (Russia, Moscow), e-mail: khudorenko@gmail.com

strengthening the position of the language abroad, gives an assessment of the language policy of Russia in the near abroad and offers a set of recommendations for improving it and strengthening the importance of the Russian language in the international social, humanitarian and political space.

Keywords: Eurasian integration; Russian foreign policy; soft power instruments; promotion of the Russian language; compatriots abroad; measures to strengthen the Russian language; strengthen integration processes.

For citation: Khudorenko E.A. Problems of the Russian language in the nearest foreign. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 163–182. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.08>

References

- Arefyev A.L. The Russian language in the world: The past, present, and future. *Vestnik rossijskoj akademii nauk*. 2014, Vol. 84, N 10, P. 31–38. (In Russ.)
- Arefiev A.L. How many people speak and will speak Russian? *Demoscope Weekly*. 2006, N 251–252. – August. – Mode of access: <http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema05.php> (accessed: 09.10.2019.) (In Russ.)
- Arskaja Ju.A. Promotion of the Russian Language Abroad as an Instrument of «Soft Power»: the Contribution of Higher Education Institutions to the Implementation of the Conception of State Support and Promotion of the Russian Language Abroad (Case Study of Irkutsk State University). *Izvestiya irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «politologiya. Religiovedenie»*. 2017, Vol. 22, P. 141–148. (In Russ.)
- Vinogradov V.V. *Russian language in the modern world*. Moscow: Science, 1974, 304 p. (In Russ.)
- Gerasimova V.A. Russian compatriots abroad. *Post-Soviet Studies*. 2019. Vol. 2, N 1, P. 904–922. (In Russ.)
- Egorov V., Shtol V. Russian language – a factor of integration of the post-soviet space. *International Affairs*. 2017, N 12, P. 88–105. (In Russ.)
- Lebedeva M.M., Kharkevich M.V. The role of the Russian soft power in Eurasian integration. *MGIMO review of international relations*. 2014, N 2(35), P. 10–13. (In Russ.)
- Marinosyan T.E., Kurovskaya Yu.G. Prerequisites and results of the regionalization of education in post-Soviet countries (by example of countries of the South Caucasus and the Baltic states). *Otechestvennaya i Zarubezhnaya Pedagogika*. 2017, N 1, 107–123 p. (In Russ.)
- Mutalieva Zh.S., Rybakova M.N., Menshikova V.A. Legal regulation of the use of the Russian language in the Russian Federation in the post-Soviet space. In: *Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference Organizational and legal regulation of safety and life in the modern world*. Saint Petersburg, May 18–20, 2016. E.N. Chizhikova (ed). L.S. Mutalieva D.K. Saymina (compil). Saint Petersburg: Publishing House of Saint-Petersburg university of state fire service of Emerson of Russia, 2016, P. 265–268. (In Russ.)

- Nemchinova T.S., Muzalev A.A.* Export education as a tool for integration of countries of Eurasian Economic Union. *Eurasian Law Journal*. 2016, N 1(92), P. 52–57. (In Russ.)
- Pianov A.E.* Status of Russian language in the CIS. *Bulletin of Kemerovo State University*. 2011, N 3(47), P. 55–59. (In Russ.)
- Russian outcome. Will Kazakhstan become a mono-ethnic state? *Demoscope Weekly*. 2016, N 689–690. Mode of access: <http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0689/gazeta026.php> (accessed: 11.10.2019.) (In Russ.)
- Seidumanova A.S.* Features of forming ethno-political models in the post-soviet space. *Izvestia Ural federal university journal. Series 3. Social and political sciences*. 2019, Vol. 14, N 2(188), P. 85–93. (In Russ.)
- Nye J.* *Soft power: the means to success in world politics*. New York: Public Affairs, 2004, 191 p.

РАКУРСЫ

Г.В. ПУШКАРЕВА*

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье предлагается рассмотреть государственное управление как особое символическое пространство и определить роль и значение символизации в конструировании управленческих отношений. Обращение к такому ракурсу исследования связано с необходимостью преодоления «ловушек рациональности», представляющих собой сложившуюся традицию изучения управленческой деятельности с методологических позиций теории рационального выбора. Рассмотрение управленческой деятельности как процесса, сопровождающегося созданием символов, их объективированием и превращением в фактор, воздействующий на участников управленческих взаимодействий, позволит лучше понять условия, поддерживающие легитимность системы государственного управления и определяющие рамки ее развития. Представлена двухконтурная модель символического пространства государственного управления, где первый контур составляют символы-сигнификаторы, являющиеся своеобразными маркерами акторов, нормативных порядков и процессов государственного управления и помогающие людям ориентироваться в сложившейся системе государственных управленческих отношений. Второй контур составляют символы-интеграторы (мифологемы, идеологемы), образующие символический универсум и позволяющие людям различать в системе государственного управления справедливое и несправедливое, полезное и вредное, важное и второстепенное. Символический универсум в силу своего особого места в системе государственного управления неизбежно становится ареной борьбы между теми политическими силами, которые хотели бы

* **Пушкарёва Галина Викторовна**, доктор политических наук, профессор факультета государственного управления, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия), e-mail: gvpush@mail.ru

© Пушкарёва Г.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.09

сохранить существующую систему государственного управления, и теми, кто не доволен ею и хотел бы ее радикального обновления. С развитием цифровых технологий качественно меняется пространство формирования символического универсума государственного управления, расширяются возможности возникновения и быстрого распространения его девиантных интерпретаций. Показано, что в российском обществе сложилась патерналистская модель символического универсума государственного управления, проанализированы факторы ее устойчивости и высказаны суждения о характере возможных изменений.

Ключевые слова: государственное управление; символы; символическое пространство; символический универсум; доверие; легитимность.

Для цитирования: Пушкарева Г.В. Символическое пространство государственного управления // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 183–203. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.09>

Поиск путей повышения эффективности и результативности государственного управления побуждает ученых постоянно работать над совершенствованием методологического инструментария, позволяющего выявлять новые грани государственных управленческих процессов и анализировать управленческие практики под новым углом зрения. В данной статье предлагается посмотреть на государственное управление как на особое символическое пространство и выявить роль и значение символизации в конструировании управленческих отношений, в определении государственной политики и механизмов ее реализации. Выбор такого ракурса исследования связан с важностью преодоления «ловушек рациональности», представляющих собой устойчивые рамки восприятия управленческой деятельности как деятельности, совершаемой рациональным индивидом, способным осознавать свои интересы, ставить соответствующие цели и выбирать оптимальные, с его точки зрения, пути их достижения. Попадая в такую ловушку, исследователь совершает «фундаментальную эпистемологическую ошибку» [Бурдье, 2001, с. 161], он начинает приписывать людям, вовлеченным в управленческие отношения, собственные мотивы, точнее те, которые могли бы у него возникнуть при рациональной оценке соответствующей ситуации. Попыткой преодоления подобной ловушки может стать предложение Э. Кассирера смотреть на человека не как на *animal rationale*, а как на *animal symbolicum* [Кассирер, 1988, с. 30], т.е. как на существо, способное создавать символический мир и адекватно в нем ориентироваться.

Интерес ученых к символическим формам социальной жизни имеет давние традиции [Мид, 1994; Burke, 1966; Edelman, 1971; Малинова, 2012]. Предметом рассмотрения становятся сами символы как способы выражения некоторых значений [Elder, Cobb, 1983; Дубин, 2011], появляется геральдика как дисциплина, претендующая на интерпретацию государственной и политической символики [Борисов, 2009]. Постмодернисты воспринимают символическое как «кладущее конец реальному» [Бодрийяр, 2000, с. 243], поддержку находят идеи о симулякрах, создаваемых массмедиа [Прилукова, 2016]. Формируется концепт символической политики, под которым понимается специфический вид деятельности, связанный «с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве» [Малинова, 2013, с. 115].

Символическое пространство государственного управления неизбежно оказывается в фокусе внимания исследователей, прежде всего, как пространство деятельности государственных акторов по конструированию символических форм, обеспечивающих поддержание целостности государства [Капицын, 2011; Малинова, 2015; Сукало, 2014; Пушкарева, Соловьев, Михайлова, 2018], формирование национальной идентичности [Малинова, 2010; Пушкарева, 2017], укрепление позиций правящей элиты [Малинова, 2013; Smyth, Sobolev, Soboleva, 2013]. В данной статье на основе разработанной автором типологии символических форм политической реальности [Пушкарева, 2016] предлагается двухконтурная модель символического пространства государственного управления, позволяющая определить место различных символических конструкций в воспроизводстве государственной управленческой системы и выявить некоторые особенности их функционирования в нашей стране.

Двухконтурная модель символического пространства государственного управления

Символическое является имманентным свойством государственного управления как особого вида социальной реальности. Без символов невозможно существование совместно разделяемого знания о нормах и правилах управленческой деятельности, об ин-

ститутах и акторах управления, о смыслах управленческой политики и значении принимаемых государственных решений. Именно способность человека создавать символы, несущие в себе определенный запас информации, позволяли ему передавать опыт государственного управления новым поколениям, создавать соответствующие институциональные порядки, сетевые структуры, распознавать ролевые ожидания и понимать содержание управленческих процессов. Под символическим пространством государственного управления в данном случае понимается совокупность объективированных символических конструкций, обеспечивающих воспроизводство государственного управления как системы отношений, взаимосвязей и взаимодействий.

Государственное управление, как и любое сложное социальное образование, организуется посредством двухконтурного пространства символов. Первый контур составляют символы-сигнификаторы, являющиеся своеобразными маркерами акторов, структур, нормативных порядков и процессов государственного управления. Это – разнообразные знаки, обеспечивающие условную визуализацию управленческого пространства. К ним относятся знаки-слова, номинирующие те или иные объекты, знаки-предметы, их маркирующие, знаки-образы, закрепляющие обобщенные представления об акторах государственного управления, знаки-жесты и знаки-действия, используемые обычно для обозначения намерений людей, включенных в управленческие отношения, или их отношения к происходящему.

Символы-сигнификаторы возникают всякий раз, когда появляется потребность придать новому виду взаимодействия или вновь образуемой структуре свойства объективности. Сигнификация позволяет посылать другим людям сигналы о появлении нового образования, и оно автоматически включается ими в комплекс внешних объектов, которые при необходимости следует учитывать в своем поведении. С помощью символов-сигнификаторов мы выделяем государственное управление среди других видов социальных отношений и взаимодействий, распознаем конституирующий его институциональный порядок, усваиваем характер требований к его участникам. Поскольку эти символы выполняют функцию объективации государственного управления, общество заинтересовано в их более или менее однозначной интерпретации и передаче их значений новым поколениям.

Второй контур символического пространства государственного управления образуют символы-интеграторы. Их появление связано со свойственной человеку склонностью не только принимать сложившийся нормативный порядок, но и задаваться вопросами о его справедливости, необходимости и целесообразности. В символах-интеграторах отсутствует характерная для символов-сигнификаторов смысловая связь между обозначаемым и обозначающим. Они представляют собой суждения, в которых отражается стремление найти объяснение сложившемуся порядку осуществления управленческих отношений в обществе, увидеть логические основания управленческих процессов, придать разрозненным действиям многочисленных участников таких процессов некий объединяющий смысл, интегрировать отдельные представления о государственном управлении в некое целостное знание, которое П. Бергер и Н. Лукман обозначили понятием «символический универсум» [Бергер, Лукман, 1995, с. 157–159].

Если символы-сигнификаторы помогают людям ориентироваться в сложившейся системе государственных управленческих отношений, то символы-интеграторы выполняют функцию маркеров, позволяющих различать в системе государственного управления справедливое и несправедливое, полезное и вредное, неизбежное и случайное, необходимое и ненужное, постоянное и сиюминутное. В современном обществе символы-интеграторы представлены в виде мифов, идеологием и теоретических моделей, интерпретирующих отдельные свойства государственного управления, разъясняющих значение тех или иных ценностных приоритетов, обосновывающих необходимость определенных управленческих стратегий.

Специфика символов-интеграторов состоит в том, что они развертываются в области, недоступные для актуального восприятия и находящиеся за пределами непосредственного опыта человека. Они обозначают то, что не проявляется в реальных взаимодействиях людей, что подлежит домысливанию, во что можно только верить, полагаясь скорее на чувства, чем на рациональное осмысление. Отсюда открытая возможность оспаривания их содержания, любой миф или идеологема могут быть поставлены под сомнение в силу отсутствия прямых эмпирических доказательств их истинности. В итоге символический универсум государственного управления формируется как противоречивый комплекс символов-интеграторов, включающий, с одной стороны, те из них, ко-

которые обеспечивают легитимацию сложившегося институционального порядка государственного управления, с другой – так называемые «девиантные версии символического универсума» [Бергер, Лукман, 1995, с. 174], т.е. оспаривающие право доминирующих мифов и идеологий определять смысл государственного управления и предлагающие его альтернативные интерпретации.

Символический универсум государственного управления

Мифологизация государственного управления осуществлялась как под влиянием естественного стремления членов общества придать этому сложному явлению понятные формы экспликации, так и в результате целенаправленных действий акторов, заинтересованных в усвоении массами мифов, обеспечивающих сохранение / изменение сложившейся государственной управленческой системы. Миф становился частью символического универсума в процессе его объективации, т.е. превращения из нарратива, выработанного отдельным человеком, в суждение, разделяемое многими. Символическая функция мифа заключается в его способности формировать устойчивую рамку восприятия наблюдаемых управленческих действий, приписывать поступкам конкретных людей, вовлеченных в управленческие отношения, определенные смыслы, предлагать готовую схему интерпретации мотивов их поведения.

Конкретное содержание мифологем зависит от исторической эпохи, типа политического режима и политической культуры, особенностей институционального порядка, конституирующего систему государственного управления, но независимо от указанных факторов в каждом обществе можно обнаружить мифы о государстве, мифы о правителях и бюрократическом аппарате, мифы о значимых для государства событиях и мифы об угрозах государству. Все они существуют в двух ипостасях: мифы, способствующие легитимации существующей системы государственного управления и составляющие основу официальной версии символического универсума, и мифы, обнажающие язвы этой системы, оспаривающие ее правомерность и ставящие под сомнение ее справедливость.

Если мифы представляют собой символические конструкции, призванные предлагать людям понятные интерпретации про-

шлого и настоящего государства, объяснять скрытые причины государственных управленческих процессов и мотивы их участников, то идеологемы возникают как абстрактно-логические конструкции, в которых обосновывается будущее государственного управления: на каких принципах оно должно основываться, каким политическим идеалам соответствовать, во имя каких целей осуществляться. В символическом универсуме государственного управления представлены два вида идеологем. Первый вид возникает на базе идеологических течений, претендующих на всестороннее обоснование вектора политического развития общества и его устройства на определенных принципах (либерализм, социализм, консерватизм, коммунитаризм, анархизм, этатизм, национализм и т.д.). Так, либеральное видение государства формирует принципиально иной подход к государственному управлению, нежели социалистическое понимание социального государства, рождающего завышенные ожидания от системы государственного управления. В современных условиях классические идеологии модифицируются и, по мнению ряда авторов, кристаллизуются вокруг двух основных течений неolibеализма и коммунитаризма [Россия в поисках идеологий, 2016, с. 10], что, впрочем, не меняет их главного назначения. Они артикулируют, теоретически обосновывают и транслируют в политическое пространство определенные комплексы ценностей, в которых выражаются предпочтительные для их сторонников способы организации политической власти и государственного управления.

Второй вид идеологем создается усилиями научного сообщества, которое активно участвует в разработке ценностных ориентиров путем конструирования моделей, воплощающих новое видение системы государственного управления. В качестве примера можно назвать концепт «нового государственного управления» («new public management»), превратившийся в идеологию реформ государственного управления во многих странах в конце XX в. Смещение акцентов в изучении государственного управления на проблематику общественного интереса, публичных ценностей, гражданской ответственности привело к появлению нового концептуального видения системы государственного управления, получившего название «good governance». Теперь ценностными ориентирами развития государственного управления виделась ориентация на общественные интересы, на принципы социальной

справедливости, на развитие партнерства и взаимной ответственности со структурами гражданского общества и т.п. В начале XXI в. понятие «good governance» входит в документы и программы, принимаемые ОЭСР, Всемирным банком, другими международными организациями, а также правительствами и общественными ассоциациями [Красильников, Сивинцева, Троицкая, 2014, с. 56].

Итак, символический универсум государственного управления формируется по мере объективирования создаваемых людьми способов интерпретации складывающихся управленческих отношений (мифологем) и способов конструирования их идеальных форм (идеологем). Символические свойства мифологем и идеологем проявляются в их способности превращаться в устойчивые ментальные конструкторы, фреймы, определяющие характер восприятия управленческих процессов, отношение к структурам и акторам управления, к управленческим целям и способам их достижения. При достижении в обществе консенсуса относительно основных поддерживающих сложившуюся систему государственного управления идеологем и мифологем обеспечивается легитимация этой системы, возникает доверие к структурам и акторам государственного управления. Однако, как уже отмечалось выше, достижение такого консенсуса является проблематичным, поскольку символический универсум открыт для символотворчества, для создания новых мифов и идеологем, способных ставить под сомнение справедливость сложившейся системы государственного управления и предлагающих новые ценностные ориентиры.

С развитием цифровых технологий дискурс, формирующий символический универсум государственного управления, обретает новые свойства. Прежде всего он утрачивает флер избранности. Если ранее активными участниками этого дискурса были представители политической элиты, научной общественности, идеологи политических групп, то теперь возможность продуцировать в публичное информационное пространство суждения о государственном управлении получил практически каждый пользователь Сети. Ресурсы Интернета позволяют при желании любому человеку стать публичным комментатором государственной политики, включиться в обсуждение действий государственных должностных лиц с незнакомыми людьми, репостить понравившиеся суждения и таким образом играть активную роль в создании новых

мифологем либо превращаться в толкователя старых символических конструкций.

Российский символический универсум государственного управления

Символический универсум российской системы государственного управления является сложным, многоплановым феноменом. В нем представлены как его официальная версия, обеспечивающая легитимацию данной системы, так и альтернативные варианты, конструируемые для подрыва доверия к сложившимся управленческим институтам, практикам и акторам, для обозначения новых ценностных ориентиров.

Специфика официальной версии символического универсума заключается в ее внутренней противоречивости. С одной стороны, сформулированные в официальных документах¹ идеологии, определяющие цели и принципы реформирования российской системы государственного управления, соответствуют общемировым трендам преобразований в сфере политико-административных отношений и включают идеи открытого правительства, ответственности перед гражданским обществом государственной службы, делиберативной демократии и менеджмента публичных ценностей, меритократических принципов комплектования государственного аппарата, принципы «good governance» и т.д.

С другой стороны, пространство политико-управленческих отношений находится под влиянием мифологем, формирующих модели взаимодействий, не соответствующие заявленным в офи-

¹ См., например: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // ГАРАНТ. РУ. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70170942/> (дата посещения: 8.11.2019.); Концепция реформирования системы государственной службы РФ (утв. Президентом РФ от 15 августа 2001 г.) // Справочно-правовая система «Закон Прост». – Режим доступа: <http://www.zakonprost.ru/content/base/59119> (дата посещения: 8.11.2019.); Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. // Правительство РФ. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/41d4ba8c720529ed4d5e.pdf> (дата посещения: 8.11.2019.)

циальных документах ценностным ориентирам, поощряющих патерналистский характер отношений между государством и гражданами, политическую пассивность последних и стойкое убеждение в нецелесообразности политического участия. По данным Института социологии РАН, всего 15% россиян в той или иной степени уверены в своей возможности влиять на политику государства в целом, 20 – на политику региональных и 25% – местных властей¹.

Легитимация существующей системы государственного управления осуществляется не за счет принятия гражданами официально провозглашаемых властями ценностей, а благодаря укоренению в массовом сознании мифологем, формирующих ощущение зависимости от государства и взращивающих уверенность в необходимости именно патерналистской модели государственного управления, предполагающей «ручное управление», осуществляемое сильным лидером, способным «разрулить» любую сложную ситуацию. По данным Левада-центра, 62% россиян уверены, что государство «должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни». И только 30% считают, что «государство должно устанавливать единые для всех “правила игры” и следить за тем, чтобы они не нарушались»². В миф о необходимости «твердой руки», которая наведет в стране порядок, верят 66% россиян, и только 34% считают, что политические свободы, утвердившиеся в стране за последние годы, – это то, от чего нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах³. Востребованными массовым сознанием являются мифы о сильных правителях. Это подтверждается, в частности, тем, что в 2019 г. суммарные оценки положительного отношения жителей России («восхище-

¹ Российское общество весной 2016-го: тревоги и надежды. – М.: Институт социологии Российской академии наук, 2016. – С. 23. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/publ/rezyume_ross_obschestvo_vesna_2016_trevogi_i_na_dezhdy.pdf (дата посещения: 14.09.2019.)

² Граждане и государство / Левада Центр. – 2018. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2018/08/23/grazhdane-i-gosudarstvo-2/> (дата посещения: 14.09.2019.)

³ Российское общество в условиях кризисной реальности (по результатам социологического мониторинга 2014–2016 гг.). – М.: Институт социологии Российской академии наук, 2016. – С. 22. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Doklad/Ross_obschestvo_v_usloviyah_krizisn_realnosti.pdf (дата посещения: 14.01.2018.)

ние», «уважение» и «симпатия») к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований – их демонстрировал каждый второй участник опроса, а 70% россиян считали, что Сталин в истории страны сыграл целиком положительную или скорее положительную роль¹. В представлениях россиян о прошлом также угадываются мифологизированные конструкции о государственной власти и управлении: «забота государства о простых людях», «отсутствие межнациональных конфликтов, дружба народов», «успешное развитие экономики, отсутствие безработицы», «постоянное улучшение жизни людей»².

Девиантные версии символического универсума конструируются на волне недовольства сложившейся системой государственного управления, по мере осознания ее недостатков и разочарования в лицах, принимающих государственные решения, с пониманием необходимости разворота государственной политики в сторону новых ценностных ориентиров. Специфика дискурса, продуцирующего девиантные версии российского символического универсума, заключается в том, что он строится не столько на разработке оригинальных идеологических концептов, способных определять цели и принципы государственного управления, сколько на критике проводимой властями политики, на выявлении недостатков в работе государственного аппарата, на обвинении политико-административной элиты в провалах социальной и экономической политики, в отходе от официально декларируемых принципов, в узурпации власти, авторитаризме и т.п.

Идеология оспаривания облекается в различные формы, но ее символическая завершенность проявляется в создании концептов-маркеров, содержащих интегральную негативную оценку сложившейся системы государственного управления и ее основных акторов. Например, в противовес «good governance» создается концепт «bad governance» («недостойное правление»), представляющий собой теоретическое конструирование нежелательной модели государственного управления, впитавшей в себя основные пороки государственного управления: извлечение административ-

¹ Динамика отношения к Сталину / Левада Центр. – 2019. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/> (дата посещения: 14.09.2019.)

² Советский Союз / Левада Центр. – 2019. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/06/24/chernovik/> (дата посещения: 14.09.2019.)

ной ренты в корыстных интересах, коррупция, неэффективность, непрозрачность принятия решений и т.п. [Гельман, 2019]. В отличие от своего антипода, концепции «good governance», определяющей ценностные ориентиры развития государственного управления в современном обществе, «bad governance» выступает в роли не идеологемы, а символа-маркера российской системы государственного управления как несправедливой, погрязшей в коррупции и неэффективной.

Казалось бы, чувствительность масс к любым видам социальной несправедливости, фиксируемая социологическими опросами уверенность значительного числа россиян в корыстности чиновников (41% россиян считают коррупцию и взяточничество тревожащей их проблемой¹) должны развернуть общественное мнение в сторону девиантных версий символического универсума государственного управления. Однако признаков такого разворота не наблюдается. Россияне склонны, при всей своей критичности к власти и в целом негативном отношении к чиновничеству, находить оправдание провалам государственного управления в приемлемых для официальных властей мифологемах о «хорошем царе и плохих боярах», о кознях и заговорах политических противников и т.п. Так, две трети россиян (66%) считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие. 63% наших сограждан верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений². За последнее время социологи зафиксировали рост числа тех, кто верит в реальность мирового правительства (в 2014 г. так считали 45%, а в 2018 г. – уже 67% россиян), по мнению большинства, несущего угрозу российским национальным интересам³.

Косвенным свидетельством того, что официальная версия символического универсума справляется с функцией легитимации

¹ Тревожащие проблемы / Левада Центр. – 2019. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/09/25/trevozhashhie-problemy-2/> (дата посещения: 14.12.2019.)

² Теория заговора против России / ВЦИОМ. – 2018. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9259> (дата посещения: 15.09.2019.)

³ Откуда исходит угроза миру? / ВЦИОМ. – 2018. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9203> (дата посещения: 15.09.2019.)

российской системы государственного управления, являются показатели доверия граждан к государственным институтам (см. табл.). Доверие как сложный психологический феномен возникает на основе формирующихся в сознании образов соответствующих объектов, наделяемых позитивными свойствами и рожающих уверенность в последовательности проявления этих свойств на практике. Абсолютное доверие россиян к президенту и относительное доверие к другим государственным органам говорит об интериоризации значительной частью массового сознания образов, формируемых мифологемами официальной версии символического универсума.

Таблица

Доверие к органам государственного управления в 2019 г. (ответы на вопрос «В какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверия президент и следующие государственные органы?»)¹

	Вполне заслуживает	Не вполне заслуживает	Совсем не заслуживает	Затруднились ответить
Президент	60	25	14	2
Областные (краевые, республиканские) органы власти	31	37	24	8
Совет Федерации	24	36	27	12
Местные (городские, районные) органы власти	29	38	26	
Правительство	26	37	32	5
Государственная дума	24	39	33	4

В научной литературе есть два основных подхода к объяснению причин укоренения в российском массовом сознании мифологем и ценностей патерналистской модели символического универсума, легитимизирующей сложившуюся систему государственного управления. В рамках первого причины видятся в целенаправленно осуществляемой государством символической политике, позволяющей внедрять в массовое сознание выгодные правящей элите мифы главным образом посредством системы образования и контроля над средствами массовой информации. В зависимости от

¹ Источник: Институциональное доверие // Левада центр. – 2019. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/10/24/institutsionalnoe-doverie-5/> (дата обращения: 11.10.2019.)

ценностных предпочтений такие действия государства могут исследователями идентифицироваться как «агрессивная пропаганда», «идеологическое и репрессивное давление на общество» [Гудков, 2018, с. 84, 123]. Второй подход, культурологический, объясняет данный феномен особенностями исторического прошлого страны, ее политической культуры, веками формировавшимися стереотипами. Некоторые исследователи даже говорят о коллективном бессознательном, об архетипах, определяющих наше отношение к таким реалиям государственного управления, как коррупция [Хусаинова, Гиниятуллина, 2010].

Патерналистская версия символического универсума справляется с функцией легитимации государственного управления только в условиях относительного равновесия между ожиданиями и запросами граждан, с одной стороны, и возможностями их удовлетворения – с другой. При нарушении этого равновесия поднимается волна депривационных настроений, которая резко смещает фокус внимания широких слоев населения на девиантные версии символического универсума. В массовом сознании доминирующими становятся мифологемы, подрывающие легитимность действующей системы государственного управления и ее основных акторов (о тотальной коррупции в органах власти, о связях политического руководства с некими деструктивными внешними силами, о неспособности первых лиц государства исполнять свои обязанности и т.п.). Такое смещение, иногда довольно резкое, обусловлено особенностями психологического состояния в условиях относительной депривации, когда разъедающая человека фрустрация подталкивает его к поиску сил, на которые можно возложить ответственность за возникшие проблемы и снизить таким образом критический для личности уровень эмоционального напряжения. И если с государством ранее связывались большие надежды, то вероятность превращения его в мишень активно выражаемого недовольства становится очень высокой, а сам человек как губка начинает впитывать мифологемы, дискредитирующие действующую систему власти и управления.

На данный момент в обществе не наблюдается рост массовых депривационных настроений. По данным Левада-центра, в той или иной мере счастливыми себя считают 74% россиян, напряжение и раздражение испытывают только 21% опрошенных, а страх и тоску – 4%. При этом только 17% россиян отсутствие счастья

связывают с недовольством властью и положением дел в стране¹. В такой ситуации запрос на идеологемы и мифологемы девиантных версий символического универсума массово не проявляется. Однако высокая доля неуверенного доверия (ответы «не вполне заслуживает» в таблице) говорит о значительном потенциале девиантных версий символического универсума, который может раскрыться в случае серьезных провалов в экономической и социальной политике государства.

* * *

Конструирование символического универсума государственного управления менее всего похоже на рационально выстраиваемую стратегию создания необходимых для легитимации государственного управления символических форм. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что символическая политика, как особый вид деятельности, носит латентный характер в том смысле, который вкладывал в это понятие Р. Мертон [Мертон, 1994], т.е. ее содержание и значение не осознаются в полной мере. Цели символической политики не определяются в специальных документах, задачи формирования тех или иных мифологем и идеологем не декларируются, а сами символические конструкции возникают в результате реализации других видов политики – экономической, информационной, культурной, образовательной и т.д. При решении политических задач субъекты государственного управления скорее интуитивно, чем осознанно используют механизмы символизации, скорее не думают о возможных изменениях в символических универсумах, чем просчитывают стратегии их обновления, скорее идут вслед за своими ценностными предпочтениями, чем прогнозируют последствия своих действий. В итоге конструирование символического универсума государственного управления неизбежно носит фрагментарный и противоречивый характер.

Как правило, изучение символического универсума осуществляется путем исследования нарративов, образующих смысло-

¹ Счастье личное, гражданское, общечеловеческое: Опрос сообщества ОГФ / Левада Центр. – 2019. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2018/12/Schaste-Otchet-fin-07.12.pdf> (дата посещения: 14.12.2019.)

вые рамки соответствующих мифов и идеологем [см., например: Малинова, 2019]. Так, для определения содержания официальной версии символического универсума государственного управления оправданным является контент-анализ официальных документов, в которых присутствует описание ценностных ориентиров проводимой государственной политики, а также выступлений руководителей государства и представителей правящей элиты, олицетворяющих государственное управление и проводимый государством политический курс. В свою очередь специфика девиантных версий раскрывается в ходе анализа дискурса оппозиционных политических сил. Благодаря такому подходу обеспечивается описание как символических конструкций, поддерживающих сложившуюся систему государственного управления, так и тех, которые ориентируют на альтернативное видение принципов, способов организации и целей государственного управления.

Значение такого подхода трудно переоценить, поскольку он позволяет понять специфику символического дискурса, особенности суждений о смысле, функциях, значимых механизмах государственного управления, активно продвигаемых в информационное пространство различными политическими группами. Вместе с тем сила символического универсума проявляется не только и не столько в способности политических сил инициировать соответствующий дискурс, сколько в глубине усвоения массовым сознанием представленных в этом дискурсе мифологем и идеологем. Символы только в том случае выполняют свою ценностно-регулятивную функцию, когда члены социума убеждены в их непреложности, в их соответствии реалиям, когда мифы воспринимаются как нарративы, раскрывающие «реальные» причинно-следственные связи, объясняющие «реальные» мотивы поведения в пространстве управленческих отношений, а содержащиеся в идеологемах ценностные принципы принимаются на веру, и их правильность не подвергается сомнению. Дальнейшее исследование символических конструкций, органично вошедших в системы мировосприятия политико-административных элит и рядовых граждан, позволит понять, имеет ли официальная версия символического универсума опору в массовом сознании в конкретный исторический период, а также выявить потенциал восприимчивости общества к символическим новациям, в том числе к девиантным версиям символического универсума.

Список литературы

- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания: пер. с англ. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с.
- Борисов И.В.* Российская геральдика. Происхождение. История. Современность. Источниковедение. – М.: Эксмо, 2009. – 206 с.
- Бурдые П.* Практический смысл. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.
- Гельман В.Я.* «Недостойное правление»: политика в современной России. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. – 254 с.
- Гудков Л.* Патриотическая мобилизация и ее следствия // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2018. – № 1/2 (126). – С. 81–123.
- Дубин Б.* Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. – 2011. – № 5 (53). – С. 6–22.
- Капицын В.М.* Символьный контекст институционализации национальных интересов // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2011. – № 3. – С. 5–19.
- Кассирер Э.* Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии: переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 3–30.
- Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А.* Современные западные управленческие модели: синтез New public management и Good governance // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2014. – № 2. – С. 45–62.
- Малинова О.Ю.* Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.
- Малинова О.Ю.* Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – Т. 6, № 1. – С. 5–28.
- Малинова О.Ю.* Кто и как формирует официальный исторический нарратив? Анализ российских практик // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. – 2019. – № 3(94). – С. 103–126. – DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126>
- Малинова О.Ю.* Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2013. – № 1. – С. 114–130.
- Малинова О.Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; отв. ред.: О.Ю. Малинова. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 5–16.
- Мертон Р.* Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Тексты / под ред. В.И. Добренкова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 379–447.
- Мид Дж.* От жеста к символу // Американская социологическая мысль. Тексты / под ред. В.И. Добренкова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 215–224.
- Прилукова Е.Г.* Власть симулякров: социально-философский аспект // Экономика и политика. – 2016. – № 2 (8). – С. 61–64.

- Пушкарёва Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности // Полис. Политические исследования. – М., 2017. – № 5. – С. 156–173. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.11>
- Пушкарёва Г.В. Символические формы конструирования политической реальности // Символическая политика: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др. – М., 2016. – Вып. 4. – С. 15–29.
- Пушкарёва Г.В., Соловьёв А.И., Михайлова О.В. Идеи и ценности в государственном управлении. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 272 с.
- Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В.С. Мартынова, Л.Г. Фишмана. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 334 с.
- Сукало С.А. Символическая политика как технология контроля публичного дискурса в российском политическом пространстве // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 3 (20). – С. 6–9.
- Хусаинова Н.Ю., Гиниятуллина А.Р. Архетипические особенности личностей с различным отношением к коррупции // Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – № 4. – С. 162–169.
- Burke K. Language as symbolic action: Essays on life, literature, and method. – Berkeley: University of California press, 1966. – 514 p.
- Edelman M. Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence. – Chicago: Markham publishing company, 1971. – ix, 188 p.
- Elder C.D., Cobb R.W. The political uses of symbols. – N.Y.: Longman, 1983. – 173 p.
- Smyth R., Sobolev A., Soboleva I. A well-organized play // Problems of post-Communism. – 2013. – Vol. 60, N 2. – P. 24–39. – DOI: <https://doi.org/10.2753/ppc1075-8216600203>

G.V. Pushkareva*

Symbolic space of public administration

Abstract. In this paper we propose to look at public administration as a special symbolic space and to determine the role and significance of symbolization in the construction of governance relations. Turning to this perspective of the study is associated with the need to overcome the «traps of rationality», which is an established tradition of studying administrative activity from the methodological positions of the theory of rational choice. Consideration of administrative activity as a process, accompanied by the creation of symbols, their objectification and transformation into a structure of influence on the actions of participants in administrative interactions, will help to better understand the factors that support the legitimacy of the public administration system

* **Pushkareva Galina**, Lomonosov Moscow state university (Moscow, Russia),
e-mail: gvpush@mail.ru

and determine the framework for its development. A two-circuit model of the symbolic space of public administration is presented, where the first contour is made up of symbols-significators, which are peculiar markers of actors, normative orders and processes of public administration and which help people to navigate in the current system of public administration. The second circuit is made up of symbols-integrators (mythologemes, ideologemes) that form a symbolic universe and allow people to distinguish between the fair and the unjust, useful and harmful, important and secondary, in the system of state administration. The symbolic universe, by virtue of its special place in the system of government, inevitably becomes the scene of a struggle between those political forces that would like to preserve the existing system of government and those who are not satisfied with it and would like to radically renew it. With the development of digital technologies, the space for the formation of the symbolic universe of public administration is changing qualitatively, and the possibilities for the emergence and rapid spread of its deviant interpretations are expanding. It is shown that a paternalistic model of the symbolic universe of government has developed in Russian society, factors of its stability are analyzed and judgments are made about the nature of possible changes.

Keywords: public administration; symbols; symbolic space; symbolic universe; trust; legitimacy.

For citation: Pushkareva G.V. Symbolic space of public administration. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 183–203. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.02.09>

References

- Baudrillard J. *Symbolic exchange and death*. Moscow: Dobrosvet, 2000, 387 p. (In Russ.)
- Berger P., Luckman T. *Social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Moscow: Medium, 1995, 323 p. (In Russ.)
- Borisov I.V. *Russian heraldry. Origin. Story. Modernity source studies*. Moscow: Eksmo, 2009, 206 p. (In Russ.)
- Bourdieu P. *Practical meaning*. Saint Petersburg: Aletheia, 2001, 562 p. (In Russ.)
- Burke K. *Language as symbolic action: Essays on life, literature, and method*. Berkeley: University of California press, 1966, 514 p.
- Cassirer E. *An Essay on man: An introduction to a philosophy of human culture*. In: Gurevich P.S., Popova Yu.N. *The problem of man in Western philosophy: Translations*. Moscow: Progress, 1988, P. 3–30. (In Russ.)
- Dubin B. Return symbols instead of change symbols. *Pro et contra*. 2011, N 5 (53), P. 6–22. (In Russ.)
- Edelman M. *Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence*. Chicago: Markham publishing company, 1971, ix, 188 p.
- Elder C.D., Cobb R.W. *The political uses of symbols*. New York: Longman, 1983, 173 p.

- Gelman V.Ya. «*Bad governance*»: *politics in modern Russia*. Saint Petersburg: Publishing house of the European university in St. Petersburg, 2019, 254 p. (In Russ.)
- Gudkov L. Patriotic mobilization and the consequences thereof. *The Russian public opinion herald. Data. Analysis. Discussions*. 2018, N 1–2 (126), P. 81–123. (In Russ.)
- Kapitsyn V.M. Symbol context of constitutionalization of national interests. *Ars Administrandi (The Art of Management)*. 2011, N 3, P. 5–19. (In Russ.)
- Khusainova N. Yu., Giniyatullina A.R. Archetypal features of individuals with a different attitude to corruption. *Actual problems of economics and law*. 2010, N 4, P. 162–169. (In Russ.)
- Krasilnikov, D.G., Sivintseva, O.V., Troitskaya, E.A. Modern western managerial models: synthesis of new public management and good governance. *Ars Administrandi (The Art of Management)*. 2014, N 2, P. 45–62. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. *Current past: The symbolic policy of the ruling elite and the dilemmas of Russian identity*. Moscow: Political Encyclopedia, 2015, 207 p. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Symbolic policy: The contours of the problem field. In: Malinova O.Yu. (ed.) *Symbolic policy*. Moscow: INION RAN, 2012. Vol. 1, P. 5–16. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. The construction of a macro-political identity in post-Soviet Russia: a symbolic policy in a transforming public sphere. *Political expertise: POLITEX*, 2010, Vol. 6, N 1, P. 5–28. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. The problem of politically suitable past and evolution of official symbolic politics in the post-soviet Russia. *The political conceptology: journal of meta-disciplinary research*. 2013, N 1, P. 114–130. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Who forms the official historical narrative and how? Analysis of Russian practices. *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. 2019, N 3 (94), P. 103–126. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126>
- Martyanov V.S., Fishman L.G. *Russia in search of ideologies: the transformation of the value regulators of modern societies*. Moscow: Political Encyclopedia, 2016, 334 p. (In Russ.)
- Mead G.H. From gesture to symbol. In: Dobrenkov V.I. (ed.) *American Sociological Thought. Texts*. Moscow: Publishing House of Moscow state university, 1994, P. 215–224. (In Russ.)
- Merton R. Manifest and latent functions. *American Sociological Thought. Texts*. Ed. by V.I. Dobrenkov. Moscow: Publishing house of Moscow state university, 1994, P. 379–447. (In Russ.)
- Prilukova E.G. The power of simulacra: a socio-philosophical aspect. *Economics and Politics*. 2016, N 2(8), P. 61–64. (In Russ.)
- Pushkareva G.V. Ideas and values as a method of constructing symbolic space of the national identity. *Polis. Political Studies*. 2017, N 5, P. 156–173. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.11> (In Russ.)
- Pushkareva G.V. Symbolic forms of constructing political reality. In: Malinova O.Yu. (ed.) *Symbolic politics*. Moscow: INION RAN, 2016. Vol. 4, P. 15–29. (In Russ.)

- Pushkareva G.V., Soloviev A.I., Mikhailova O.V. *Ideas and values in public administration*. Moscow: Aspect Press, 2018, 272 p. (In Russ.)
- Smyth R., Sobolev A., Soboleva I. A Well-Organized Play. *Problems of Post-Communism*. 2013, Vol. 60, N 2, P. 24–39. DOI: <https://doi.org/10.2753/ppc1075-8216600203>
- Sukalo S.A. Symbolic policy as a technology of cultural control of mass consciousness. *Bulletin of Saint Petersburg state university of culture*. 2014, N 3 (20), P. 6–9. (In Russ.)

С.В. АКОПОВ*

СУВЕРЕННОСТЬ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Аннотация. Понятие «суверенитет» часто используется и в политической теории, и в практической политике. В качестве теоретического концепта его можно понимать по-разному: как некий заданный принцип международных отношений (К. Уолц), в качестве международного института (Р. Кеохан), социального конструктора (А. Вендт) либо особой практики власти (М. Фуко). Вместе с тем исследователям не до конца ясна связь данного понятия с эмпирической реальностью.

Данная статья опирается на различие между «суверенитетом» и «суверенностью» и рассматривает последний как элемент символической структуры, репрезентирующей себя в рамках перформативного дискурса. Этот дискурс хотя и подвержен исторической трансформации, но укоренен в природе современного политического мифа. Последний же упрочен в символической природе современного человека. В контексте данного исследования под «суверенностью» можно понимать набор перформативных и дискурсивных практик, задающих символический порядок внутри территориальной политики и в ее взаимодействии с аналогичными символическими формами «суверенностей» за пределами рассматриваемого сообщества.

Представленная статья посвящена обсуждению методологических проблем изучения суверенности. На основе анализа современного состояния исследований, в частности, работ Р.Б. Уолкера, И. Бартельсона, С. Вебер, Т. Альбертс, М. Фридена, Р.Н. Лебоу и ряда других авторов, суверенность рассматривается как разновидность перформативной дискурсивной практики, апеллирующей к конструированию и поддержанию коллективной идентичности.

Ключевые слова: суверенитет; государство; дискурсивная практика; идентичность; перформативность; символическая политика.

*** Акопов Сергей Владимирович**, доктор политических наук, профессор Департамента прикладной политологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: sergakopov@gmail.com

© Акопов С.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.10

Для цитирования: Акопов С.В. «Суверенность» как символическая структура // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 204–220. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.10>

Введение

Понятие «суверенитет» – одно из наиболее активно используемых как в политической теории, так и в практической политике. Например, в обращениях президентов к российскому парламенту, озвученных на протяжении 1994–2018 гг., слово «суверенитет» использовалось 55 раз [см.: Акоров, 2018], и еще два и пять раз соответственно в посланиях 2019 и 2020 гг. В качестве теоретического концепта суверенитет понимают по-разному: как некий заданный принцип международных отношений (К. Уолтц), в качестве международного института (Р. Кеохан), социального конструкта (А. Вендт) либо особой практики власти (М. Фуко) [см.: Ardaу, 2018; Shinko, 2017]. Как отмечает М.В. Ильин, важно внести ясность в понятие «суверенитет» и его соотношение с действительностью. В противном случае слово «суверенитет» рискует употребляться настолько часто, что это может вести не к прояснению, а, наоборот – к затемнению его смысла [Ильин, 2008, с. 14]. Научная проблема здесь заключается в том, что в современной литературе по теории международных отношений принято проблематизировать определение суверенитета в качестве «по самой сути своей оспариваемого и одновременно неоспоримого» (*essentially contested and essentially uncontested*) явления [см.: Bartelson, 2014]. Это связано с тем, что исследователям не до конца ясна связь понятия «суверенитет» с эмпирической реальностью. Как отмечает голландская исследовательница Таня Аальбертс, понятие «суверенитет» не только описывает окружающую нас реальность, но и само конституирует определенную реальность через символические дискурсивные и перформативные практики политической власти [Aalberts, 2016, p. 184].

Ситуация осложняется неоднозначностью перевода термина на русский язык. Как отмечает Ильин, английское слово *суверенитет* (*sovereignty*) можно переводить и как «суверенитет», и как «суверенность», а также его следует отличать от понятия «суверена» [Ильин, 2008, с. 19]. Придерживаясь традиции семиотического

и морфологического анализа, Ильин разбирает этимологию понятия суверенитета и выстраивает своеобразную аналитическую иерархию, в которой ближе всего к эмпирической действительности он выделяет понятие «суверен», далее идет «суверенность» и на самой наивысшей ступеньке лестницы абстракции находится собственно «суверенитет» [Ильин, 2008, с. 33]. Согласно дефиниции Ильина, *суверен* (sovereign) – это предельная инстанция, задающая политический порядок в территориальной политике, т.е. высший авторитет, относительно которого осуществляется распределение власти на данной территории. Таким сувереном может стать отдельный властитель, группа политиков или даже аналитически определяемая инстанция, например «народ», от имени которого правомочны действовать те или иные центры власти. В то же время *суверенность* (sovereignty) – это все то, что позволяет именно данной инстанции стать сувереном, т.е. позволяет *задавать порядок* внутри территориальной политики и *взаимодействовать* с властителями других территорий. Наконец, *суверенитет* (также sovereignty) – «общепризнанный политический принцип и закрепляющие его институты, которые не только делают возможным существование суверенов как таковых, но также обеспечивают их устойчивое существование друг с другом» [Ильин, 2008, с. 20–21].

Отталкиваясь от определения М. Ильина «суверенности» как всего того, что позволяет именно данной инстанции стать сувереном, т.е. позволяет *задавать порядок* внутри территориальной политики, справедливо предположить, что задавать *порядок* внутри территориальной политики можно очень разными, в том числе и символическими, способами.

Такая постановка вопроса опирается на обширную литературу, анализу которой и посвящена настоящая статья. В ее первой части мы рассмотрим суверенность как элемент символической структуры, воплощающей и обнаруживающей себя в рамках дискурсивной и перформативной практики, подверженной исторической трансформации. Во второй части мы сфокусируемся на суверенности как перформативной практике по конструированию коллективной идентичности.

Суверенность как дискурсивная и перформативная практика

Анализ литературы показывает, что задавать порядок внутри территориальной политики можно символическими средствами языка, например, через дискурсивные практики, оформляющие и продвигающие те или иные символические репрезентации суверенитета. Именно такая меняющаяся и постоянно (ре)конструируемая средствами языка природа традиционного Вестфальского суверенитета стала предметом исследования известного политического философа Роба Уолкера. Произведя деконструкцию деления мира на внутри- и внешнеполитические составляющие, Уолкер вскрыл традиционные дихотомии и дискурсивные основания деления политического мира на «внутреннее» и «внешнее». «Внутреннее» традиционно характеризуется и конструируется в терминах «порядка», «доверия», «лояльности» или «прогресса», в то время как контрастирующее с внутренним «внешнее», согласно Уолкеру, дискурсивно оформляется через понятия «конфликта», «недоверия», «принципа самопомощи» (self-help) и «анархии». Уолкер, таким образом, обращает внимание на устаревание такого традиционного со времен Вестфальской эпохи дихотомического противопоставления «внутреннего» и «внешнего», постепенно перестающего отражать меняющуюся природу суверенитета в современной Европе [Walker, 1993, p. 159].

Понимание «суверенности» как дискурсивных практик, оформляющих и продвигающих те или иные символические репрезентации суверенитета, вполне вписывается в определение символической политики как деятельности, «направленной на производство и продвижение / навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности» (Малинова, 2010, с. 93.). В этом смысле суверенность как символическая структура (а также набор дискурсивных практик по ее продвижению) становится одной из важных сцен символической борьбы, «навязыванием легитимного видения социального мира» и даже ареной «символического насилия» (в понимании П. Бурдьё).

Что же такое – эти дискурсивные практики? Вслед за М. Фуко австралийские ученые Карол Баччи и Дженнифер Бонхам предлагают понимать дискурсивные практики «как правила или, точнее, набор рутинизированных множеств гетерогенных отноше-

ний между телами, вещами, действиями, понятиями и т.д. при работе по формированию и функционированию дискурса, понимаемого как знание» (Bacchi, Bonham, 2014, p. 183). Мы помним, что у Мишеля Фуко одной из целей анализа дискурсивных практик было выявление «исторического бессознательного» разных эпох. Могут ли такие дискурсивные практики обладать символической нагрузкой? Безусловно да, так как дискурс и практики неразделимы, ибо любые «высказывания» (statements) одновременно являются актами (практиками), иницилирующими целые поля взаимосвязей, изначально пронизанных взаимоотношениями власти. Такие «высказывания» (например, на тему «суверенитета») являются одновременно и дискурсивными практиками, символически предписывающими определенные субъектные позиции, т.е. предполагающие модальности, побочно конституирующие отношения власти [Ibid., p. 185].

Однако суверенность – это не просто дискурсивная, но еще и перформативная практика. Свойство перформативности проявляется в том, что дискурсивные практики суверенности сразу включают в себя сеть правил или наборов отношений, которые определяют в обществе не только то, что оказывается осмысленным, но и даже полномочия, которые могут быть присвоены «тому, что сказано», иначе говоря, правила, которые заставляют воспринимать «говорящего всерьез» [Ibid., p. 187].

На наш взгляд, перформативность дискурса о «суверенности» как раз заключается не столько в контенте «высказывания», сколько в его способности создавать или возобновлять властные связи и на уровне дискурса предписывать участникам политической коммуникации определенные субъектные позиции (в том числе через «продвижение» определенных моделей политической идентификации). Конечно, такие связи произвольны, и, вероятно, лимитированы имеющимися у сторон материальными и другими ресурсами (в том числе доступ к аудитории через СМИ и т.д.). Вместе с тем, согласно Баччи и Бонхам, порождение «реальности» всегда имеет властное и политическое измерение, и, более того, носит характер, принципиальным образом объединяющий материальное и символическое (bridging a symbolic-material division) [Ibid., p. 191].

* * *

Итак, мы описали суверенность как дискурсивную практику. Однако далеко не все дискурсивные практики перформативны. Изначально понятие «перформативность» было введено английским философом языка Джоном Остином, который уточнил такие более ранние концепты, как «перформативное произнесение» (utterance), «перформативное предложение» или «перформаторность» (performatory) до более краткого понятия «перформатив» (performative). Тем самым Остин указал, что некоторые высказывания (например, публичное принесение клятв) являются по сути своей также одновременно и *произведением действий* (performing an action) [Austin, 1975, p. 6–7]. Такой «перформатив» представляет собой *подвид речевого акта* в форме фразы-действия. На наш взгляд, публичная констатация суверенности может играть роль подобного перформатива, т.е. представлять собой *перформативную практику*, подразумевающую действия по установлению той или иной формы суверенности.

Как и любая другая концепция, понятие «суверенитет» призвано структурировать реальность вокруг нас. Однако за этим стоит более сложный вопрос о том, как «суверенитет» коррелирует с эмпирической реальностью. Ссылаясь на аналитическую философию Л. Витгенштейна, эксперт из Нидерландов Таня Аальбертс указывает на перформативный характер суверенитета. По ее мнению, «суверенитет» не только описывает, но и *представляет собой* определенную реальность [Aalberts, 2016, p. 184]. Более того, хотя суверенитет, как правило, рассматривается как основополагающий принцип современного государства, нет всеобъемлющего описания суверенитета, который универсально применим ко всем случаям государственности. Поэтому суверенитет не имеет четкой корреляции с каким-либо конкретным объектом референта: «Хотя мы можем перечислить многие вещи, которые тесно связаны с символами или проявлениями суверенной государственности, – такими, как армии, граждане, посольства или монархические ритуалы, – ни одна из них не охватывает понятия *суверенитет* полностью. Точно так же, – считает Аальбертс, – суверенитет относится и ко многим *нематериальным* элементам – например, верховенству (supremacy), территориальности, юрисдикции, автономии, но при этом ни один из них не эквивалентен суверенитету в целом. Ско-

рее, как и любая концепция, суверенитет связывает друг с другом сразу несколько элементов, несколько аспектов и опытов. Более того, эти элементы могут быть идентифицированы именно в качестве “территории” (а не просто почвы) или “граждан” (а не просто случайных людей) именно в силу суверенной государственности как института международного сообщества. И, что важно, сам суверенитет является продуктом такой *теоретической конфигурации*» [Aalberts, 2016, p. 184].

В том же духе рассуждает и шведский специалист по изучению суверенитета Йенс Бартельсон, предложивший думать о «суверенитете» как о сети понятий, каждая из которых порождает элементы, которые все приобретают одновременный смысл лишь в рамках определенной исторической и теоретической структур [Bartelson, 2014, p. 14]. Заимствуя понимание символических форм у Э. Кассирера, Бартельсон полагает, что «суверенитет – это *символическая форма*, посредством которой люди на Западе воспринимали и организовывали свой политический мир в период Модерна» [Ibid.]. Причем «мы не можем утверждать, что знаем, что означает суверенитет в данном контексте, без того, чтобы не иметь *имплицитное* представление о том, что такое есть суверенитет в конечном счете» [Ibid., p. 2].

Согласно Бартельсону, концепция «символических форм» относится к конкретным структурам, используемым для организации в умопостигаемые единства (intelligible wholes) того, что в противном случае оставалось бы беспорядочным опытом. «Эти структуры можно понимать как *способы объективации*, которые позволяют нам объединять элементы опыта в соответствии с общими принципами, открытыми для бесконечной модификации, и существующими независимо от их конечных результатов» [Ibid., p. 14]. Поясняя свою мысль о суверенитете как символической форме, Бартельсон проводит аналогию с геометрическими фигурами. Если мы мыслим суверенитет как некий план или проект *восприятия и организации политического мира*, то вопрос о его «реальности» не так принципиален [Ibid., p. 14]. Важно разобраться в том, каков общий принцип создания геометрических форм, и какие формы, помимо треугольника – условно говоря, «квадратные» или «трапециевидные» – бывают.

Той же логике следуют Томас Биерстекер и Синтия Вебер, рассматривая суверенитет как дискурсивную практику, обеспечи-

вающую государству символическую репрезентацию воли «народа». Поскольку такая символическая репрезентация воли «народа» не очевидна, то принято считать, что суверенитет в значительной мере может быть продуктом социального конструирования: «Идеал государственного суверенитета – продукт действия влиятельных акторов и их сопротивления активности тех, кто находится на периферии власти» [State Sovereignty ..., 1996, p. 3]. Синтия Вебер даже назвала такое конструирование «симулякром», «имитацией суверенитета». Она полагает, что суверенитет может представлять собой, в частности, символический способ репрезентации, позволяющий государству говорить от имени «народа» [см.: Weber, 1992, p. 199–216]. Успешное использование риторики «суверенитета», по мнению исследовательницы, даже может анализироваться в качестве «перформативных воплощений» (performative enactments) государственного суверенитета, своего рода «симулирования суверенитета» со стороны различных «перформативных государств» [см.: Weber, 1998, p. 92].

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что «суверенитет» может выступать в виде символической формы, выраженной с помощью языка, – например, в форме риторической фигуры, тропа [Aalberts, 2016, p. 195], а также обладающей свойством перформативности [см.: Ibid., p. 192]. Перформативный характер понятия суверенитета выражается в том, что оно не столько описывает реальность, сколько само по себе является (политическим) действием в направлении построения «какой-либо» реальности. Наподобие клятв, приказов, обещаний или предупреждений у Д. Остина, в нашем случае провозглашение суверенности также является речевым актом, равноценным поступку. Здесь важно особо подчеркнуть, что согласно приведенному определению перформативности, перформативный акт (в отличие от описанных Остином «констативов») невозможно оценить на предмет его истинности или ложности. Однако можно выявить условия успешного употребления перформативного акта – так как в конечном итоге перформативы базируются на укоренившейся *системе принятых в конкретном обществе норм и ценностей*. Таким образом, принимая во внимания разработки вышеупомянутых авторов, в контексте данного исследования *под «суверенностью» можно понимать набор перформативных и дискурсивных практик, задающих символический порядок внутри территориальной политики и в ее взаимодействии с*

аналогичными символическими формами «суверенностей» за ее пределами.

Суверенность и конструирование коллективной идентичности

Когда мы смотрим на суверенитет как дискурсивную практику, перформативно предписывающую определенные субъектные позиции (и одновременно как модальность, конституирующую отношения власти), мы понимаем, что такие предписания должны на что-то опираться. Чтобы быть реализованными, они должны основываться на готовности адресатов принять предлагаемые им политические позиции. То есть должна присутствовать «имплицитная» (пользуясь выражением Бартельсона) лояльность потребителей предписаний той или иной символической форме «суверенности». Должна наличествовать изначальная (историческая) предрасположенность адресатов перформативных практик суверенности определенной модели *политической идентификации*. В этом смысле это может быть объективным ограничителем успешной трансляции того или иного способа суверенности в публичном пространстве (в процессе политической коммуникации).

При этом важно помнить, что в широком смысле политическая идентификация включает в себя не только проекции в политическую сферу национально-цивилизационных, этнонациональных, расовых, религиозных, территориальных, гендерных, культурных и других социальных идентификаций [Семененко, 2012, с. 72], но и процесс осознания людьми своей собственной «самобытности» [см.: Елисеев, 2005]. В последнем случае особенно важна роль нарративов суверенности, т.е. речь идет о конструировании субъектом некоего рассказа о себе в процессе осознания им уникальности собственного опыта, так как политическая идентификация, оформленная в виде нарративов, облегчает интернализацию когнитивных схем и поведенческих моделей, присущих конкретному политическому сообществу.

Однако такие каналы индивидуальной самоидентификации индивидов опосредованы формами коллективного воображения, так как последние являются способами связи и организации властных отношений в конкретных сообществах. Более того, идентификация с одним и тем же сообществом (в коллективном воображе-

нии этого сообщества) происходит по разным лекалам, что может обуславливать дилеммы макрополитической идентичности, в современном российском контексте, например, это будет дилемма идей нации или цивилизации [Малинова, 2012, с. 353–354]. На наш взгляд, различные дискурсивные практики суверенитета как раз могут быть исследованы в качестве вариантов подобных лекал, по которым индивидам предлагается строить свою идентификацию с политическими сообществами на основе определенной символической формы «суверенности».

Следует отметить, что опубликованные в 1992 г. идеи С. Вебер о символической репрезентации и «символическом» конституировании суверенитета были относительно новыми в теории международных отношений применительно к проблемам политической идентичности. Однако еще раньше американский социолог Эрвин Гоффман, а чуть позже – философ Джудит Батлер писали о том, что сила языка может выполнять перформативную роль в процессе конституирования идентичностей. В феминистской теории Батлер это, прежде всего, перформативность гендерной идентичности – телесных и дискурсивных практик в рамках ее теории гендерной идентичности [Butler, 1990, p. 136], которая затем развилась в ряде классических работ по феминистской теории международных отношений в концепции интерсекциональности [см.: Crenshaw, 1991]. Представляется, что по причине неизбежности для любого человека процесса его идентификации с политическим сообществом, точно так же неизбежным оказывается и наличие в сообществе того или иного типа «суверенности», под которым мы по-прежнему понимаем непреложный способ *задавать тот или иной порядок* внутри политики. Более того, сама риторика о суверенитете – в силу перформативности ее природы – также может представлять собой символический способ *задавать такой порядок*. Иллюстрацией тому может служить высказывание президента Франции Эммануэля Макрона: «Соединенные Штаты – наш исторический союзник, но быть союзником – не значит быть вассалом, мы не должны зависеть от них... Я *верю* в европейский суверенитет»¹.

¹ Подробнее о других метафорах суверенности в этой же речи французского президента см.: Retrouvez les principales déclarations d'Emmanuel Macron sur TF1 depuis le porte-avions «Charles-de-Gaulle» Le Monde. 14 Novembre: – Mode of

Этот пример показывает, что суверенность декларируется как попытка представить что-то условное и конвенциональное (например, то или иное лекало восприятия политического прошлого) как безусловный, естественный, универсальный или даже единственный «нормальный» политический порядок. Таким образом, перформативные практики суверенности могут быть направлены на воспроизводство или оформление доминирующих способов *политического воображения* – национального, цивилизационного, транснационального или космополитического. Таким образом, дискурсивные практики и символические формы «суверенности» оказываются тесно переплетенными с моделями политической идентификации, и можно рассматривать суверенность как перформативную дискурсивную практику по конструированию коллективной идентичности.

В этом утверждении можно опереться на разработки М. Фридена и Р. Лебоу. Оба теоретика указывают на связь суверенности и политической идентичности. Согласно мнению М. Фридена, коллективная идентичность – это набор глубоко укоренившихся культурных, религиозных, гендерных и этнических атрибутов и привязанностей. И мышление в категориях суверенитета – это, собственно, и есть политическая инкарнация и воплощение таких привязанностей, выступающее в качестве юридической и формальной, а также «*мифической*, консолидирующей защитной структуры» [Freedden, 2013, p. 120].

Схожим образом ставит вопрос профессор Королевского колледжа Лондона Ричард Нед Лебоу. По мнению Лебоу, концепция суверенитета послужила правовой основой для государства и дала руководителям государства почти неограниченное право действовать по собственному усмотрению в пределах собственных границ. Более того, теория суверенитета также оправдывала использование силы за пределами национальных границ ради национальных интересов, если это согласовалось с законами военного времени. Суверенитет, полагает Лебоу, – это теория с довольно разнообразным и даже «мутным» (*turky*) происхождением, которая впервые была популяризирована в XVII в. В то время больше внимания уделялось внутренним, нежели международным послед-

ствиям имплементации теории суверенитета. Рассуждая о теории суверенитета, зародившейся в Новое время в Европе в работах Гроция, Гоббса и Пуфендорфа, Лебоу видит в этом принципе феномен наделения государств «моральными персонами», самосоздающими и поддерживающими себя через взаимное принятие между собой прав и обязанностей [Lebow, 2016].

Лебоу считает, что нарратив о суверенитете, который узаконил накопление власти центральными органами государства и изображал государство как единственное сосредоточение экономической, политической и общественной жизни народа, развился под влиянием Канта, Гегеля, а также других юристов и историков XIX–XX вв. (Клаузевиц, Ранке). Таким образом, отмечает Лебоу, идеология суверенитета сделала бинарность «мы» и «другие» кажущимся естественным и даже прогрессивным принципом [Ibid.]. Именно такое бинарное мышление в свое время исключило Россию и Османскую империю из круга европейских и христианских государств в качестве «других» [Ibid.].

Лебоу выделяет две модели формирования коллективной политической идентичности. Первая связана с принципом формирования чувства «мы» против внешних «других», вторая же – со стремлением к повышению самооценки. По мнению Лебоу, социальные идентичности могут играть роль буферов, снижающих тревожность и взращивающих чувство собственного достоинства, позволяя людям «греться в лучах славы» и достижений той группы, с которой они себя решили идентифицировать. И борьба за честь и достоинство, и страх перед внешними врагами выступают как инструменты конструирования коллективной идентичности [Ibid.].

Представляется, что обе описанные у Лебоу модели формирования коллективной идентичности можно связать с дискурсивными практиками и символическими формами суверенности. Только в первом случае (формирования чувства «мы» против внешних «других») символические репрезентации суверенитета опираются на то, что Уолкер ранее охарактеризовал как дискурсивное оформление внешнего измерения суверенности – «конфликта», «недоверия» и «принципа самопомощи». Что касается «стремления к повышению самооценки», то здесь суверенность перформативно задается через то, что Уолкер связал с понятиями «порядка», «доверия», «лояльности» внутри политического сообщества. Таким образом, модель формирования коллективных

идентичностей Лебоу иллюстрирует традиционные дихотомии и дискурсивные основания деления политического мира на «внутреннее» и «внешнее», намеченные ранее в конструктивистских исследованиях природы суверенитета Р.Б. Уолкером.

Заключение

Проделанный нами анализ литературы позволяет выделить ряд оснований символического порядка суверенности. Первым основанием служат дискурсивные практики, оформляющие суверенность в символическую структуру. Эти языковые практики способствуют продвижению того или иного типа понимания суверенности, параллельно делая дискурс о суверенности сценой символической борьбы по навязыванию разных способов (легитимного) видения социального мира. Например, суверенность может рассматриваться как дискурсивная практика, обеспечивающая символическую репрезентацию воли «народа» в лице конкретного государства и его элит.

Во-вторых, помимо непосредственно «контента» высказывания дискурс о суверенности обладает еще и перформативным свойством. Это означает, что каждый новый факт публичного воспроизведения того или иного способа артикуляции суверенности одновременно становится политическим перформативом – актом (практикой), инициирующим целые поля взаимосвязей, изначально пронизанных определенными субъектными позициями влияния и авторитета. Последнее приводит к тому, что любые высказывания на тему «суверенитета» сразу превращаются в практики, символически легитимирующие и воспроизводящие старые (либо предписывающие новые) модальности властных отношений. Скорее всего, это связано с тем, что понятие «суверенитета» не только описывает, но и само одновременно конституирует определенную реальность через символические практики политической власти.

Логично, что, в-третьих, те или иные воплощения суверенности в качестве дискурсивной и перформативной практик будут непосредственно влиять на конструирование тех или иных моделей политической идентичности. Представляется, что по причине неизбежности для любого человека его идентификации с политическим сообществом, точно так же неизбежным оказывается и на-

личие в сообществе того или иного типа «суверенности». Последняя декларируется как попытка представить что-то условное и конвенциональное (например, то или иное лекало восприятия политического прошлого) как безусловный, естественный, универсальный или даже единственный «нормальный» политический порядок. Таким образом, перформативные практики суверенности могут быть направлены на оформление доминирующих способов коллективного воображения, в котором задаются модели, по которым индивидам предлагается строить свою идентификацию с государствами или другими значимыми акторами мировой политики. В результате дискурсивные практики и символические формы «суверенности» оказываются тесно переплетенными с моделями политической идентификации, и можно рассматривать суверенность как перформативную дискурсивную практику по конструированию последней.

Список литературы

- Елисеев С.М. Рецензия // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. – 2005. – № 1. – С. 241–245. – Рец. на кн.: Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 257 с.
- Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории // Суверенитет. Трансформация понятий и практик / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО, 2008. – С. 14–42.
- Малинова О.Ю. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической идентичности в постимперском контексте // Политическая идентичность и политика идентичности / отв. ред. И.С. Семененко. – М.: РОССПЭН, 2012. – Т. 2. – С. 332–354.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. – 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Семененко И.С. Политическая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности / отв. ред. И.С. Семененко. – М.: РОССПЭН, 2012. – Т. 1. – С. 71–76.
- Aalberts T. Sovereignty // Concepts in World Politics Concepts in World Politics [Internet]. – SAGE Publications Ltd, 2016. – P. 183–199. – DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/97818473921436.n11>
- Akopov S. «Duty» and «Blame» in Russian Official Symbolic Representations of Sovereignty (1994–2018). – 2018. – April 13. – (Higher School of Economics Research Paper; No. WP BRP 61/PS/2018). – DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3162008>

- Austin J.* How to do things with words. – Oxford: Oxford university press, 1975. – 192 p.
- Ardau C.* Articulations of Sovereignty // Oxford Research Encyclopedia of International Studies [Internet]. – Oxford: Oxford university press, 2018. – DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.375>
- Bacchi C., Bonham J.* Reclaiming discursive practices as an analytic focus: Political implications // Foucault Studies. – 2014. – N 17. – P. 173–192. – DOI: <https://doi.org/10.22439/fs.v0i17.4298>
- Bartelson J.* Sovereignty as symbolic form (critical issues in global politics). – L.; N.Y.: Routledge, 2014. – 134 p.
- State Sovereignty as Social Construct / Ed. by T.J. Biersteker, C. Weber. – Cambridge: Cambridge university press, 1996. – 316 p.
- Bulter J.* Gender trouble: feminism and the subversion of identity. – N.Y.: Routledge, 1990. – 272 p.
- Crenshaw K.* Mapping the Margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color // Stanford law review. – 1991. – N 43 (6). – P. 1241–1299. – DOI: <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Freeden M.* The political theory of political thinking: the anatomy of a practice. – Oxford: Oxford university press, 2013. – 358 p.
- Lebow R.* National identities and international relations. – Cambridge: Cambridge university press, 2016. – 280 p. – DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316710982>
- Shinko R.* Sovereignty as a problematic conceptual core // Oxford research encyclopedia of international studies [internet]. – Oxford: Oxford university press, 2017. – DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.300>
- Weber C.* Performative states // Millennium: Journal of international studies. – 1998. – Vol. 27, N 1. – P. 77–95. – DOI: <https://doi.org/10.1177/03058298980270011101>
- Weber C.* Reconsidering statehood: Examining the sovereignty / intervention boundary // Review of international studies. – 1992. – Vol. 18, N 3. – P. 199–216. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210500117231>
- Walker R.* *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*. – Cambridge: Cambridge university press, 1993. – 233 p. – DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559150>

S.V. Akopov*

Sovereignty as a symbolic structure

Abstract. Today, the concept of «sovereignty» is one of the most actively used, both in political theory and in practical politics. Sovereignty as a theoretical concept can be understood in different ways: as a given principle of international relations (K. Waltz), as an international institution (R. Keohan), a social construct (A. Wendt), or

* **Akopov Sergei**, National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg, Russia), e-mail: sergakopov@gmail.com

a special practice of power (M. Foucault). At the same time, it is not entirely clear to researchers exactly how the concept of «sovereignty» reflects the empirical reality surrounding us.

This article is based on the distinction between «sovereignty» as a recognized principle of international theory (Russian – *suverenitet*) and «sovereignty» as an element of a symbolic structure that represents itself in the framework of performative discourse. This discourse, although a subject to historical transformation, is rooted in the nature of modern myth. The latter is reinforced with the symbolic nature of modern man. In the context of this study, «sovereignty» can be understood as a set of performative and discursive practices that define a symbolic order within community and its interactions with symbolic forms of «sovereignty» beyond the community.

The article is devoted to a discussion of the methodological problems of studying sovereignty as a symbolic structure. Based on the analysis of the current state of research in particular, the works of R.B. Walker, I. Bartelson, C. Weber, T. Alberts, M. Freedman, R.N. Lebow, G. Wydra and several other authors, sovereignty is seen as a form of performative discursive practice that appeals to the construction and maintenance of collective identity.

Keywords: sovereignty; state; discursive practice; identity; performativity; symbolic politics.

For citation: Akopov S.V. «Sovereignty» as a political structure. *Political science (RU)*. 2020. N 2. P. 204–220. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.10>

References

- Aalberts T. Sovereignty. In: *Concepts in world politics concepts in world politics* [Internet]. SAGE Publications Ltd., 2016, P. 183–199. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781473921436.n11>
- Akopov S. «Duty» and «Blame» in Russian Official Symbolic Representations of Sovereignty (1994–2018) (April 13, 2018). Higher School of Economics research paper No. WP BRP 61/PS/2018. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3162008>
- Arda C. Articulations of sovereignty. In: *Oxford research encyclopedia of international studies* [internet]. Oxford: Oxford university press, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.375>
- Austin J. *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford university press, 1975, 192 p.
- Bacchi C., Bonham J. Reclaiming discursive practices as an analytic focus: Political implications. *Foucault Studies*. 2014, N 17, P. 173–192, April. DOI: <https://doi.org/10.22439/fs.v0i17.4298>
- Bartelson J. *Sovereignty as symbolic form (critical issues in global politics)*. London; New York: Routledge, 2014, 134 p.
- Biersteker T., Weber C. (eds.) *State sovereignty as social construct*. Cambridge: Cambridge university press, 1996, 316 p.
- Butler J. *Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity*. N.Y.: Routledge, 1990, 272 p.

- Crenshaw K. Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*. 1991, 43 (6), P. 1241–1299. DOI: 10.2307/1229039
- Eliseev S. Review of the monograph by O.V. Popova «Political identification in the transformation of society». *Political expertise: POLITEX*. 2005, N 1, P. 241–245 (In Russ.)
- Freeden M. *The political theory of political thinking: The anatomy of a practice*. Oxford: Oxford university press, 2013, 358 p.
- Il'in M. Sovereignty: the development of the theoretical category. In: Il'in M.V., Kudryashova I.V. *Sovereignty. The transformation of the concepts and practices*. Moscow: MGIMO, 2008, P. 14–42. (In Russ.)
- Lebow R. *National identities and international relations*. Cambridge: Cambridge university press, 2016, 280 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316710982>
- Shinko R. Sovereignty as a problematic conceptual core. In: *Oxford research encyclopedia of international studies [internet]*. Oxford: Oxford university press, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.300>
- Malinova O. Between the ideas of a nation and civilization: the dilemmas of macro-political identity in a post-imperial context. In: *Political identity and identity politics. Vol. 2*. Moscow: ROSSPEN, 2012, P. 332–354. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Symbolic politics and the constructing of macro-political identity in post-soviet russia. *Polis. Political Studies*. 2010, N 2, P. 90–105. (In Russ.)
- Semenenko I. Political identity. In: *Political identity and identity politics. Vol. 1*. Moscow: ROSSPEN, 2012, P. 71–76. (In Russ.)
- Weber C. Performative states. *Millennium: journal of international studies*. 1998, Vol. 27, N 1, P. 77–95. DOI: <https://doi.org/10.1177/03058298980270011101>
- Weber C. Reconsidering statehood: Examining the sovereignty / intervention boundary. *Review of international studies*. 1992, Vol. 18, N 3, P. 199–216. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210500117231>
- Walker R. *Inside/Outside: international relations as political theory*. Cambridge: Cambridge university press, 1993, 233 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559150>

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ИНИОН РАН О.Ю. МАЛИНОВОЙ С ПРОФЕССОРОМ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С.П. ПОЦЕЛУЕВЫМ

Для цитирования: Интервью главного научного сотрудника Отдела политической науки ИНИОН РАН О.Ю. Малиновой с профессором Южного федерального университета С.П. Поцелуевым // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 221–233. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.11>

О.Ю. Малинова: *Сергей Петрович, если я правильно понимаю, именно вы в конце 1990-х ввели термин «символическая политика» в российскую политическую науку. Сейчас его используют многие политологи, и не только политологи – помню, однажды я отметила его в выступлении Д.А. Медведева, тогда председателя правительства. В последнее время исследованиями политической науки стали много заниматься в России. Как вы думаете, с чем это связано? И только ли для России характерна эта тенденция?*

С.П. Поцелуев: прежде всего, уважаемая Ольга Юрьевна, большое вам спасибо за возможность высказаться на столь важную тему. Да, моя статья в «Полисе» в 1999 г. была, пожалуй, первой отечественной работой, где понятие символической политики было представлено в развернутом виде. Но концепт, что называется, витал у нас в воздухе, и когда я услышал и прочитал о нем в Германии, я сразу понял, что в России эта тема имеет большую перспективу. Помог мне это понять один замечательный немецкий ученый, автор классических работ по сюжетам символической

политики, Томас Майер. С ним я познакомился в 1997 г. в Дортмундском техническом университете, где он работал профессором политологии, а я в то время был там стипендиатом DAAD – Германской службы академических обменов. Профессор Майер совмещал и продолжает совмещать научную работу с политической, он до сих пор значимая фигура среди германских социал-демократов. Это важно отметить, потому что в той версии концепта символической политики, которую развивает Т. Майер, и которая мне в существенных моментах импонирует, сильна левая традиция критики идеологии. Соответственно, у Майера символическая политика есть концепт не только политологический, но и политический, т.е. тот самый, который в Германии давно уже стал частью повседневного политического лексикона. Там уже с 90-х годов прошлого века политики регулярно его используют в своих публичных выступлениях. Я помню, Томас Майер заметил еще тогда в одной из наших бесед, что Россия 90-х годов есть один из самых жестких «полигонов» для отработки стратегий символической политики, и он был абсолютно прав. Символическая политика была органической частью отечественной политической зоологии тех лет. Знаменитое ельцинское «не так сели» может служить символом этого варианта символической политики.

О.Ю. Малинова: *я знаю, что в последнее время вы занимаетесь другими проблемами. Следите ли вы за работами коллег, изучающих символическую политику? Можно ли говорить о каких-то тенденциях в этой литературе? Идентифицируете ли вы ее как некоторое направление?*

С.П. Поцелуев: да, если судить по названиям моих статей последних лет, да и то не всех, можно сделать вывод, что их тематика отошла от сюжетов символической политики. Но это как посмотреть. Во-первых, к тематике символической политики я время от времени возвращаюсь в своих работах. К примеру, в 2018 г. я опубликовал большую статью в «Политэксе», где, помимо прочего, речь идет о символической политике национальной мобилизации. Кстати, эта тема мне кажется еще недостаточно разработанной отечественными авторами, хотя в западной литературе об этом есть немало интересных работ. А ведь у нас – богатейший материал для таких исследований, подумаем только о процессах, которые идут на Северном Кавказе. Вдобавок замечу, что отсутствие в работе упоминания о символической политике еще не значит отсутствия

в ней соответствующей проблематики. Кто-то правильно заметил, что любой пишущий человек всю жизнь пишет одну книгу, так и в нашем ремесле: мы на самом деле всю жизнь занимаемся какой-то одной большой проблемой, которая лишь высвечивается нам разными гранями. Как бы то ни было, мне, конечно, интересны работы наших коллег, которые пишут по темам символической политики. И здесь, без сомнения, можно говорить о сложившемся научном направлении. Безусловно, сборники по символической политике, которые по вашей, Ольга Юрьевна, инициативе выходили в последние годы, стали своего рода пунктом кристаллизации этого направления, и я знаю, как нелегко они вам и вашим коллегам дались, с учетом общей ситуации в науке и в особенности вокруг ИНИОН. Но любопытно вот еще что: дискуссия в рамках этого направления в чем-то повторила ход дискуссии вокруг теории символической политики среди немецких политологов. Там тоже «критический» концепт символической политики вызвал желание его дополнить позитивными и конструктивными смыслами и функциями. Это сделало концепт, правда, более сложным, зато в некоторых аспектах менее острым политически. Но в любом случае, это способствовало его популяризации и расширению предметного поля его применения. Впрочем, и без этой реинтерпретации очевидна тенденция – как у нас, так и в зарубежных исследованиях – к расширению прикладных исследований по символической политике.

Но есть и еще один момент, который связан с общим статусом «символической политики» как методологического инструмента политической науки. Когда Мюррей Эдельман писал в 60-х годах свои классические работы по символическому языку политики, мир выглядел несколько иначе, чем сегодня: то была эпоха левых, сегодня – эпоха правых. Завтра, скорее всего, будет эпоха зеленых, которые могут быть и левыми, и правыми. Я имею в виду здесь под «эпохой» определенную культурную гегемонию, конечно, а не просто смену электоральных предпочтений. Но к этому добавляется и смена медийных эпох. Интернет, по-видимому, серьезно меняет восприятие символов. Это правда, что символическая политика всегда была, есть и будет. Но реализуется она по-разному, в зависимости от того, в какой медийной галактике она находится – Гутенберга, Маклюэна или Кастельса. В нашу эпоху тема символической политики неразрывно вплетается в более об-

шие и злободневные реалии: рост фундаментализма и национализма по всему миру, новые медиа с их постфактами, экологическая проблематика и т.п. Из-за этого традиционные сюжеты и концепты в рамках символической политики как исследовательского направления тоже, видимо, требуют переосмысления. Попытка углубить исследовательскую повестку дня по концепту символической политики неизбежно ведет к более фундаментальным вопросам: как функционирует идеология в эпоху новых медиа, какие новые возможности возникают для манипуляции сознанием, и в каком случае символы сегодня более эффективны для манипуляции, чем просто знаки? Центр идеологического процесса в когнитивной его составляющей (а она выходит на первый план) все больше перемещается из шумного пространства площадей с их массовыми символами в приватную интимность черепной коробки. Это не значит, что стало меньше протестующих людей на площадях, но сам выход на площади сегодня все чаще опосредован смартфоном как вынесенным наружу мозгом. Публичная политика все больше совершается не через эстетическое посредничество пропагандистских символов, как еще недавно в эпоху телевизора, а как «операция на открытом сознании» (по удачному выражению одного нашего отечественного автора). В этом случае слова-стимулы, минуя уровень массовости, в духе точечной рекламы и с полным знанием всех пристрастий конкретного объекта, напрямую вызывают его дела-реакции. И просто знаки в этой ситуации не менее важны, чем символы, поэтому не случайно, например, что для объяснения победы Трампа в немецкие ток-шоу периода 2016–2017 гг. приглашали не столько специалистов по символической политике, сколько нейролингвистов и экспертов в области таргетированной рекламы.

Это не значит, конечно, что концепт символической политики устаревает, но он требует развития вместе с реалиями, которые он отражает. При этом важно, именно для нас, политологов, важно, иметь в виду следующий момент. Символическая политика как исследовательское направление есть часть более широкой темы – анализа идеологического дискурса. И недооценка идеологического аспекта символической политики лишает весь этот концепт его аналитической остроты именно для политологов. Мы должны всегда помнить о второй части выражения «символическая политика», т.е. о том, что речь здесь идет не просто о символическом изобра-

жении политики, а о реализации конкретной властной воли посредством конкретных символов, нацеленных на внушение конкретных смыслов. Другими словами, мы всегда должны задавать вопрос, в духе известной работы Г. Лассуэлла, кто, что, кому и как показывает в виде политического символа, и зачем показывает, с какой целью? Когда мы говорим, что символическая политика есть противоположность фактической политики, это не значит, что от этого символическая политика менее реальна и менее «фактична». И никто из серьезных авторов, писавших о символической политике, не стал бы утверждать такую нелепость. Символическая политика – это просто другая форма вполне реальной политики, но суть ее в том, что она никогда не является вполне тем, чем кажется, на что она указывает как на свой якобы референт. В этой интриге между реальным и видимым выражается манипулятивная стратегия власти: выдать за реальность то, что она не может или не хочет делать. Политика есть власть, а власть значит идеология. А идеология с необходимостью включает в себя стремление выдать частный интерес в качестве общего. Конечно, идеология значит не только это, и общий интерес она тоже выражает; но без этой фундаментальной подмены, этого *quid pro quo*, как выражался Маркс в «Капитале», нет идеологии, хотя есть движение, размножение, смерть идей и символов. Символическая политика есть часть властной и властвующей идеологии, поэтому она тоже всегда – так или иначе – эту функцию подмены общего частным выполняет. И поэтому она всегда есть нечто большее, чем простое выстраивание символических порядков. Когда культурологи рассуждают о социальной памяти или социальной амнезии как «семиотических феноменах» – в этом еще мало политики, но когда они ставят вопрос об «альянсе власти и памяти» (как изящно выразился Ян Ассман), – это уже ближе нашей теме.

О.Ю. Малинова: *ваши работы по символической политике опираются не только на англоязычную, но и на немецкую литературу, с которой большинство из нас в силу лингвистических ограничений не знакомы. Когда эта проблематика получила распространение в Германии? Можно ли говорить о формировании национальной традиции таких исследований? Что для нее характерно? Развиваются ли эти исследования в Западной или Восточной Германии?*

С.П. Поцелуев: я думаю, не будет преувеличением сказать, что в европейской политологии проблематика символической политики получила наибольшее распространение в Германии, первоначально не без влияния импульсов со стороны традиций Франкфуртской школы. Но и во Франции появилось немало интересных работ, и там тоже чувствуется влияние марксизма, причем не только со стороны философов, но также историков, социологов и политических антропологов. Не случайно мы видим, к примеру, родство между концептами П. Бурдьё, включающими предикат «символический», и понятием символической политики. Я помню, кстати, о весьма благожелательных отзывах Томаса Майера об идеях Бодрийяра, так что здесь у немцев с французами было немало общих точек соприкосновения. Но в Германии 1990-х годов по тематике символической политики был настоящий бум. Кстати, это понятие использовалось и ретроспективно – вышло немало блестящих работ немецких авторов по символической политике нацизма, по его политической эстетике. Жаль, что они не доступны широкому русскоязычному читателю – очень актуальная сейчас тема на постсоветском пространстве. Однако уже в «нулевых» годах поток публикаций по символической политике пошел в Германии на спад, и в 2010-х годах эта тенденция только усилилась. Я вижу это по работам того же Томаса Майера, но не только. Как это можно объяснить? В фундаментальном плане – подвижками в общей научной повестке дня социогуманитарных наук, выходом на первый план сюжетов, рождаемых эпохой Интернета, искусственного интеллекта и т.п., чрезвычайной популярностью когнитивистики. В дискурсивной сфере, куда относится тематика символической политики, решающей становится не столько оппозиция символического и материального (вещного), сколько реального и фиктивного (симулятивного). Наконец, дает о себе знать и феномен интеллектуальной моды, который в гуманитарных науках особенно заметен.

Но это – о теории символической политики в нашей науке, и здесь, конечно, я даю свою субъективную оценку, которую каждый может оспорить. Более очевидным образом обстоят дела с концептом символической политики в публичном политическом дискурсе современной Германии. По моим ощущениям, он стал употребляться там еще шире, чем раньше, хотя и упростился, тривиализировался по смыслу. Тон здесь задают, конечно, журналисты.

Общий смысл используемого ими термина «символическая политика» превосходно выразил известный немецкий публицист Йенс Йессен в своей статье 2006 г., опубликованной в журнале «Aus Politik und Zeitgeschichte»¹. А этот журнал, замечу, является официальным органом германского государственного учреждения – Федерального агентства, ответственного за развитие гражданского образования и напрямую подчиненного федеральному Министерству внутренних дел. По словам Йессена, «символическая политика – это политика знаков: слов, жестов и образов; она разворачивается в смысловом пространстве. Фактическая политика – это политика дел: войн, договоров, налогов и пошлин; она разворачивается в материальном пространстве». Можно, конечно, возмущаться таким дуализмом символического и фактического, но именно в этом смысле и употребляется термин «символическая политика», так сказать, «в миру». Журналистам нужен сенсационный негатив, он лучше продается, а в качестве такового лучше подходит манипулятивный смысл символической политики. Поэтому даже когда в телестудию приглашают профессоров вроде Ульриха Сарцинелли, известного в Германии специалиста по символической политике, от них ждут очередного разоблачения «символической, а не реальной политики». И неважно, что при этом обсуждается, очередная встреча G-7, проблемы немецких сельхозпроизводителей, симуляция природоохранной деятельности или разрыв между настоящими и символическими зарплатами: во всех случаях акцентируется упомянутый дуализм, потому что в публичном дискурсе востребован именно он, а не комплексные академические концепты. В этом контексте даже сами по себе справедливые оговорки выступающих на публике профессоров (нельзя приравнивать символическую политику к политике эрзацев и плацебо!) не находят понимания. Я ради интереса посмотрел недавно, какие смыслы реализует хэштег #symbolpolitik в Твиттере – вот типичный пост от 30.01.2020 от «Fridays for Future Bremen»: «Мы будем и дальше требовать последовательных и радикальных мер для защиты климата! Дело не должно ограничиваться одной только символической политикой, надо на деле защищать климат!». А вот сходная

¹ *Jessen J. Symbolische Politik – Essay // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2006. – N 20. – Mode of access: <https://www.bpb.de/apuz/29742/symbole> (accessed: 12.02.2019.)*

типичная сентенция из свежей (январь этого года) статьи, опубликованной в газете «Die Zeit», в рубрике «Символическая политика»: «Реальность и политическая общественность отдаляются друг от друга. Политика все чаще только имитируется». Не буду множить эти примеры, которые показывают, что наш академический концепт символической политики не совпадает с публицистическим, да он и не должен, конечно, с ним совпадать, просто недооценка этого момента может приводить к недоразумениям в нашем общении с медиа.

Что касается национальных традиций в исследовании символической политики, то я не берусь об этом судить, потому что данный вопрос требует специального анализа. Впрочем, я подозреваю, что даже если такие особые традиции и наблюдались в период формирования этого научного направления в 70–80-х годах прошлого века, то со временем они во многом выровнялись и утратили свое значение, что вообще характерно для современной глобализованной науки, ставшей одной «большой деревней». И наше исследовательское направление по символической политике, возникшее позднее, здесь не составляет исключения. Но у нас есть ведь оригинальный корпус идей, который может быть использован для развития самого концепта, – подумаем только о такой фигуре, как Ю.М. Лотман. В этом плане, я думаю, нам есть куда расти, и не только использовать методологические идеи с чужого плеча, лишь «прокатывая» их на отечественном эмпирическом материале. В плане оригинальных теоретических синтезов по теме символической политики нам в России уже есть что предъявить. Здесь я бы выделил, прежде всего, хорошо проработанные сюжеты по отечественной политике памяти, в частности, ваши работы, Ольга Юрьевна, а также ваших коллег К.Ф. Завершинского, А.И. Миллера, В.А. Ачкасова и других. С большим интересом читал я статьи по прикладным аспектам символической политики, к примеру, работы О.В. Поповой, Д.Е. Москвина, В.Н. Ефремовой, И.С. Башмакова, С.А. Миронцевой, И.В. Николаева и многих других наших коллег, среди которых немало молодых исследователей.

О.Ю. Малинова: *чем вы занимаетесь сейчас? Расскажите о ваших недавних и нынешних проектах.*

В последние годы я вместе с моими ростовскими коллегами работал над серией научных проектов, финансируемых РГНФ – РФФИ. Эти проекты объединяются когнитивистским концептом

политической идеологии, который в некоторых моментах соприкасается и даже переливается в проблематику символической политики. К примеру, феномен политической корректности можно описывать как случай символической политики (как это делает в одной из своих статей упомянутый мной выше немецкий публицист Йенс Йессен), но мне представляется здесь методологически более конкретным понятие символической цензуры как своего рода промежуточного звена между прямой текстовой цензурой и цензурой когнитивной. Мы с коллегами как раз выполнили в прошлом году научный проект при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, посвященный стратегиям когнитивной политической цензуры. Поясню: эта цензура возникает в условиях информационного половодья, присущего новым медиа, когда феномены вроде «закона Гилмора», «эффекта Б. Стрейзанд» и т.п. делают неэффективными традиционные способы политического цензурирования публичного дискурса. С другой стороны, в упомянутом «половодье» исчезают общепризнанные авторитетные источники информации, а также монополия СМИ на публичное внимание, что для медийной аудитории крайне затрудняет идентификацию надежной информации. Новейший способ политической цензуры использует этот уязвимый (в когнитивном смысле) момент публичной коммуникации. Появляется возможность целенаправленно заполнять медиaprостранство информационным потоком, который ведет к локальному ослаблению базовых когнитивных способностей аудитории, прежде всего внимания, но также, к примеру, и памяти. Цель здесь сугубо властная, конкретная и вполне идентифицируемая – заблокировать восприятие информации, подлежащей негласному запрету в интересах конкретных политических акторов. Мы не только попытались обосновать сам концепт когнитивной цензуры, но и «обкатали» его на конкретном примере. С использованием российских систем медиамониторинга «Медialogия» и «YouScan» мы постарались рассмотреть, какие стратегии когнитивной политической цензуры работали в дискурсе президентских выборов 2019 г. на Украине. Получили весьма любопытные результаты, отчасти сопоставимые с опытом когнитивной политической цензуры в Китае и Турции.

Параллельно с этим проектом в наступившем году мы завершаем трехлетнее исследование, также при поддержке РФФИ, посвященное когнитивно-идеологическим матрицам при воспри-

ятии студентами социально-политических кризисов. Этот проект, как и упомянутый выше, тоже совмещает в себе, с одной стороны, оригинальный концепт и связанную с ним теоретическую работу обоснования, а с другой – апробацию данного концепта в конкретном социологическом исследовании. Причем этот проект стал продолжением нашего более раннего исследования 2014–2016 гг. при поддержке РГНФ, в ходе которого мы изучали праворадикальные идеологемы в сознании студентов Ростовской области. В сравнении с ним наш текущий проект существенно шире по своей проблематике и географии, учитывая любые идеологические установки студентов, причем не только в Ростовском регионе, но на Юге России в целом. К слову сказать, это социологическое исследование далось нам непросто. Мы обнаружили, что руководство ряда университетов крайне настороженно относится к перспективе опроса своих студентов коллегами со стороны. В одном учебном заведении (не буду его называть, так как, в конце концов, опрос мы в нем успешно провели, причем при теплой поддержке местных коллег-социологов, хотя и не без помощи нашего ректора И.К. Шевченко, а также Полномочного представительства Президента) проректор по науке письменно отказал нам в допуске к студентам, сославшись на «непрофессионализм» нашей опросной анкеты. Тем не менее вопреки всем препонам и нечестным приемам нам удалось опросить две с половиной тысячи студентов в университетах Астрахани, Краснодара, Нальчика, Новочеркасска, Пятигорска, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Всегда испытываешь особое наслаждение, когда держишь в руках живой материал честно проведенного социологического исследования. Я уверен, что каким бы субъективным и в чем-то некорректным ни было истолкование этого материала, он ценен сам по себе, к примеру, для будущих историков, которые будут судить о нашем времени со своей «колокольни». Но для нас этот материал, помимо чисто фактической ценности, имеет и концептуальный смысл, связанный с упомянутым понятием когнитивно-идеологических матриц. Для нас этот концепт есть попытка преодолеть дилемму, перед которой часто оказывается современный исследователь идеологических установок молодежи: либо он должен зафиксировать приверженность респондента определенной политической идеологии, либо сделать вывод об идеологической нейтральности его сознания. Но фактически имеет место нечто третье: сознание молодых людей

полно самых разных идеологем, однако определить его приверженность конкретной идеологии крайне трудно. И если не подгонять фактические идеологические аттитюды наших респондентов под разные идеологические «измы», тогда надо конкретизировать понятие идеологии в когнитивном ключе – как живое сознание живых людей, а не абстрактную совокупность понятий. Наш концепт когнитивно-идеологической матрицы идет в этом направлении, не ограничиваясь представлением о матрице как основе для серийного производства идеологических смыслов. Прежде всего, мы видим в идеологической матрице (по аналогии с пониманием матрицы в физике) изначально инертную когнитивную среду, в которой помещены изолированные идеологемы, которые удерживаются этой средой от взаимодействия между собой и с внешним миром. Однако по мере повышения «температуры» социальных взаимодействий (к примеру, в условиях острого социального кризиса) когнитивная среда, окружающая идеологемы, перестает быть нейтральной, начинается связывание идеологем в идеологические концепты. И тогда матрица начинает штамповать смыслы подобно типографской матрице.

Я привел только пару из тех сюжетов, которыми сейчас занимаюсь вместе с моими коллегами. Но как я уже говорил выше, – и я думаю, это не только у меня так, – наши прошлые исследовательские сюжеты никогда окончательно не исчезают из нашей головы. Я вот, к примеру, начинал свою научную биографию в далеких уже 1980-х годах с анализа философии молодого Дьердя Лукача. Но мне приходилось, даже уже работая в другой науке, время от времени к этим сюжетам возвращаться. Сейчас вот готовлю статью о русской рецепции Лукача для немецкого сборника. Так что наше исследовательское прошлое постоянно настаивает на нас, но это, похоже, нормальный случай.

О.Ю. Малинова: *вместе с вами работает немало молодых коллег. Можно ли сказать, что в ЮФУ формируется научная школа? Как бы вы определили направление, которое вы с коллегами разрабатываете?*

С.П. Поцелуев: да, вы правы, у нас за время работы над серийей научных проектов сформировалась замечательная исследовательская команда, куда входят коллеги и помоложе, и постарше меня, и совсем еще молодые люди из числа аспирантов и студентов. Но я не стал бы эту команду обозначать таким ответственным

термином, как «научная школа». У нас в Ростове, по крайней мере в РГУ-ЮФУ, уже относительно давно сформировалась общая научная политологическая школа, у истоков которой стоит наш замечательный старший коллега Виктор Павлович Макаренко. Мы все, так сказать, вышли из его шинели, многому в политологии у него научились, и до сих пор учимся. У ростовской политологической школы несколько поколений, и у каждого из них есть свои методологические и политические вкусы, свои оценки советского прошлого и постсоветского настоящего, но есть нечто общее – отсутствие сервильности как способа политологического мышления. Это идет от той части традиций философского факультета РГУ, которые я особенно ценил у моих учителей. На философском факультете, который, кстати, в этом году празднует свой полувековой юбилей, нас больше учили – если перефразировать известную сентенцию – быть оводом на тучном теле власти, чем как правильно завязывать галстук перед начальством. Я не хочу тем самым сказать, что все политологи должны быть непременно сократами; кто-то, наверное, может быть и прилично образованным софистом в хорошо сидящем костюме. Но просто таковы наши традиции – нравятся они кому-то или нет.

Вот на таком фоне сформировалась наша исследовательская команда – именно команда, потому что у нас абсолютно горизонтальные отношения взаимной дополнительности и заменяемости. И я точно могу сказать о формировании отдельного исследовательского направления по мере нашей работы над тематически родственными проектами. Я бы обозначил это направление как «политический анализ идеологического дискурса», в единстве теоретической и прикладной составляющих этого анализа. В этом направлении органически сплетаются как минимум три момента: традиционный анализ идеологических концептов в рамках политической философии, методология политического дискурс-анализа и подходы из сферы когнитивистики. Так что направление это получается у нас междисциплинарное, в том числе и по составу участников. За прикладную социологию в наших проектах отвечает коллега из Института социологии и регионоведения ЮФУ, опытный специалист П.Н. Лукичев, доктор социологических наук. Из Южного научного центра РАН с нами уже несколько лет сотрудничает Л.Б. Внукова – опытный исследователь региональных социально-политических проблем, тоже политолог и социолог в одном лице. Замечательно, что по мере реа-

лизации проектов наши люди защищают кандидатские и докторские диссертации. Мои ближайшие коллеги по команде, М.С. Константинов и Т.А. Подшибякина, активно работают над завершением своих докторских диссертаций, а несколько моих аспирантов уже успешно защитили кандидатские по темам, близким сюжетам наших исследовательских проектов. К примеру, в прошлом году под моим руководством была защищена интересная работа на тему «Технологии национальной мобилизации в многосоставных обществах с этнокультурной сегментацией». Ее автор, С.Н. Цибенко, является сотрудником Центра междисциплинарных гуманитарных исследований ЮФУ, и у нас уже имеется опыт творческого сотрудничества с этим «мозговым центром», который возглавляет замечательный ученый В.В. Цибенко. Причем замечу, что в упомянутой диссертации активно используется понятие «технологий символической политики», и нам было очень кстати сослаться здесь на ваш, Ольга Юрьевна, курс в Высшей школе экономики с аналогичным названием. Так что, как видите, я не только не забываю о концепте символической политики, но и моих учеников к нему приобщаю, по крайней мере там, где это нужно и методологически работает. В целом проблематика символической политики продолжает оставаться важным моментом моих исследовательских программ. Причем органическим элементом, переведенным в плоскость эмпирически исследуемых явлений. В этом смысле я никуда от этой проблематики не ушел, я просто чуть шире «огляделся вокруг».

Спасибо вам от души, Ольга Юрьевна, за интересные вопросы, мотивирующие к саморефлексии.

О.Ю. Малинова: *вам огромное спасибо, Сергей Петрович, за интересное интервью и возможность приобщиться к вашей «творческой лаборатории».*

**The interview of professor Olga Yu. Malinova
with professor Sergey P. Potseluev**

For citation: The interview of professor Olga Yu. Malinova with professor Sergey P. Potseluev. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 221–233. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.11>

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

С.А. МЯСНИКОВ*

**ПОЧЕМУ «КРЫМ – НАШ»: АНАЛИЗ ОБОСНОВАНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА В ВЫСТУПЛЕНИЯХ
В.В. ПУТИНА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИД РФ
С 2014 ПО 2018 г.**

Аннотация. В статье представлены результаты анализа обоснования решения о вхождении Крыма в состав Российской Федерации в выступлениях президента РФ и представителей МИД РФ. Присоединение Крыма к России в 2014 г. стало индикатором изменения внешнеполитического курса РФ, что требовало официального обоснования на внешней и внутренней арене. Обоснование оказалось эффективным для внутренней аудитории, но его эффектность для аудитории внешней неоднозначна. С помощью инструментов теории стратегических нарративов изучено, как президент и представители МИД осуществляли обоснование, почему оно способствовало внутренней и могло осложнить внешнюю легитимацию. Определено, что акторы использовали способы обоснования «защита» и «контратака», которые преимущественно были основаны на апелляции к исторической памяти; защите русской культуры; защите прав крымчан; при этом формировался отрицательный образ Запада. Такое обоснование могло способствовать внутренней легитимации, однако мало учитывало культурные особенности международной аудитории. Вместе с тем особенности коммуникации по данному вопросу президента и представителей МИД РФ могли способствовать затиханию дискуссии о присоединении Крыма в международных коммуникациях. Эмпирической базой исследования являются 46 стенограмм выступлений президента РФ и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г., а также два документальных фильма, содержащих интервью В.В. Путина.

* Мясников Станислав Александрович, аспирант департамента политики и управления, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), e-mail: smyasnikov@hse.ru

Ключевые слова: президент; МИД РФ; внешняя политика; легитимация политики; обоснование политики; стратегические нарративы; В.В. Путин; присоединение Крыма.

Для цитирования: Мясников С.А. Почему «Крым – наш»: анализ обоснования присоединения Крыма в выступлениях В.В. Путина и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г. // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 234–255. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.12>

В марте 2014 г. 96,57% жителей Крыма, на тот момент еще являющегося частью Украины, на референдуме проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Присоединение Крыма стало неординарным внешнеполитическим решением российской власти, которая прежде осуждала нарушение принципа прав территориальной целостности (в частности, не признала независимость Косово). «Крымская весна», по сути, продемонстрировала миру новый вектор внешней политики РФ. Правда, некоторые авторы полагают, что внешнеполитический курс России изменился еще в 2008 г., после Мюнхенской речи В.В. Путина [Марков, 2019; Пархитко, Мартыненко, 2018]. Действительно, в 2007 г. президент озвучил новые принципы российского внешнеполитического курса. Однако есть основания утверждать, что в 2014 г. произошли более серьезные изменения. Так, военный бюджет 2014 г. был увеличен вдвое по сравнению с бюджетом 2008 г. Внешнеполитическая концепция 2016 г., в отличие от концепций 2008 и 2013 гг., больше не содержит информации о странах Запада как об основных партнерах. Внимание акцентируется на внутрирегиональном сотрудничестве и собственных интересах.

Новый внешнеполитический курс нуждался в обосновании. На наш взгляд, обоснование политики способно влиять на обретение легитимности политики, которая может являться одним из факторов легитимности существующего порядка [см.: Мясников, 2019]. Также нарративы о собственных политических действиях являются одним из инструментов мягкой силы в международной коммуникации [Roselle, Miskimmon, O'Loughlin, 2014]. Следовательно, обоснование политики для внешней аудитории может влиять на состояние межгосударственных отношений и принятие решений в международной среде.

Присоединение Крыма аргументировалось президентом, представителями МИД РФ, также интерпретировалось СМИ и ли-

дерами мнений. Обоснование оказалось эффективным для внутренней аудитории, о чем может свидетельствовать повышение рейтинга В.В. Путина [Широкалова, 2016] и данные соцопроса Левада-центра¹. Эффективность же обоснования для внешней аудитории не столь очевидна. С одной стороны, применение экономических и политических санкций против России свидетельствует о непринятии западными государствами российской внешнеполитической позиции. С другой стороны, политика санкций может соответствовать геополитическим и экономическим интересам США и ЕС. В конечном счете для адекватной оценки эффективности обоснования для внешней аудитории необходимо понимать, каким целям оно служило.

С 2014 г. было проведено большое количество исследований, посвященных присоединению Крыма к России. Например, посредством изучения нарративов дипломатов и негосударственных акторов выявлено, что дипломаты чаще используют правовые аргументы, а Крымский кризис не был решен из-за конфликтующих нарративов разных сторон [Faizullaev, Cornut, 2017]. В том числе вследствие неоднозначных трактовок международного права. Некоторые, преимущественно российские, авторы подчеркивают обоснованность и соответствие присоединения Крыма нормам, устанавливающим «право народов на самоопределение» [Томсинов, 2014; Власов, Брега, 2018]; западные ученые говорят о нарушении Россией международного права [Marxsen, 2014; Allison, 2014; Geiss, 2015; Grant, 2015]. Ученые сравнивают непризнание Крыма и признание Косово в контексте принципов права народов на самоопределение и территориальной целостности. Например, В.Г. Барановский рассуждает о том, что Москва была солидарна с сербской позицией по Косово, и наоборот, поддержала «право народов на самоопределение» в Крыму, в противовес позиции Украины [Baranovsky, 2015]. А. Бебье полагает, что население Косово, в отличие от населения Крыма, подвергалось репрессиям, поэтому эти случаи несопоставимы [Bebier, 2015]. О.Г. Карпович придерживается другого мнения. Он считает, что крымчане имели право на самоопределение, а процедура проведения референдума

¹ Присоединение Крыма // Портал «Левада-Центр». – 2019. – 1 апреля. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2019/04/01/prisoedinenie-kryma/> (дата посещения: 24.12.2019.)

соответствовала международным нормам [Карпович, 2015]. Ряд исследований посвящен рассмотрению крымского дискурса в СМИ. Так, С. Хатчингс и Дж. Шостек показали, что российские медиа в своем освещении крымских событий выделяют собственную идентичность России, основанную на культурно-исторической базе [Hutchings, Szostek, 2015]. Рассматривая возможные пути развития событий, Дж. Манкофф пришел к выводу о нарастании национализма в Украине и конфликта между российскими и украинскими элитами в результате присоединения Крыма к РФ [Mankoff, 2014]. Исследования показывают, каковы особенности приемов СМИ в формировании общественного мнения, каковы культурно-исторические, правовые и геополитические аспекты политики РФ. СМИ работают для более широкой аудитории, чем государственные акторы, при этом интерпретируют официальный дискурс первоисточников обоснования, который систематически не изучался. Однако именно президент и МИД РФ формируют, непосредственно осуществляют внешнюю политику и ее изначальное обоснование для аудитории.

Статья сосредоточена на анализе того, каким образом президент и представители МИД РФ обосновывали присоединение Крыма к России с 2014 по 2018 г. Изучение официального дискурса может показать, на чем основана политическая позиция, какова цель обоснования (что позволит оценить его эффективность); как оно изменялось; какие способы использовали акторы; как отличались официальный и дискурс СМИ; почему государственное обоснование могло оказаться эффективным внутри страны и эффективным или неэффективным для внешней аудитории.

Основанием исследования служит теория стратегических нарративов, которая позволяет понять, как акторы добиваются поставленной коммуникативной цели, на чем они основываются, формируя свою позицию в международных отношениях, за счет чего стратегические нарративы становятся привлекательными для аудитории. Сначала мы раскроем методологию исследования, затем выявим и проанализируем стратегические нарративы президента и представителей МИД, а также способы обоснования, которые использовали акторы.

Методология исследования

Авторы теории стратегических нарративов Л. Розелль, Б. О'Лугглин и А. Мискиммон попытались развить концепцию мягкой силы Дж. Ная [Nye, 2009], рассматривая публично артикулируемые нарративы как инструмент достижения привлекательности и влияния на принятие решений в международной среде.

Стратегические нарративы представляют собой «репрезентацию последовательности событий и идентичностей, коммуникативный инструмент, посредством которого политические акторы пытаются придать определенное значение прошлому, настоящему и будущему с целью достижения политических целей» [Miskimmon, O'Loughlin, Roselle, 2013, p. 2]. Во-первых, данная теория помогает выявить особенности *обоснования*, под которым мы понимаем «одно из средств легитимации политики, направленное на формирование положительного отношения к политическому курсу посредством использования публичных коммуникативных и риторических средств...» [Мясников, 2019, с. 230]. Во-вторых, поскольку нарратив «...может основываться на эмоциональных компонентах культуры, ценностях...» [Roselle, Miskimmon, O'Loughlin, 2014, p. 72], стратегические нарративы могут апеллировать как к международному праву, так и исторической памяти, символам, мифам, культуре. Изучение стратегических нарративов президента и представителей МИД позволяет не только понять основания внешнеполитической позиции РФ, но и объяснить различия в их привлекательности для внутренней и внешней аудитории.

Сравнивать и анализировать обоснование разных акторов можно посредством определения трех уровней связанных нарративов в их выступлениях. Такими уровнями являются – *system narrative (системный нарратив)* – служит для описания положения вещей, того, как «устроен мир», кто акторы в международной среде, каковы их действия. *National / identity narrative (национальный, нарратив идентичности)* – содержит рассказ о ценностях, идентичности актора, нации. *Issue narrative (нарратив о проблеме)* – информирует о том, какова политика и почему именно она нужна, как она осуществляется. *Нарратив о проблеме* встраивает действия государства в контекст, объясняя, кто основные акторы, в чем заключается конфликт или проблема, каков курс / план действий [Roselle, Miskimmon, O'Loughlin, 2014, p. 76]. Выявляя и сравнивая

стратегические нарративы в выступлениях президента и представителей МИД, можно понять, на чем основано обоснование и как оно изменялось, как формируется привлекательность нарратива для аудитории.

Нарративы артикулируются в коммуникации с другими агентами, чьи нарративы могут противоречить собственному поведению актора, т.е. в агрессивной коммуникативной среде [см.: Почепцов, 2001]. Определение способов обоснования (см. табл. 1) позволит выявить, каким было коммуникативное поведение президента и представителей МИД в условиях наличия альтернативных агентов и источников информации.

Таблица 1

Способы обоснования политики и индикаторы

Способы обоснования в агрессивной коммуникативной среде	Индикатор
1. Игнорирование	Отсутствие обоснования
2. Принятие обвинения	Согласие с неправомерностью собственных действий, оправдательный нарратив
3. Защита	Отрицание собственной вины, нарратив о необоснованности обвинений
4. Контратака	Нарратив о неправомерности и неприемлемости действий оппонента, о собственной вине оппонента, предъявление обвинений

Обоснование присоединения Крыма к РФ для внешней аудитории осуществлялось в контексте, в котором российские действия в Крыму не одобрялись изначально. России предъявлялись обвинения в аннексии Крыма. Западные и российские нарративы противоречили друг другу, имея под собой разные основания. Коммуникативная среда внутри страны не была агрессивной, оппонирующие нарративы практически отсутствовали, однако СМИ формировали образ «врага – Запада» [см.: Hutchings, Szostek, 2015], а государственные акторы, чтобы дать собственную трактовку западным нарративам, могли использовать схожие способы обоснования для внутренней легитимации присоединения Крыма. Индикатором для выявления четырех описанных способов обоснования является содержание нарративов, которое охарактеризовано в приведенной таблице.

Эмпирической базой исследования служат два документальных фильма, включающих интервью президента РФ, 15 стенограмм выступлений В.В. Путина с 2014 по 2018 г., среди которых 11 – на официальных и неофициальных мероприятиях, две пресс-конференции, два интервью печатным изданиям; 11 стенограмм выступлений министра иностранных дел С.В. Лаврова; 13 стенограмм выступлений постпреда РФ при ООН В.И. Чуркина; одна стенограмма выступления постпреда РФ при ООН В.А. Небензи; две стенограммы выступлений представителя РФ А.Д. Викторова. Данные источники были найдены при помощи поисковых систем порталов «Президент России», «МИД РФ», «Постоянное представительство РФ при ООН» согласно тематике и заданным хронологическим рамкам поиска.

Разделение дискурса президента и представителей МИД по принципу «на внешней, внутренней аренах» условно, поскольку СМИ транслируют выступления для разных аудиторий. Публика обладает доступом к широкому кругу источников информации, которые предлагает «новая коммуникативная среда» [Roselle, Miskimmon, O'Loughlin, 2014, p. 77]. Люди становятся более критичными в отношении нарративов, что порождает их соперничество (contestation). Следовательно, для того чтобы собственный нарратив мог стать привлекательнее, чем нарратив оппонента, акторы должны учитывать не только культурные особенности публики, но и уже существующие дискурсы, которые люди склонны воспринимать положительно или отрицательно.

На первом этапе осуществлялось описательное и тематическое кодирование речей, затем выделялись три уровня стратегических нарративов – повторяющихся или нет – в выступлениях акторов особых повествований, описывающих события и действия одинаковым образом, содержащих схожие ключевые сюжеты. На основе выявленных нарративов определялись основания нарративов и способы обоснования, используемые акторами.

Системные нарративы

Системный нарратив объясняет, как устроена «система» – кто основные акторы, каковы их позиции и действия, как «устроен

мир». Основные системные нарративы, используемые президентом и представителями МИД РФ, отражены в табл. 2.

Таблица 2

**Системные нарративы в выступлениях В.В. Путина
и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г.**

Системные нарративы	Использование президентом	Использование представителями МИД
Конституционный переворот на Украине, поддержанный Западом	+	+
Продолжение холодной войны	+	–
Крым – часть России	+	+
Косово	+	+
Запад нарушает международное право	–	+

События февраля и марта 2014 г. описываются нарративом «Конституционный переворот на Украине, поддержанный Западом», который возник в феврале 2014 г. и содержательно не изменялся, лишь дополнялся аргументами о вине западных государств. Повествование строится на том, что действия Запада стали причиной для вхождения Крыма в РФ. США и ЕС вмешались в дела Украины, поддержали радикальные политические движения и новую националистскую власть, что стало неприемлемо для России и жителей Крыма. Запад обвиняли в безответственности и расколе Украины, в совершенной ошибке – поддержке Майдана¹. В 2018 г.,

¹ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в Украине // Президент России. – 2014. – 4 марта. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/20366> (дата посещения: 12.06.2019.); Кондрашев А.О. Фильм «Крым. Путь на родину» // Россия 1. – 2015. – 15 марта. – Режим доступа: https://russia.tv/brand/show/brand_id/59195/ (дата посещения 12.06.2018.); Путин В.В. Интервью немецкому изданию Bild // Президент России. – 2016. – 11 января. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/51154> (дата посещения: 12.06.2018.); Большая пресс-конференция Владимира Путина // Президент России. – 2016. – 23 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/53573> (дата посещения: 12.06.2018.); Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Москва // МИД РФ. – 2014. – 14 апреля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/65830 (дата посещения: 12.06.2018.); Ответное слово Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на

в интервью В. Соловьеву, президент раскрыл не упоминаемые ранее факты. Запад попросил повлиять на В. Януковича, чтобы к протестующим на Майдане не применялась сила, а через день произошел переворот. Получается, что Запад обманул Россию, которая исполнила свою часть договоренности. «Кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали»¹. Такое изложение событий формировало образ нелегитимных действий Запада, что соответствует способу обоснования, который мы определили как «контратаку».

МИД артикулировал отрицательный «образ Запада», апеллируя к международному праву (нарратив «Запад нарушает международное право»): его представители утверждали, что ЕС и США давят на другие страны в ООН, преследуют «неоимперские традиции», действуют против прав человека и не соблюдают международные правовые акты². Здесь основным способом обоснования также выступала «контратака».

Обсуждая присоединение Крыма, В.В. Путин описывал состояние международных отношений нарративом «продолжающаяся холодная война»: он обвинял Запад в противодействии РФ и шантаже, говорил об агрессии НАТО у границ России³. Демонст-

заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2017. – 2 февраля. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_gp0202 (дата посещения: 12.06.2018.)

¹ Соловьев В.Р. Фильм «Миропорядок» // Портал «YouTube». – 2018. – 25 марта. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=kpAH0m14Kwg> (дата посещения: 12.06.2019.)

² Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», Москва / МИД РФ. – 2014. – 29 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/68466 (дата посещения: 01.08.2019.)

³ Путин В.В. Выступление на совещании послов и постоянных представителей России // Президент России. – 2014. – 1 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/46131> (дата посещения: 12.06.2018.); Большая пресс-конференция Владимира Путина // Президент России. – 2014. – 18 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/47250> (дата посещения: 12.06.2018.); Кондрашев А.О. Фильм «Крым. Путь на родину» // Россия 1. – 2015. – 15 марта. – Режим доступа: https://russia.tv/brand/show/brand_id/59195/ (дата посещения: 12.06.2018.); Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – 2015. – 3 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50864> (дата посещения: 12.06.2018.); Соловьев В.Р. Фильм

рируя предубежденность Запада, Путин доказывал, что Россия вынуждена защищать собственные интересы. При этом президент, в частности, использовал близкий россиянам образ медведя: «Может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько... Может быть, его в покое оставят? Не оставят... будут всегда стремиться... посадить его на цепь»¹. Данный нарратив, с одной стороны, формирует образ миропорядка, основанного на соперничестве, а с другой – подчеркивает необходимость защиты собственных интересов. Россия выступает здесь как сторона, которая не делает ничего плохого, однако ее провоцируют, а «провоцировать медведя опасно». Этот нарратив совмещает два способа обоснования – «контратаку» и «защиту». Представители МИД данный нарратив не использовали.

Нарратив «Крым – часть России», который использовали оба актора, основан на итогах референдума, демонстрирующих волю народов Крыма, которую исполнила Россия². Представители МИД после 2015 г. обращались к свернутой форме данного нарратива, апеллируя к немецкому социологическому опросу³, результаты которого показали, что 93% граждан Крыма поддерживают вхождение полуострова в состав России⁴. Во-первых, независимый не-

«Миропорядок» // Портал «YouTube». – 2018. – 25 марта. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=kpAH0m14Kwg> (дата посещения: 12.06.2019.)

¹ Большая пресс-конференция Владимира Путина // Президент России. – 2014. – 18 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/47250> (дата посещения: 12.06.2018.)

² Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. 2014. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/20603> (дата посещения: 12.06.2019.)

³ Oriental Review German Sociologists on Crimea's choice // «OrientalReview.org». – 2015. – February. – Mode of Access: <https://orientalreview.org/2015/02/10/german-sociologists-on-crimeas-choice/> (accessed: 13.11.2019.)

⁴ Первое ответное слово Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2015. – 17 февраля. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_rs1702 (дата посещения: 01.08.2019.); Первое ответное слово Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2015. – 6 марта. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_rp1 (дата посещения: 01.08.2019.); Ответное слово Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины // Портал «Постоянное Представительство РФ при

мецкий социологический опрос как бы подтверждает позицию РФ, во-вторых, использование свернутого нарратива показывает нежелание дискутировать на этот счет. В данном случае способом обоснования является «защита».

И президент, и представители МИД использовали нарратив «Косово», подчеркивая непоследовательность международных партнеров. Так, посол России в ООН В. Чуркин в выступлении на Совете Безопасности заявлял: «Некоторые страны, выступающие сейчас против волеизъявления крымчан, поспешили признать независимость Косово, провозглашенную, кстати, даже без референдума, просто решением парламента»¹. Напоминал об этом казусе и Путин: «В одном месте, в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это все – политические игрища»². Данный нарратив апеллирует к двойным стандартам в трактовке «права на самоопределение» и «территориальной целостности», тем самым обвиняя международное сообщество в несправедливом отношении к воле крымчан. В этом контексте способом обоснования являлась «защита» – оправдание своих действий через апелляцию к похожему кейсу обеспечения «права народа на самоопределение», который был легитимирован на международной арене. Следует напомнить, что Россия и сама не признала независимость Косово, что не помешало ее официальным лицам использовать этот казус для аргументации присоединения Крыма. При этом Путин и МИД подчеркивали, что в Косово, в отличие от Крыма, не было референдума. Тем самым присоединение Крыма было более легально, чем отделение Косово.

Системные нарративы президента и представителей МИД формируют образ Запада-агрессора, который преследует свои интересы, нарушая права человека, вмешиваясь в дела суверенной

ООН». – 2017. – 2 февраля. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_rp0202 (дата посещения: 01.08.2019.)

¹Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2014. – 13 марта. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_ukrn1303 (дата посещения: 01.08.2019.)

²Путин В.В. Интервью международному информационному холдингу «Блумберг» // Президент России. – 2016. – 5 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/52830> (дата посещения: 12.06.2018.)

Украины. Нарративы основаны на непринятии западной политики и защите интересов России. Способами обоснования являются «защита» – утверждение своей позиции как необходимой для противодействия недружественной политике Запада; «контратака» – обвинение Запада в несправедливых и неправомерных действиях. Способы обоснования и системные нарративы максимально активно использовались в выступлениях 2014 и начала 2015 г. Позднее представители МИД свернули нарратив «Крым – часть России» до формулировки 93%, вероятно для того, чтобы неудобный «крымский дискурс» постепенно уходил с повестки.

Системные нарративы официального дискурса схожи с нарративами дискурса медийного. СМИ формировали отрицательный образ Запада, заявляли о двойных стандартах в политике, создавали образ России – суперсилы в международной сфере [см.: Hutchings, Szostek, 2015]. Тем не менее государственные акторы делали это менее эмоционально, предлагая собственную трактовку международного права.

Национальные нарративы

Национальные нарративы апеллируют к ценностям, национальным идеям, идентичностям. Использование данных нарративов объясняет политику через важность ее национально ориентированной составляющей для государства и народа.

Таблица 3

Национальные нарративы в выступлениях В.В. Путина и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г.

Национальные нарративы	Использование президентом	Использование представителями МИД
Единство	+	–
Возвращение домой – восстановление исторической справедливости	+	+
Херсонес	+	–

Национальные нарративы в большей степени использовались президентом, который как бы выступил «отцом нации», несущим ответственность за народ, апеллируя к патерналистским установкам россиян. Так, В.В. Путин активно применял нарратив

«единство», который изначально акцентировал близость народов России и Украины: Украина и Россия – братские республики, единый народ¹; Россия и Украина – близкие родственники². После референдума, который Украина и Запад не одобрили, сюжет стал строиться на близости народов России и Крыма – «родные берега... связь поколений и времен... героические предки... исторические истоки духовности и государственности... единый народ... сплоченная нация»³. Используя данный нарратив, спикеры стремились вызвать сострадание к «таким же, как мы» в сложной ситуации. В свою очередь, СМИ апеллировали к защите «соотечественников» [см.: Hutchings, Szostek, 2015]. Соответственно, способ обоснования здесь – «защита»: действия РФ объяснялись близостью России и народов Крыма.

В.В. Путин также обосновывал культурно-символическую значимость Крыма для России через нарратив «Херсонес», формулируя миф о «русской Мекке», где крестился Князь Владимир, где исток русской цивилизации⁴.

Нарратив «возвращение домой – восстановление исторической справедливости» использовался и президентом, и представителями МИД. Вероятно, акторы полагали, что аргумент о незаконном отчуждении Крыма от России советской властью мог быть уместен как для внутренней, так и для внешней аудитории. «Крым... был неотъемлемой частью нашей страны. И только волюнтаристское решение руководства СССР... передавшего Крым и Севастополь Украинской республике... нарушило это естествен-

¹ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в Украине // Президент России. – 2014. – 4 марта. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/20366> (дата посещения: 12.06.2019.)

² Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. – 2014. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/20603> (дата посещения: 12.06.2019.)

³ Кондрашев А.О. Фильм «Крым. Путь на родину» // Россия 1. – 2015. – 15 марта. – Режим доступа: https://russia.tv/brand/show/brand_id/59195/ (дата посещения 12.06.2018.)

⁴ Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. – 2014. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/20603> (дата посещения: 12.06.2019.); Путин В.В. Встреча с ученым и общественными деятелями Севастополя и Крыма // Президент России. – 2017. – 18 августа. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/55365> (дата посещения: 12.06.2018.)

ное состояние... Крым отрезали от России ‘по живому’»¹, т.е. теперь, с возвращением Крыма в РФ, восстановлена историческая справедливость. «В Россию, к себе на Родину, возвратились Крым и Севастополь»². Исторически территория Крыма была российской, а Россия, согласно международному праву, обеспечила «право народов на самоопределение», тем самым народы, проживающие в Крыму, в результате референдума «вернулись в Россию». Здесь также используется «защита» – действия РФ оправдываются апелляцией к исторической памяти, стремлением вернуть «свое» и собственной трактовкой международного права, согласно которой формальные процедуры обеспечения «права народов на самоопределение» были соблюдены, т.е. РФ поступила благородно по отношению к исторически своему народу.

Национальные нарративы могли иметь большое значение для внутренней аудитории, поскольку апеллировали к русской идентичности, следовательно, люди одобрили политику, ориентированную на защиту общей культуры и истории. Аргументация через национальный интерес, стремление «вернуть свое» и защиту ценностей могла способствовать положительному отношению к присоединению Крыма внутри страны. Изначальное содержание национальных нарративов и способы обоснования не изменялись на протяжении 2014–2018 гг.

Нарративы о проблеме

Нарратив о проблеме (issue narrative) объясняет, для решения какой проблемы и как проводится политика, в частности, что произошло и почему Крым был принят в состав РФ.

¹ Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2014. – 27 марта. – Режим доступа: http://russia.un.ru/ru/news/ga_ukr (дата посещения: 01.08.2019.)

² Путин В.В. Выступление на торжественном приеме по случаю национального праздника – Дня России // Президент России. – 2014. – 12 июня. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/45899> (дата посещения: 12.06.2018.)

Таблица 4

**Нарративы о проблеме в выступлениях В.В. Путина
и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г.**

Нарративы о проблеме	Использование президентом	Использование представителями МИД
Радикалы получили власть на Украине	+	+
Россия обеспечивает права человека в Крыму	+	+
Угроза ограничения доступа к Черному морю	+	–
Защита «русского мира»	+	+

Подход к обоснованию присоединения Крыма через нарративы о проблеме президента и представителей МИД был одинаковым и не изменялся с 2014 по 2018 г.

Повествование «Радикалы получили власть на Украине» основано на том, что русские в Крыму находились в опасности, которая исходила от противоправно действующих радикалов¹, поэтому Россия не могла «бросить людей под каток националистов»². В данном случае использовался способ обоснования – «защита» – объяснение своих действий через апелляцию к обеспечению «права на жизнь». Нарратив построен на том, что Россия физически защитила крымчан.

Похожий способ обоснования характерен и для нарратива «Россия обеспечивает права человека в Крыму», который объясняет роль РФ в обеспечении прав человека, провозглашенных уставом и декларациями ООН. Так, существовала угроза дискриминации русских и лишения их прав на «русский язык». Кроме того, права русских, венгров, болгар и украинцев, населяющих Крым, теперь обеспечены благодаря российскому суверенитету³. Здесь

¹ Вступительное слово и ответы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Госсекретарем США Дж. Керри, Лондон / МИД РФ. – 2014. – 14 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/70650 (дата посещения: 01.08.2019.)

² Кондрашев А.О. Фильм «Крым. Путь на родину» // Россия 1. – 2015. – 15 марта. – Режим доступа: https://russia.tv/brand/show/brand_id/59195/ (дата посещения 12.06.2018.)

³ Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. – 2014. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/20603> (дата посещения: 12.06.2019.); Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – 2015. –

использовался способ – «защита» – объяснение своих действий, через апелляцию к обеспечению Российской Федерацией «прав человека», которые нарушаются Украиной, для всех народов в Крыму.

Такой же способ обоснования выявлен в случае нарратива «защита ‘русского мира’» – он апеллировал к защите культуры, исторической памяти, которые находились под угрозой. При этом концепт «русский мир» использовался расширительно – не обязательно применительно к этническим русским, но и к тем, кто считает себя русскими¹. Подчеркивалось, что «оказание всемирной поддержки русскому миру – безусловный приоритет внешнеполитического курса РФ...»². Тем самым власти РФ дали понять, что будут, в случае необходимости, оказывать поддержку русским по всему миру.

3 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50864> (дата посещения: 12.06.2018.); Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // Портал «Постоянное Представительство РФ при ООН». – 2014. – 3 марта. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_ukr0303 (дата посещения: 01.08.2019.); Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // Постоянное Представительство РФ при ООН. – 2014. – 13 марта. – Режим доступа: http://russiaun.ru/ru/news/sc_ukr1303 (дата посещения: 01.08.2019.); Вступительное слово и ответы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Госсекретарем США Дж. Керри, Лондон / МИД РФ. – 2014. – 14 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/70650 (дата посещения: 01.08.2019.); Владимир Путин выступил на пленарном заседании Государственной Думы // Президент России. – 2016. – 22 июня. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/52830> (дата посещения: 12.06.2018.)

¹ Путин В.В. Выступление на совещании послов и постоянных представителей России // Президент России. – 2014. – 1 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/46131> (дата посещения: 12.06.2018.)

² Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Москва / МИД РФ. – 2014. – 14 апреля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/65830 (дата посещения: 01.08.2019.)

В отличие от представителей МИД, В.В. Путин использовал нарратив «угроза ограничения доступа к Черному морю»: по его словам, мы «не могли допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ к акватории Черного моря... пришли бы войска НАТО и был кардинально изменен баланс сил в Причерноморье»¹. Данный нарратив также не упоминается Хатчингсом и Шостек в контексте дискурса СМИ. Вероятно, президент и МИД не хотели акцентировать внимание (в публичном поле) на силовой составляющей и геополитических интересах страны, поскольку это могло сыграть не на пользу в условиях всесторонних обвинений России в агрессии.

Таким образом, нарративы о проблеме демонстрируют, что использовалось обоснование «защита», а необходимость действий России в Крыму описывалась, во-первых, через апелляцию к обеспечению «права на жизнь» крымчан, во-вторых, для защиты прав человека, таких как право на язык и самоопределение. В-третьих, для защиты «русского мира» – русской культуры и цивилизации.

Видно, как нарративы системного и национального уровня определяют нарративы о проблеме. Президент и МИД говорят о том, что ЕС и США создали условия, в которых возникла нестабильность на Украине. Крым, являясь частью Украины, по сути, был изначально российским, поэтому отношение у России к нему особенное. Исходя из угрозы российской культуре и народу Крыма, особая ответственность РФ перед крымчанами побудила Россию принять решение о присоединении Крыма «под крыло» своего суверенитета.

Нарративы о проблеме содержательно не изменялись на протяжении 2014–2018 гг. Президент и МИД использовали их более активно в 2014 и 2015 гг. После 2015 г. данные нарративы были свернуты, что, вероятно, указывает на нежелание акторов провозгласить «ненужные» дискуссии в СМИ.

¹ Путин В.В. Выступление на совещании послов и постоянных представителей России // Президент России. – 2014. – 1 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/46131> (дата посещения: 12.06.2018.)

Заключение

Нарративы системного уровня президента В.В. Путина и представителей МИД РФ с 2014 по 2018 г. формируют «образ мира», в котором Запад действует нелегитимно и против интересов России, вопреки международному праву вмешивается в дела Украины, оказывает давление на страны в ООН. Значимость Крыма для России формулируется через национальные нарративы об общей цивилизационной основе, историческом прошлом. Нарративы о проблеме объясняют присоединение Крыма необходимостью защищать геополитические интересы, русскую культуру, жизнь людей в Крыму и их права. Крым вошел в состав России, опираясь на «право народов на самоопределение», а процедуры были соблюдены в соответствии с международными нормами. На этом основывалась внешнеполитическая позиция РФ.

И президент, и МИД использовали способы обоснования «защита» и «контратака», оправдывая свои действия, предъявляя обвинения Западу. Тем не менее представители МИД старались в большей степени использовать аргументацию через собственную трактовку права. Реже, чем президент, но все же апеллировали и к культурно-символическому значению Крыма для России. В сравнении с дискурсом СМИ, изученным Хатчингсом и Шостек [Hutchings, Szostek, 2015], официальный дискурс менее «агрессивен», менее эмоционально окрашен, больше аргументирован.

Теория стратегических нарративов говорит о необходимости учитывать нарративы оппонента, а при формулировании собственных «...находить нарративы, которые могут быть обращены к аудитории, имеющим разные интересы...» [Roselle, Miskimmon, O'Loughlin, 2014, p. 80]. Президент и представители МИД не стремились ответить на западный нарратив, развивавший иную трактовку международных норм. Можно предположить, что целью обоснования была не легитимация внешнеполитической позиции для внешней аудитории, а заявление о новом внешнеполитическом векторе развития РФ, вне зависимости от мнения международного сообщества.

Также российская историческая память, культурная близость России и Крыма могли быть слабыми аргументами для международной аудитории. Как следствие непринятия российской позиции на Западе, масштабный охват и участие в международной комму-

никации создали новые риски и уязвимости [см.: Miskimmon, O'Loughlin, Roselle, 2013, p. 11], такие, как частичная международная изоляция РФ, экономические санкции. Однако, вероятно, именно такое обоснование привело к внутренней легитимации, сформировав образ независимой политики России в «агрессивной коммуникативной среде». Помощь населению Крыма могла отвечать запросу российской аудитории.

Акторам удалось продемонстрировать образ России как независимого международного игрока, преследующего свои интересы, свою политическую волю. В то же время способы обоснования «Крымской весны», а также свертывание нарративов в определенной степени привели к «утиханию» вопроса о присоединении Крыма в международном дискурсе. Исходя из предположения о том, что целью внешней легитимации было заявление независимой российской позиции, обоснование присоединения Крыма может считаться в каком-то смысле успешным не только для внутренней, но и для внешней аудитории.

Список литературы

- Власов А.А., Брега А.В. Крым и политика легитимности в международных отношениях // Вестник МГИМО-Университета. – 2018. – № 1. – С. 26–41. – DOI: <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-1-58-26-41>
- Карпович О.Г. Анализ Косовского и Крымского прецедентов в контексте реализации права народов на самоопределение // Международные отношения. – 2015. – № 4. – С. 377–384.
- Марков Е.А. Истоки конфронтации со странами Запада и мюнхенская речь Владимира Путина // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2019. – № 1. – С. 104–113.
- Мясников С.А. Легитимация и обоснование политики: анализ концептуальных разграничений // Политическая наука. – 2019. – № 3. – С. 222–235. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.12>
- Пархитко Н.П., Мартыненко Е.В. Геополитические аспекты речи В.В. Путина на 43-й мюнхенской конференции по безопасности. К 10-й годовщине с момента события // Вестник РУДН. Серия Политология. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 7–20. – DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2018-20-1-7-20>
- Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук; К. Ваклер, 2001. – 656 с.
- Томсинов В.А. «Крымское право», или Юридические основания для воссоединения Крыма с Россией // Вестник Московского университета. Серия Право. – 2014. – № 5. – С. 3–31.

- Широкалова Г.С.* Парадокс современной России: высокий рейтинг президента на фоне отчуждения от государства // Конфликтология. – 2016. – № 3. – С. 80–91.
- Allison R.* Russian ‘deniable’ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules // International affairs. – 2014. – Vol. 90, N 6. – P. 1255–1297. – DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170>
- Baranovsky V.* From Kosovo to Crimea // The international spectator. – 2015. – Vol. 50, N 4. – P. 275–281. – DOI: <https://doi.org/10.1080/03932729.2015.1092677>
- Bebier A.* Crimea and the Russian-Ukrainian conflict // Romanian journal of European affairs. – 2015. – Vol. 15, N 1. – P. 35–54.
- Faizullaev A., Cornut J.* Narrative practice in international politics and diplomacy: the case of the Crimean crisis // Journal of the international relations and development. – 2017. – Vol. 20, N 3. – P. 578–604. – DOI: <https://doi.org/10.1057/jird.2016.6>
- Geiss R.* Russia’s annexation of Crimea: The mills of international law grind slowly but they do grind // International law studies. – 2015. – Vol. 91, N 1. – P. 426–447.
- Grant T.D.* Annexation of Crimea // American journal of international law. – 2015. – Vol. 109, N 1. – P. 68–95. – DOI: <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.1.0068>
- Hutchings S., Szostek J.* Dominant narratives in Russian political and media discourse during the Ukraine crisis // Ukraine and Russia: people, politics, propaganda, perspectives / S. McGlinchey, M. Karakoulaki, R. Oprisko (eds). – Bristol: E-international relations, 2015. – P. 183–196.
- Mankoff J.* Russia’s latest land grab: How Putin won Crimea and lost Ukraine // Foreign affairs. – 2014. – Vol. 93, N 3. – P. 60–68.
- Marxsen C.* The Crimea crisis – the international law perspective // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. – 2014. – Vol. 74, N 2. – P. 367–391.
- Miskimmon A., O’Loughlin B., Roselle L.* Strategic narratives: Communication power and the new world order. – New York: Routledge, 2013. – 240 p.
- Nye J.* Soft power: the means to success the world politics. – N.Y.: Public Affairs, 2009. – 208 p.
- Roselle L., Miskimmon A., O’Loughlin B.* Strategic narrative: A new means to understand soft power // Media, war & conflict. – 2014. – Vol. 7, N 1. – P. 70–84. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1750635213516696>

S.A. Myasnikov*

Why «Crimea is Russian»: analysis of the justification of Crimea joining Russia in the speeches of V.V. Putin and Russian MFA representatives

Abstract. This article presents the results of the analysis of justification of annexation of Crimea to Russia in speeches of president Putin and ministry of foreign affairs representatives. The annexation of Crimea in 2014 was an indicator of foreign policy change, which needed an official justification at domestic and foreign arenas. It

* **Myasnikov Stanislav**, National Research University ‘Higher School of Economics’ (Moscow, Russia), e-mail: smyasnikov@hse.ru

proved to be quite successful inside Russia, but abroad. By using the instruments of strategic narratives theory, this article reveals how the president and MFA representatives provided justification of the annexation of Crimea; why it was legitimized domestically; and what the goal for the justification at international level was analyzed. The actors' main justification strategies were defined as 'defense' and 'counter-attack'; they appealed to historical memory; defense of Russian culture; defense of the Crimean people's rights. Simultaneously, a negative image of the West was constructed. Such a justification could help domestic legitimation, but did not consider the cultural features of the international audience. The justification could lead to a reduction of interest in the Crimean Spring internationally. The empirical base of the study was 46 transcripts of V.V. Putin and MFA representatives from 2014 to 2018, as well as 2 documentaries containing V.V. Putin's interviews.

Keywords: president; MFA of Russia; foreign policy; policy legitimation; policy justification; strategic narratives; Putin; Crimea.

For citation: Myasnikov S.A. Why 'Crimea is Russian': analysis of the justification of Crimea joining Russia in the speeches of V.V. Putin and Russian MFA representatives. *Political Science (RU)*. 2019, N 2, P. 234–255. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.12>

References

- Allison R. Russian 'deniable' intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules. *International Affairs*. 2014, Vol. 90, N 6, P. 1255–1297. DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170>
- Baranovsky V. From Kosovo to Crimea. *The International Spectator*. 2015, Vol. 50, N 4, P. 275–281. DOI: <https://doi.org/10.1080/03932729.2015.1092677>
- Bebier A. Crimea and the Russian-Ukrainian conflict. *Romanian Journal of European affairs*. 2015, Vol. 15, N 1, P. 35–54.
- Faizullaev A., Cornut J. Narrative practice in international politics and diplomacy: the case of the Crimean crisis. *Journal of the international relations and development*. 2017, Vol. 20, N 3, P. 578–604. DOI: <https://doi.org/10.1057/jird.2016.6>
- Geiss R. Russia's annexation of Crimea: The mills of international law grind slowly but they do grind. *International law studies*. 2015, Vol. 91, N 1, P. 426–447.
- Grant T.D. Annexation of Crimea. *American journal of international law*. 2015, Vol. 109, N 1, P. 68–95. DOI: <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.1.0068>
- Hutchings S., Szostek J. Dominant narratives in Russian political and media discourse during the Ukraine crisis. In: McGlinchey S., Karakoulaki M., Oprisko R. (eds.) *Ukraine and Russia: people, politics, propaganda, perspectives*. Bristol: E-international Relations, 2015, P. 183–196.
- Karpovich O.G. Analysis of Kosovo and Crimea precedents in the context of realization of self-determination rights. *Mezhdunarodnye otnosheniia*. 2015, N 4, P. 377–384. (In Russ.)
- Mankoff J. Russia's latest land grab: How Putin won Crimea and lost Ukraine. *Foreign Affairs*. 2014, Vol. 93, N 3, P. 60–68.

- Markov E.A. The origins of confrontation with Western countries and the “Munich speech” of Vladimir Putin. *IKBFU's Vestnik. Ser. The humanities and social science*. 2019, N 1, P. 104–113. (In Russ.)
- Marxsen C. The Crimea crisis – the international law perspective. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*. 2014, Vol. 74, N 2, P. 367–391.
- Miskimmon A., O'Loughlin B., Roselle L. *Strategic narratives: Communication power and the new world order*. London: Routledge, 2013, 240 p.
- Myasnikov S.A. Legitimation and justification of policy: the analysis of conceptual distinction. *Political Science (RU)*. 2019, N 3, P. 222–235. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.12> (In Russ.)
- Nye J., *Soft power: the means to success the world politics*. New York: Public Affairs, 2009, 208 p.
- Parkhitko N.P., Martynenko E.V. Global political aspects of Putin's speech at the 43-th Munich security conference. One-decade past. *RUDN Journal of Political Science*. 2018, Vol. 20, N 1, P. 7–20. DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2018-20-1-7-20> (In Russ.)
- Pochepstov G.G. *Theory of communication*. Moscow: Refl-buk, 2001, 656 p. (In Russ.)
- Roselle L., Miskimmon A., O'Loughlin B. Strategic narrative: A new means to understand soft power. *Media, War & Conflict*. 2014, Vol. 7, N 1, P. 70–84. DOI: <https://doi.org/10.1177/1750635213516696>
- Shirokalova G.S. The paradox of modern Russia: high rating of the president against the background of alienation from the state. *Konfliktologiya*. 2016, N 3, P. 80–91. (In Russ.)
- Tomsinov V.A. «Crimean law» or legal basis for the reunification of the Crimea and Russia. *The Moscow university herald. Series 11. Law (Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo)*. 2014, N 5, P. 3–31. (In Russ.)
- Vlasov A.A., Brega A.V. Crimea and the politics of legitimacy in international relations. *MGIMO review of international relations*. 2018, N 1, P. 26–41. DOI: <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-1-58-26-41> (In Russ.)

И.А. УШПАРОВ*

**«СПЯЩИЙ» КОНФЛИКТ: ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОБЫТИЙ
ВОКРУГ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ И РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ**

Аннотация: Статья посвящена анализу курсов символической политики в Ингушетии и Северной Осетии, ведущей к формированию различных интерпретаций причин и последствий событий 1992 г. В ней показано, как формируемые значимыми социально-политическими акторами и мемориальными напоминаниями дискурсы, вопреки признанию конфликта как разрешенного, не позволяют устранить причины противостояния. Автор статьи полагает, что конфликт вокруг Пригородного района стоит рассматривать как «спящий», который при наличии определенных структурных условий вновь может перейти в «острую» стадию конфронтации. Опираясь на теоретические исследования в области символической политики и политики памяти, автор приходит к выводу об их значимой роли в формировании и укреплении в массовом сознании «коллективной» памяти об этом конфликте. В статье представлены результаты анализа публикаций при помощи метода семантических сетей. Основной целью анализа являлось выявление существующих интерпретаций событий 1992 г. и статуса Пригородного района в Ингушетии и Северной Осетии. При помощи метода исследования случаев (case-study) был проведен анализ мемориальных памятников, посвященных событиям осени 1992 г. На основе полученных результатов был сделан вывод о сохранившемся конфликтном потенциале в регионе как в публичном дискурсе, так и мемориальном наследии обеих республик.

Ключевые слова: символическая политика; дискурсы; мемориалы; конфликт вокруг Пригородного района.

Для цитирования: Ушпаров И.А. «Спящий» конфликт: интерпретации событий вокруг Пригородного района в Северной Осетии и Республике Ингушетия //

* **Ушпаров Игорь Андреевич**, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: igor.usparov@mail.ru

©Ушпаров И.А., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.13

Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 256–279. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.13>

Современная Республика Ингушетия не совпадает с территориальными границами «ингушской» части Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР), существовавшей до 1944 г. В 1944 г., в ходе операции «Чечевица», была осуществлена депортация чеченского и ингушского населения ЧИАССР, а сама автономия была ликвидирована. Территория республики была разделена и передана «частями» в состав других административно-территориальных образований СССР. В частности, территория Пригородного района, населенного прежде преимущественно ингушами, была присоединена к Северо-Осетинской АССР.

В 1957 г., в результате реабилитации депортированных во времена сталинских репрессий общностей, была восстановлена территориальная автономия для ингушей и чеченцев. Однако Пригородный район остался в составе соседней Северо-Осетинской АССР. Это управленческое решение заложило основы для территориального спора между Северной Осетией и Ингушетией.

В условиях авторитарной системы статус Пригородного района не мог быть открыто оспорен ингушской стороной. В период глобальной политической трансформации в СССР на рубеже 1980–1990-х годов вопрос о принадлежности этой территории встал на повестку дня. В 1992 г. на российском Северном Кавказе вспыхнул вооруженный конфликт, который обычно называют «осетино-ингушским». В основе этого конфликта лежал спор о статусе Пригородного района, который каждая из сторон считала своей территорией. Острая стадия конфликта завершилась в начале 1995 г.¹, однако до сих пор существует разница в «осетинских» и «ингушских» интерпретациях как событий того времени, так и статуса Пригородного района.

В статье исследуется, каким образом в обеих республиках воспроизводится память о конфликте вокруг Пригородного района, какими интерпретациями наделяются события 1992 г. Как бу-

¹ В феврале 1995 г. окончательно был отменен режим чрезвычайного положения в регионе конфликта.

дет показано далее, анализ интерпретаций позволяет отнести данный конфликт к категории «спящих».

Под «спящим» я буду понимать конфликт, сохраняющий в силу неустранения его основной причины потенциал перехода в «острую» фазу при определенных структурных социально-политических условиях. На официальном уровне спящие конфликты, как правило, считаются разрешенными, в отличие от «замороженных», в которых как на официальном уровне, так и в публичном дискурсе наблюдается принципиальная разница в оценках причин противостояния и «острой фазы», а также способах достижения устойчивого мира [Smetana, Ludvik, 2019, p. 4]. Для спящих конфликтов, с одной стороны, характерна видимость «устойчивого» мира между спорящими сторонами, несмотря на неразрешенность проблем, из-за которых они возникли. С другой стороны, его отличительной чертой является постоянно воспроизводимый дискурс об этих проблемах, что приводит к сохранению конфликтного потенциала, особенно при использовании инструментов символической политики и политики памяти.

Цель настоящей статьи – показать, что помимо традиционно обозначаемых в научной литературе типов конфликтов есть место и для изучения «спящих» конфликтов. Такие конфликты, несмотря на их официальное признание в качестве разрешенных, способны к «пробуждению». Конфликт вокруг Пригородного района имеет смысл рассматривать именно с этой точки зрения. Для доказательства этого тезиса я сначала уделю внимание общей теоретической рамке анализа, а затем перейду к рассмотрению той политики памяти о конфликте, которая существует в Ингушетии и Северной Осетии.

Конструирование памяти о конфликте

Для анализа памяти о конфликте были использованы постулаты конструктивистской парадигмы. Обращение к конструктивизму позволяет не только выявить содержание разницы существующих интерпретаций конфликтной ситуации и статуса Пригородного района, но и определить способы формирования этих представлений.

П. Бергер и Т. Лукман разработали подход в рамках социального конструктивизма, который объясняет происхождение тех

или иных социальных феноменов через конструирование реальности различными акторами. Для них повседневная жизнь представляет собой не что иное, как реальность, которая интерпретируется людьми [Бергер, Лукман, 1995, с. 38]. Другими словами, есть вещи, которые существуют только потому, что люди верят в их существование и разделяют между собой эти установки реальности [Searle, 1995, p. 11]. К одним из таких феноменов можно отнести и восприятие конфликтов, в том числе межгрупповых, к которым относятся межэтнические противостояния.

Разделяемые людьми представления о реальности отражены в языке. При коммуникации и взаимодействии люди посредством языка передают смыслы и интерпретации существующей реальности. Таким образом, язык играет важную роль в создании институциональной действительности, которая будет восприниматься и разделяться всеми членами сообщества [Searle, 1995, p. 59].

Для социального конструктивизма построение реальности не может обойтись без применения символического аппарата. Символы играют значимую роль как в создании определенных «мифов», так и в их распространении и укреплении в сознании людей.

Согласно теории П. Бурдьё, существенная роль в конструировании социальной реальности принадлежит символической власти. По сути, символическая власть представляет «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействовать на мир» [Бурдьё, 2007, с. 95]. Социальный мир и реальность являются конструктами, в которых символы выступают в роли инструмента для «социальной интеграции» людей. Различные общественно-политические акторы располагают символической властью. Как отмечал П. Бурдьё, именно обладающие символической властью навязывают определенные нужные смыслы публике [там же].

Актеры участвуют в формировании символической политики, которая представляет собой деятельность «по производству различных способов интерпретации социальной реальности» и борьбу «за их доминирование в публичном пространстве» [Малинова, 2013, с. 115]. При этом «публичные выступления акторов политики становятся объектами соотнесения для других участников коммуникации» [Малинова, 2013, с. 115].

Именно «от позиции политической элиты и зависят статус и оценка, которую получит то или иное событие» [Ачкасов, 2012,

с. 132]. Помимо политической элиты, присутствие интеллектуалов в конструировании определенных смыслов и концептов также играет важную роль. Таким образом, общественные и политические акторы в Северной Осетии и Республике Ингушетия не просто создают интерпретации конфликта вокруг Пригородного района и статуса спорной территории, но и влияют на степень разрешенности конфликта.

По оценкам исследователей, мы живем в мемориальную эпоху, а прошлое все более интенсивно используется в конструировании национальной или этнической истории и даже «истинной» правды¹. Несомненно, память о прошлом является социальным конструктом и поэтому подвергается различным трансформациям под воздействием внешних факторов. Для того чтобы сделать память более устойчивой, используются различные средства, например, памятники, мемориалы и другие материальные объекты. Через них транслируются и поддерживаются разделяемые интерпретации определенных событий.

Политика памяти – это «намеренные и формально легитимные действия политиков и чиновников, которые направлены на укрепление, удаление или переопределение отдельных фрагментов общественной памяти» [там же, с. 134]. Также политика памяти целенаправленно производит смыслы, чтобы оправдать те или иные принятые политические решения в прошлом и направить их в нужное русло. Важно подчеркнуть, что политика памяти непосредственно работает не с самим прошлым, а с социальным представлением о нем [Малинова, 2018, с. 32].

Существуют различные механизмы претворения в жизнь политики памяти: содержательное наполнение школьных учебников по истории и географии, учреждение памятных «дат» и праздников, строительство новых и реконструкция старых мемориалов, установление контроля над деятельностью СМИ и т.д. [Ачкасов, 2012, с. 134]. Значимый для сообщества конфликт также может являться одним из объектов политики памяти. Сохранение и укрепление интерпретаций его причин и последствий осуществляется через различные инструменты политики памяти. Таким обра-

¹ Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html> (дата посещения: 08.04.2018.)

зом, политика памяти и мемориальные материальные напоминания о конфликте в Северной Осетии и Республике Ингушетия создают и закрепляют интерпретации конфликта вокруг Пригородного района и статуса спорной территории.

Роль акторов в формировании памяти о конфликте вокруг Пригородного района

Как уже было отмечено, акторы способны создавать и транслировать определенные представления, смыслы и интерпретации различных событий, в частности, конфликта вокруг Пригородного района. Одним из способов трансляции являются средства массовой информации, периодические издания и цифровые медиа. В них различные акторы формируют и постоянно воспроизводят память о конфликте, о его «острой» стадии и о статусе спорной территории. Поэтому важно понять, какими интерпретациями наделяются события 1992 г.

Для анализа были взяты публикации в официальных СМИ, периодических изданиях и интернет-ресурсах Северной Осетии и Республики Ингушетия. При этом был использован метод семантических сетей, который позволяет изучить информацию с точки зрения выявления смыслового содержания, взаимоотношений и связей между элементами текста. Изначально метод фокусируется на том, как люди сопоставляют и ассоциируют слова в своих устных высказываниях, например, через текст [Basov, de Nooy, Nenko, 2019, p. 7].

Анализ семантических сетей – это, прежде всего, компьютерный метод анализа текстовых материалов [Antonyuk, 2018, p. 95]. Помимо выстраивания зависимости между словами текста, данный метод дает возможность определить центральные темы и создает вокруг этих тем связанные между собой сети. С его помощью выделяют различные смысловые элементы, независимые от текстового представления [Doerfel, 1998, p. 18].

Таким образом, анализ семантических сетей способствует поиску смыслов внутри текста. Преимущество метода перед другими традиционными методами состоит не только в подсчетах частоты употребления того или иного слова / темы, но и в фикса-

ции контекстуальных значений, формируемых в конкретных текстах [Antonyuk, 2018, p. 95].

Поиск материала внутри обозначенных ресурсов для проведения анализа осуществлялся по набору ключевых слов, а именно: «осетино-ингушский», «конфликт», «1992 год», «Пригородный район» с целью обнаружения необходимой информации, относящейся тем или иным образом к конфликту вокруг Пригородного района. В том числе были отобраны материалы, посвященные открытию мемориалов жертвам конфликта или траурным мероприятиям, в которых приводились высказывания релевантных акторов, в частности, президентов и других высокопоставленных чиновников обеих республик.

Для анализа были отобраны материалы, опубликованные с января 2012 по май 2019 г.¹ В случае Северной Осетии были использованы, во-первых, материалы республиканской молодежной газеты «Слово», которая издается на русском языке и имеет электронную версию. В газете «Слово» в период с 2012 г. по настоящее время таким критериям соответствовали шесть материалов. Во-вторых, базой для анализа стали материалы газеты «Северная Осетия», в которой были отобраны три релевантные публикации. В-третьих, был использован интернет-портал гражданской журналистики «Градус Осетии», на котором размещаются материалы и новостные сюжеты Северной Осетии. Обозначенным критериям на этом портале соответствовали семь публикаций. Помимо этого, были проанализированы официальные страницы президентов Северной Осетии с 2012 г. в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. За этот период были найдены три публикации, соответствующие выделенным критериям. Таким образом, всего было проанализировано 19 материалов, в которых представлена позиция осетинских акторов.

¹ Выбор временных рамок обусловлен тем, что активизация внимания к событиям прошлого, как правило, происходит в «круглые» даты событий (каждые пять или 10 лет). Мой анализ посвящен современному состоянию конфликта вокруг Пригородного района, в связи с этим в качестве нижней временной границы исследования был выбран 2012 год – 20-летняя годовщина начала «острой» фазы конфликта. Помимо этого активизация общественных дебатов внутри республик пришлось и на 25-летие трагических событий (2017). Именно на эти годы приходится пик публикационной активности материалов, посвященных конфликту.

В случае Ингушетии основу анализа составили материалы, опубликованные в газете «Сердало» – официальном СМИ Республики Ингушетия, издающемся на русском и ингушском языках. Эта газета имеет электронную общедоступную версию. В обозначенный период указанным ранее критериям соответствовали 24 публикации. Материалы газеты «Сердало» были дополнены двумя статьями, опубликованными в журнале «Кавказ и глобализация» ингушскими авторами через 20 лет после трагических событий 1992 г. В них представлена позиция членов ингушского научного сообщества относительно конфликта и статуса спорной территории. Также были проанализированы официальные страницы президента Республики Ингушетия с 2012 г. в социальной сети ВКонтакте. За этот период были найдены всего две публикации, соответствующие выделенным критериям. Таким образом, всего было проанализировано 28 материалов.

В ходе сбора и анализа данных была обнаружена одна значимая деталь. Ингушские материалы в официальных СМИ являются эмоционально окрашенными. В газете «Сердало» часто приводились личные истории и переживания по поводу событий 1992 г. и статуса Пригородного района. При этом важно подчеркнуть, что кроме официальной республиканской газеты в случае Ингушетии фактически было невозможно обнаружить релевантных материалов на интернет-ресурсах и порталах: большинство ссылок приводили на закрытые Роскомнадзором или не действующие по каким-то иным причинам сайты и страницы. Те же информационные ресурсы, которые были доступны, содержали преимущественно новостные сюжеты и хроники без эмоциональной составляющей подачи материала.

Напротив, в осетинских официальных СМИ материалы о событиях 1992 г., настоящем и прошлом Пригородного района являются, в основном, нейтральными и содержат преимущественно факты, а не их оценки. Однако в материалах с интернет-порталов, помимо обычных сухих новостных сюжетов, были обнаружены личные истории людей, переживших трагические события, а также присутствие в этих историях эмоционально окрашенных слов и описаний событий.

Также при проведении эмпирического анализа и сбора материалов мною не учитывались, к примеру, комментарии и сообщения пользователей социальных сетей, так как фокусом настоящей

статьи было рассмотрение роли общественно-политических акторов в обеих республиках. Однако при дальнейшем изучении вопроса было бы интересно рассмотреть и этот аспект.

Анализ отобранных материалов осуществлялся в несколько этапов. На первом этапе посредством использования программы AutoMap была произведена обработка данных для будущего проведения анализа семантических сетей. Automap позволяет убрать ненужные элементы текста и слов: артикли, частицы, предлоги, запятые, окончания слов и далее для формирования более точной и корректной формы текстового материала [Basov, de Nooy, Nenko, 2019, p. 13]. После обработки текстового материала был создан файл семантической сети текстов, который затем анализировался в другой специальной программе ORA-NetScenes. Эта программа позволяет работать с полученным файлом и визуализирует семантическую сеть. В данной программе на последующих этапах был произведен расчет показателей центральности и проведен качественный анализ визуализаций сетей. Создаваемые таким образом сети позволяют проследить устойчивые смысловые структуры и тем самым определить те смыслы, которые наполняют центральную тему или слово. Поэтому при анализе полученных в результате обработки данных внимание также обращалось и на силу связей. Сила связи означает количество совместных употреблений слов в определенном промежутке. Таким образом, если сила связи между словами крепкая, то это означает, что эти слова находятся либо вместе, либо рядом друг с другом в тексте.

Интерпретации конфликта 1992 г. и статуса Пригородного района: осетинская версия

Проведенный анализ показал, что для осетинского случая центральными словами являются следующие термины: «конфликт», «1992 год», «республика», «Северная Осетия», «ингушский» (Приложение 1). Для акторов Северной Осетии важное место занимает тема конфликта. Эта тема объединяет вокруг себя такие слова, как: «1992 год», «ингушский», «осетинский», «осень», «жертвы», «республика», «вооруженный». Важно отметить, что в осетинской версии интерпретаций часто используется инверсная форма наименования конфликта, а именно «ингушско-осетинский

конфликт», а не наоборот. Обычно на первое место в названиях конфликта ставят сторону зачинщика противостояния. Поэтому, используя инверсную форму, акторы Северной Осетии демонстрируют, что для них именно Ингушетия выступает стороной, которая начала вооруженный конфликт.

Анализ показал, что тема «1992 год» связана с такими словами, как: «осень», «конфликт», «событие», «Пригородный район», «жертвы» и «трагическое». Таким образом, североосетинские акторы интерпретируют 1992 г. как трагическое событие, повлекшее за собой жертвы.

Тема «ингушский» имеет связь, в том числе, со словами «конфликт», «годовщина», «экстремисты» и «жертвы». Эмоционально окрашенное существительное «экстремисты» позволяет понять интерпретацию осетинскими акторами не только событий 1992 г., но и ингушской стороны.

Словосочетание «Северная Осетия» связано со словами и словосочетаниями «Пригородный район», «защитники», «могилы» и «народ». Слово «защитники» часто встречается в осетинских материалах, особенно когда речь идет о республике или описании конфликта. При этом следует отметить, что слово «защитники» не является центральным. Однако оно связано с такими понятиями, как «осетинские», «могилы», «республика», «братские» и «погибшие». Следовательно, осетинские акторы формируют представление о конфликте как событии, случившемся по вине ингушской стороны («экстремистов»), в котором осетинам пришлось «защитить» свою республику и народ даже ценой собственных жизней.

Тема «Пригородный район» связана с понятиями «Северная Осетия», «РСО»¹, «территория», «Владикавказ», «1992 год» и «руководство». Это позволяет сделать вывод, что акторы Северной Осетии считают Пригородный район «своей территорией», частью республики, связанной со столицей региона.

Следует отметить, что тема «память» для осетинских акторов не является центральной. Как показал анализ, вокруг нее присутствуют не так много связей. Память ассоциируется, в первую очередь, с «осетинами», «погибшими» и «жертвами».

¹ Республика Северная Осетия.

Интерпретации конфликта 1992 г. и статуса Пригородного района: ингушская версия

Как и в случае осетинских акторов, для ингушей тема «1992 год» занимает особое место (Приложение 2). Она объединяет вокруг себя схожий набор понятий: «осень», «события», «трагедия», «конфликт», «жертвы». Таким образом, и у осетинских, и у ингушских акторов 1992 г. ассоциируется с трагедией и жертвами. Однако тема конфликта трактуется ингушскими акторами иначе. Она объединяет такие понятия, как «осетино-ингушский», «межнациональный», «жертвы», «последствия» и «разжигание». Примечательно, что название конфликта дается в устоявшейся форме – «осетино-ингушский», однако нередко перед этим присутствует уточнение «так называемый». Зачастую ингушские акторы употребляют эти понятия вместе, используя форму «так называемый осетино-ингушский конфликт».

Из этого можно сделать следующий вывод: у ингушских акторов, так же, как и у осетинских, закрепившееся название конфликта вызывает нарекания. Это связано с тем, что ингушская сторона не признает события осени 1992 г. в качестве конфликта или интерпретирует их как «этническую чистку» и «геноцид», но не как конфликт равных сторон. Помимо этого, ингушские акторы используют такое словосочетание, как «осетинские бандформирования», что демонстрирует их отношение к противоположной стороне. Тема «жертвы» также является одной из центральных и связанных со следующим набором слов: «память», «конфликт», «вооруженный», «бессмысленные», «политические репрессии», «трагедия».

Осень 1992 г. именуется ингушскими акторами как «трагическое событие» и является одной из центральных тем. Проведенный анализ показал, что эта тема связана со следующим набором слов: «жертвы», «память», «погибшие», «скорбь». Итак, тема трагедии является не просто центральной, но связанной с продолжающейся скорбью, памятью о жертвах событий 1992 г.

Помимо центральных тем существует набор важных смысловых областей. Так, ингушские акторы при формировании интерпретаций конфликта и статуса Пригородного района затрагивают тему «предков», что полностью отсутствует у осетинской стороны. Важной темой является и «место», которое ассоциируется с такими словами, как «проживание», «постоянное», «покинули», «вынужденно»,

«историческое», «традиционное», «переселенцы». Следовательно, для ингушских акторов события 1992 г. связаны не только с жертвами, но и с вынужденным переселением из места постоянного, исторического и традиционного проживания.

Тема «Пригородного района» связана также и с такими словами, как «территория», «проживание», «событие», «житель». Помимо этого, здесь появляется и словосочетание «этническая чистка» как характеристика событий, происходивших на этой территории в 1992 г. Следовательно, для ингушских акторов тема Пригородного района также связана и с особым восприятием событий 1992 г.

В табл. представлены результаты проведенного исследования.

Таблица

Разница интерпретаций осетинских и ингушских акторов

Основа для интерпретации	Осетинские акторы	Ингушские акторы
1992 г.	Трагическое событие, повлекшее за собой жертвы	Трагедия, память о которой сохраняется до сих пор
Конфликт	Использование инверсной формы «ингушско-осетинский», возложение ответственности на противоположную сторону	Использование приставки «так называемый», трактовка событий как геноцида и этнической чистки
Образ себя в конфликте	Защищающаяся сторона	Жертва
Образ противоположной стороны	«Экстремисты»	«Бандформирования»
Память	О павших защитниках и героях республики	О жертвах и вынужденных мигрантах
Пригородный район	Часть Северной Осетии	Территория предков, место проживания ингушей до их «изгнания» в 1992 г.

Исходя из приведенных в таблице данных можно отметить, что как для осетинских, так и для ингушских акторов конфликт 1992 г. воспринимается, прежде всего, как трагические события для обоих сообществ. Интересные расхождения в восприятии и интерпретации конфликта можно наблюдать по следующим пунктам.

Во-первых, привычное, широко распространенное название «осетино-ингушский конфликт» не устраивает обе стороны конфликта. Осетинские акторы используют инверсную форму названия конфликта, именуя его «ингушско-осетинским». Это позволяет им говорить о событиях 1992 г. как о трагедии, виновницей которой является

противоположная сторона. В свою очередь ингушские акторы также не удовлетворены официальным названием событий осени 1992 г. Свидетельством этому является частое использование приставки «так называемый». Неудовлетворенность существующим названием связана с тем, что события осени 1992 г. интерпретируются не как конфликт равных сторон, а как «геноцид» и «этническая чистка» ингушей, проживавших в Пригородном районе.

Во-вторых, осетинские акторы при интерпретации конфликта вокруг Пригородного района часто ссылаются на образ «защитника Родины», тем самым воспринимают события осени 1992 г. как агрессию со стороны соседней республики, а себя – теми, кто был вынужден защищать свою территорию. В то же время ингушские акторы интерпретируют те события совсем иначе. Использование элементов виктимизации и конструирование вокруг конфликта образа «жертвы» позволяет создать особое видение и восприятия конфликта вокруг Пригородного района. Подобная логика подтверждается и при анализе памяти о конфликте, интерпретируемой акторами в Ингушетии и Северной Осетии.

Осетинские акторы апеллируют и «помнят» о павших защитниках и героях республики, защищавших свою «землю». Для ингушских акторов память о событиях осени 1992 г. связана с жертвами, а также с большим количеством беженцев и переселенцев, которые «вынужденно покинули места традиционного места проживания».

В-третьих, при проведении анализа семантических сетей были обнаружены расхождения в интерпретации и восприятии противоположной стороны конфликта. К примеру, осетинские акторы используют термин «экстремисты» при описании образа ингушской стороны, тем самым подтверждая свой образ «защитника» в конфликте. Тем временем ингушские акторы также используют эмоционально окрашенные слова. Для них осетинская сторона выступает в роли «бандоформирований», которые спровоцировали конфликт.

В-четвертых, статус спорной территории также подвергается различным и противоположным интерпретациям. Осетинская сторона четко позиционирует Пригородный район как неотъемлемую часть республики Северная Осетия. Однако ингушская сторона нередко интерпретирует территорию как место проживания предков, которые вынужденно покинули эту землю.

Подобные конфликтующие дискурсы, транслируемые через различные механизмы политики памяти, ведут к сохранению конфликтного потенциала в регионе. Постоянная апелляция к проблеме и к существующей по сей день причине конфликта закрепляет в массовом сознании определенное видение причин и последствий событий осени 1992 г. Несмотря на официальную «разрешенность» конфликта и видимость устойчивого «мира» между сторонами, конфликт можно характеризовать как «спящий».

Роль мемориальных напоминаний в формировании интерпретаций событий 1992 г.

Согласно конструктивистскому подходу, содержание материальных мемориальных напоминаний должно играть значимую роль в трансляции и поддержке общеразделяемых восприятий и интерпретаций определенных событий. Содержание мемориала, т.е. отраженный в нем смысл, включающий надписи, влияет на восприятие и интерпретацию конфликта вокруг Пригородного района и статуса спорной территории. Анализ мемориалов и памятников, посвященных трагическим событиям осени 1992 г., существующих в Северной Осетии и Ингушетии, был осуществлен при помощи метода исследования случая (case-study), который уже применялся другими авторами при анализе схожих мемориалов [Ваньке, Полухина, 2016]. Данный метод позволяет «выявить характеристики мемориалов и описать способы обращения с ними» [там же, с. 172].

Мемориальные напоминания: случай Ингушетии

Главным мемориальным памятником в Ингушетии, посвященным конфликту, является «Мемориал памяти жертв осени 1992 года». До этого роль основного памятного места исполняло старое кладбище, на котором похоронены погибшие в ходе вооруженного противостояния 1992 г. Масштабная реконструкция кладбища, рядом с которым теперь находится новый мемориал, была проведена в сжатые сроки фондом «Память» в 2012 г.

Мемориал планировали построить давно, однако его открытие состоялось только в двадцатую годовщину трагических событий и было приурочено, в том числе, к 20-летию Республики Ингушетия. Мемориал находится на северо-западном въезде в город Назрань, где расположено национальное мемориальное кладбище «Г1 оазот кашмаш» рядом с Алханчуртским каналом.

На территории мемориального комплекса находятся несколько сооружений. С одной стороны от входа располагается метель, с другой – символические сооружения в виде беседки и модельного дома. Центральное место занимают три черные плиты «с именами 378 погибших и 192 пропавших во время и сразу после конфликта ингушей». На двух плитах представлен «список жертв осетино-ингушского конфликта осени 1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавказ». На другой плите указан «список без вести пропавших в результате осетино-ингушского конфликта осени 1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавказ»¹.

На территории мемориала были установлены и могильные стелы в память о пропавших без вести в ходе конфликта. Это белые надгробия, на которых написаны имена и даты рождения.

Каждой осенью в память о трагических событиях 1992 г. проводятся митинги на территории мемориала. На эти митинги приглашаются все желающие, к активному участию в них призывают представителей органов власти, общественных и молодежных организаций, студентов и школьников. Обычно митинг завершается коллективной молитвой. По словам руководителя региона, этот памятный объект имеет общенациональное значение².

К 25-летней годовщине конфликта в Ингушетии был открыт еще один памятник «Дорога жизни». Он находится на месте пункта по приему беженцев, организованного властями Сунженского района в 1992 г. в селе Алкун. Своим названием памятник обязан тому, что «через опасный путь тысячи жителей сел Пригородного района и Владикавказа ингушской национальности через горы вы-

¹ В Назрани открыт Мемориал памяти жертв осетино-ингушского конфликта // Портал Южного региона [Официальный сайт]. – 2012. – Режим доступа: <https://www.yuga.ru/news/263900/> (дата посещения: 19.05.2018.)

² Работы по реконструкции национального мемориального кладбища «Г1 оазот кашмаш» завершатся 10 мая // Республика Ингушетия [Официальный сайт]. – 2012. – Режим доступа: <http://www.ingushetia.ru/news/016137/> (дата посещения: 19.05.2018.)

ходили в Сунженский район, спасая свои жизни»¹. Таким образом, «Дорога жизни» призвана напоминать не только о тяжелых последствиях конфликта, но и о мужественности и сплоченности ингушского народа. Для населения республики это память не только о погибших людях, но и о героях, которые оказали помощь и спасли тысячи жизней.

Памятник представляет собой каменную глыбу, в середине которой высечены силуэты ингушских семей, где старики и женщины держат на руках младенцев и детей. На самом монументе написаны большими золотыми цифрами дата «1992» и ниже под ней «Никто не забыт. Ничто не забыто. В память и назидание...». Примечательно, что авторы памятника выбрали строчку из стихотворения О. Берггольц, написанного специально для мемориала на Пискаревском кладбище, где похоронены жертвы блокады Ленинграда. Название памятника – «Дорога жизни» – также отсылает к истории блокады. Посредством этого авторы попытались закрепить представления о конфликте как о трагедии, сопоставимой с той, которую пережили жители блокадного Ленинграда во время Второй мировой войны. На камне, стоящем непосредственно перед монументом, указано, что это «памятник благодарности жителям Ингушетии, оказавшим помощь старикам, женщинам и детям из Пригородного района и города Владикавказа в ходе трагических событий осени 1992 года».

Таким образом, существующие монументы призваны формировать представление о конфликте как неотъемлемой части истории ингушей. Подобные мемориалы существуют не только как места памяти, но служат для сохранения и постоянного воспроизводства определенных интерпретаций. Суть этих интерпретаций состоит в следующем: ингушское население Пригородного района стало жертвой конфликта. Многие погибли или пропали без вести, но еще больше людей были вынуждены покинуть свои дома и испытать участь вынужденных мигрантов. Вместе с тем во время конфликта ингуши продемонстрировали единство и героизм, помогая беженцам, о чем напоминает памятник «Дорога жизни».

¹ В Ингушетии прошли мероприятия памяти жертв трагических событий осени 1992 года и политических репрессий // Республика Ингушетия [Официальный сайт]. – 2017. – Режим доступа: http://www.ingushetia.ru/news/v_ingushetii_proshli_meropriyatiya_pamyati_zhertv_tragicheskikh_sobytyiy_oseni_1992_goda_i_politiches/ (дата посещения: 19.05.2018.)

Мемориалы являются не просто материальными объектами, но и местами проведения траурных памятных мероприятий, которые в Ингушетии проводятся в каждую годовщину трагических событий 1992 г. В октябре 2010 г. Ю. Евкуров подписал Указ об установлении памятной даты 30 октября в качестве «Дня памяти жертв трагических событий осени 1992 года»¹.

Мемориальные напоминания: случай Осетии

Одним из важных мемориальных комплексов в Северной Осетии является «Мемориал славы», расположенный во Владикавказе. Смысл мемориала – отразить историю осетин, однако его основная скульптурная композиция посвящена 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Центральный вход в мемориал украшен большой триумфальной аркой. Комплекс был открыт в 2005 г. (в 60-ю годовщину окончания ВОВ), но в составе композиции есть и памятники, посвященные недавним трагическим событиям, – погибшим в результате конфликта вокруг Пригородного района и жертвам теракта в Беслане. Таким образом, трагические события 1992 г. представлены как одна из страниц осетинской истории.

Мемориал, посвященный жертвам конфликта, находится на Аллее славы. Он включает в себя могилы погибших «защитников республики» в ходе конфликта 1992 г. На черных надгробных плитах изображены портреты военнослужащих. В каждую годовщину трагических событий здесь проходят памятные митинги, на которых присутствуют глава республики, высокопоставленные чиновники, представители религиозных и молодежных организаций. В ходе памятных мероприятий по традиции возлагаются цветы к могилам погибших. Таким образом, в Северной Осетии конфликт не просто вписан в историю региона, но интерпретируется как трагическая и одновременно героическая ее страница. Другими словами, это событие предстает как защита интересов республики и ее населения.

Помимо мемориального комплекса во Владикавказе на территории Пригородного района также существуют «братские моги-

¹ Указ Главы Республики Ингушетия № 217 «О Дне памяти жертв трагических событий осени 1992 года» от 30.10.2010.

лы защитников республики»¹. Часто поминальные мероприятия начинаются с селения Камбилеевское, где находятся такие могилы, надгробия которых облицованы черным мрамором. Напротив братских могил поставлены памятники. Один из памятников представляет собой высеченные четыре женских и пять мужских лиц разных поколений в камне. Двое из мужчин держат в руках оружие. В середине камня стоит крест, на котором изображен герб. На территории мемориала есть также статуя женщины, которая держит в руках букет цветов. Рядом со статуей расположен Вечный огонь как символ памяти о погибших защитниках. Открытие мемориала состоялось еще в ноябре 1993 г., а в 25-ю годовщину конфликта памятник был отреставрирован. Подобные братские могилы находятся и в селе Октябрьское Пригородного района.

Анализ мемориалов, существующих в Северной Осетии, показывает, что память о конфликте играет значительную роль в истории региона. Здесь трагические события осени 1992 г. предстают как «незабываемая страница в истории современной Осетии. Сколько бы лет не прошло с тех печальных событий, подвиг павших героев навсегда останется в народной памяти»². Ежегодно в республике проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине конфликта. На этих мероприятиях, в первую очередь, вспоминают «защитников республики». В выступлениях главы региона отмечалось: «В очередной раз скорбим по тем, кто погиб, защищая свою землю»³. Превращение братских могил в места памяти означает, что для осетинской стороны интерпретация конфликта строится вокруг концепта «защиты».

30 октября 1992 г. действительно является скорбной датой для каждой из сторон конфликта. Однако существует принципиальная разница в интерпретации событий осени 1992 г. Ингушская интерпретация состоит в том, что ингуши стали жертвами кон-

¹ В Северной Осетии прошли памятные мероприятия к 25-й годовщине осетино-ингушского конфликта // Градус Осетии [Офиц. сайт]. – Режим доступа: <http://gradus.pro/v-severnoj-osetii-proshli-pominal-ny-e-meropriyatiya-priurochenny-e-k-25-j-godovshhine-oseтино-ingushskogo/> (дата посещения: 19.05.2018.)

² В Северной Осетии почтили память жертв трагедии осени 1992 года // Газета Слово [Офиц. сайт]. – 2016. – Режим доступа: http://gztslovo.ru/news_full_page/novosti/V-Severnoj-Osetii-pochtili-pamyat-zhertv-tragedii-oseni/ (дата посещения: 19.05.2018.)

³ Там же.

фликта вокруг Пригородного района. В то же время ингуши стараются показать, что во время конфликта ингушский народ продемонстрировал мужество, спасая тысячи жизней вынужденных мигрантов из Пригородного района. Иная интерпретация событий 1992 г. прослеживается в Северной Осетии. Здесь октябрь-ноябрь 1992 г. расценивается не только как трагическое, но и героическое событие, в котором были защищены интересы республики и ее населения. Это соответствует выявленным ранее интерпретациям конфликта, которые транслируют осетинские и ингушские акторы.

Проанализировав мемориальные напоминания о конфликте и основные интерпретации их в обеих республиках, можно сделать вывод, что мемориалы сохраняют и закрепляют спорные интерпретации конфликта вокруг Пригородного района 1992 г., поддерживая тем самым разницу в восприятиях причин и последствий конфликта. Это ведет к сохранению конфликтного потенциала в регионе. Постоянное обращение к мемориалам, посещение мест памяти о событиях осени 1992 г. и проведение траурных мероприятий на них свидетельствуют о существующей «неразрешенности» конфликта.

Итоговые замечания

До сих пор можно отметить отсутствие явного консенсуса по поводу причин и последствий событий 1992 г. Таким образом, существование «устойчивого мира» может быть подвергнуто сомнению. Несмотря на то что прошло уже более 27 лет со дня окончания острой фазы конфронтации, эксперты и наблюдатели отмечают сохранившийся конфликтный потенциал в регионе. Например, в 2016 г. отмечалось: «Достаточно провести мониторинг социальных сетей осетинских и ингушских пользователей, высказывающихся по этой теме, чтобы убедиться в наличии существующей проблемы. Конфликт, подобно потухшему вулкану, дремлет до поры до времени...»¹

На фоне возникшего спора по поводу обмена территориями между Ингушетией и Чечней вновь становится «на повестку дня

¹ Акиев Т. Как федералы пожар керосином тушили // Правозащитный центр «Мемориал» [Офиц. сайт]. – 2016. – Режим доступа: <https://memohrc.org/ru/blogs/kak-federaly-pozhar-kerosinom-tushili> (дата посещения: 29.03.2018.)

притушенный, но так и не урегулированный осетино-ингушский конфликт 1992 г.»¹. Так, на мартовских митингах 2019 г. в Ингушетии одним из требований митингующих было вернуть обратно Пригородный район в состав республики².

На сегодняшний момент нет консенсуса ни по поводу причин возникновения конфликта, ни в интерпретациях причин и последствий «острой» фазы конфронтации. Это позволяет отнести конфликт к категории «спящих». При этом ведущая роль в формировании и поддержании противоположных интерпретаций принадлежит символической политике и политике памяти. Транслируемые в речах ключевых акторов и мемориалах оценки событий 1992 г. заставляют жителей обеих республик «помнить» причины и природу возникновения открытого противостояния, сохраняя тем самым конфликтный потенциал в регионе.

Список литературы

- Ачкасов В.А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика. – М.: РАН. ИНИОН, 2012. – Вып. 1.: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 126–149.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 124 с.
- Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Ваньке А.В., Полухина Е.В. Политика памяти и военные мемориалы в России: Сравнивая Поклонную гору в Москве и Мамаев курган в Волгограде // XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (7–10 апреля 2015 г.). – М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. – Кн. 2. – С. 171–180.

¹Ингушетия: митинг против пересмотра границ и в поддержку решения Конституционного суда РИ // Правозащитный центр «Мемориал» [Официальный сайт]. – 2018. – Режим доступа: https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-miting-protiv-peresmotra-granic-i-v-podderzhku-resheniya-konstitucionnogo-suda (дата посещения: 29.03.2019.)

²Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2019 г. Бюллетень правозащитного центра «Мемориал». – Москва, 2019. – 28 с.

- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. науч. трудов / под. ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. – М.: Нестор-История, 2018. – С. 27–53.
- Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология: журнал мегадисциплинарных исследований. – 2013. – № 1. – С. 114–130.
- Antonyuk A. The Changing meaning of privacy in information technology debates: evidence from the Internet governance forum // International conference on Internet Science, 24–26 October 2018, St. Petersburg / S.S. Bodrunova (ed.). – Cham: Springer, 2018. – P. 92–100.
- Basov N., de Nooy W., Nenko A. Local meaning structures: mixed-method sociosemantic network analysis // American journal of cultural sociology. – 2019. – P. 1–42. – DOI: <https://doi.org/10.1057/s41290-019-00084-9>
- Doerfel M. What constitutes semantic network analysis? A comparison of research and methodologies // Connections. – 1998. – Vol. 21 (2). – P. 16–26.
- Searle J.R. The Construction of social reality. – N.Y.: Simon and Schuster, 1995. – 256 p.
- Smetana M., Ludvik J. Between war and peace: a dynamic reconceptualization of «frozen conflicts» // Asia Europe journal. – 2019. – Vol. 17, N 1. – P. 1–14. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s10308-018-0521-x>

I.A. Ushparov*

«Sleeping» conflict: interpretations of events around the Prigorodny district in North Ossetia and the Republic of Ingushetia

Abstract. The article is devoted to the analysis of the courses of symbolic politics in Ingushetia and North Ossetia leading to the formation of various interpretations of the causes and consequences of the events of 1992. It shows how discourses formed by significant socio-political actors and memorial reminders contrary to the recognition of the conflict as resolved, do not eliminate the causes of confrontation. The author of the article believes that the conflict around the Prigorodny district should be considered as «sleeping», which in the presence of certain structural conditions can again go into the «acute» stage of confrontation. Based on theoretical studies in the field of symbolic politics and politics of memory the author comes to the conclusion about their significant role in the formation and strengthening in the mass consciousness of a «collective» memory of this conflict. The article presents the results of the analysis of publications using the method of semantic networks. The main purpose of the analysis was to identify existing interpretations of the events of 1992 and the status of the Prigorodny district in Ingushetia and North Ossetia. Using the case-study method, an analysis of me-

* **Ushparov Igor**, Saint Petersburg state university (Saint Petersburg, Russia), e-mail: igor.ushparov@mail.ru

memorials dedicated to the events of the fall of 1992 was carried out. Based on the results it was concluded that the conflict potential remained in the region both in public discourse and in the memorial heritage of both republics.

Keywords: symbolic politics; discourses; memorials; conflict around the Prigorodny district.

For citation: Ushparov I.A. «Sleeping» conflict: interpretations of events around the Prigorodny district in North Ossetia and the Republic of Ingushetia. *Political science (RU)*. 2020, N 2, P. 256–279. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.13>

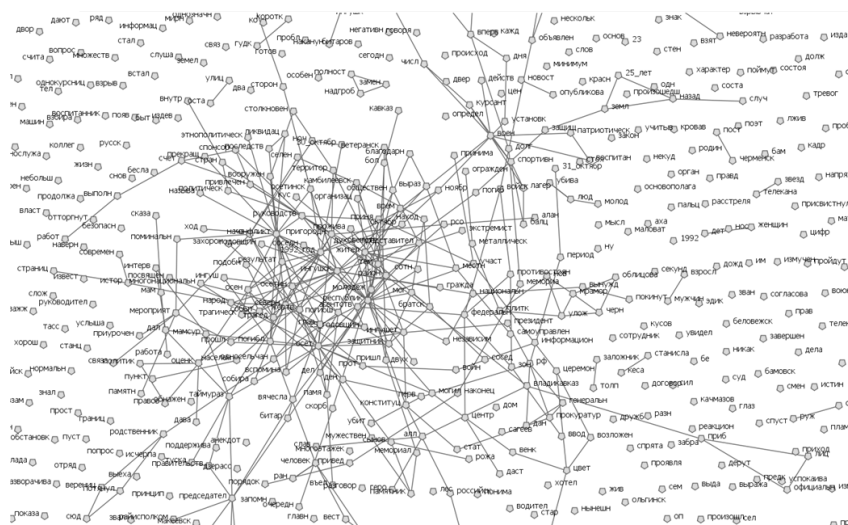
References

- Achkasov V.A. The role of the political and intellectual elites of the post-communist states in the production of the «politics of memory». In: *Symbolic Politics. Issue 1: Constructing cognitions about the past as a resource of power*. Moscow: INION RAS, 2012, P. 126–149. (In Russ.)
- Antonyuk A. The changing meaning of privacy in information technology debates: evidence from the Internet governance forum. In: Bodrunova S.S. (ed). *International conference on Internet Science, 24–26 October 2018, St. Petersburg*. Cham: Springer, 2018, P. 92–100.
- Basov N., de Nooy W., Nenko A. Local meaning structures: mixed method sociosemantic network analysis. *American journal of cultural sociology*. 2019, P. 1–42. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41290-019-00084-9>
- Berger P., Luckmann Th. *The social construction of reality. A Treatise in the sociology of knowledge*. Moscow: Medium, 1995, 124 p. (In Russ.)
- Bourdieu P. *Sociology of social space*. Moscow: Institute of experimental sociology; Saint Petersburg: Aletheia, 2007, 288 p. (In Russ.)
- Doerfel M. What constitutes semantic network analysis? A comparison of research and methodologies. *Connections*. 1998, Vol. 21(2), P. 16–26.
- Malinova O. Yu. The politics of memory as an area of symbolic politics. In: Miller A.I., Efremenko D.V. (eds). *Methodological issues of the study of the politics of memory: collection of scientific papers*. Moscow: Nestor-Istoria, 2018, P. 27–53. (In Russ.)
- Malinova O. The problem of politically suitable past and evolution of official symbolic politics in the Post-Soviet Russia. *The political conceptology: journal of metadisciplinary research*. 2013, N 1, P. 114–130. (In Russ.)
- Searle J.R. *The construction of social reality*. New York: Simon and Schuster, 1995, 256 p.
- Smetana M., Ludvik J. Between war and peace: a dynamic reconceptualization of «frozen conflicts». *Asia Europe journal*. 2019, Vol. 17, N 1, P. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10308-018-0521-x>
- Vanke A.V., Polukhina E.V. Memory policy and war memorials in Russia: comparing Poklonnaya Gora in Moscow and Mamaev Kurgan in Volgograd. In: *XVI April international scientific conference on the problems of economic and social development (April 7–10, 2015). Book 2*. Moscow: HSE Publishing house, 2016. P. 171–180. (In Russ.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

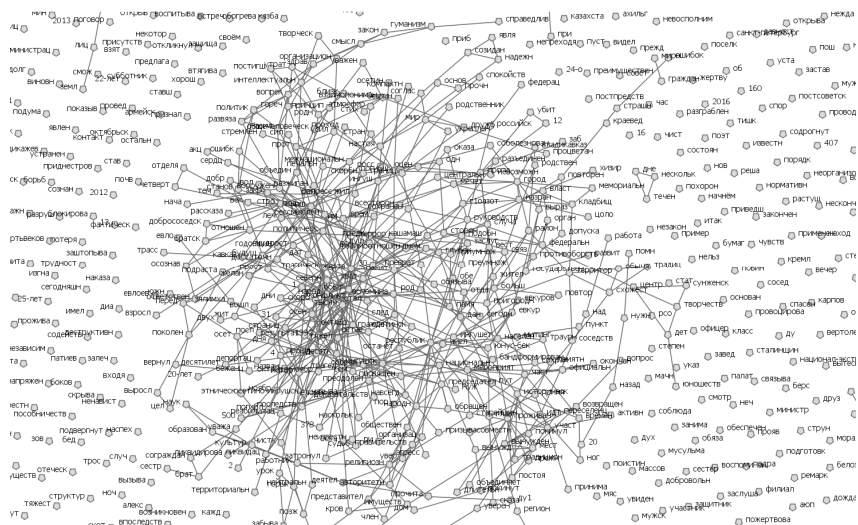
Анализ семантических сетей: акторы Северной Осетии



Общая картина связей (сила связи больше единицы)

Приложение 2

Анализ семантических сетей: акторы Республики Ингушетия



Общая картина связей (сила связи больше единицы)

Д.Ю. МЕЩЕРЯКОВ*

**ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗГЛЯДОВ
ПАРТИИ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»**

Аннотация. «Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет собой наиболее успешный пример правопопулистской партии в ФРГ. Данная партия является крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге и продолжает развивать успех на региональных выборах. Провозглашая задачу защиты культуры и идентичности немцев, АдГ имеет и собственный взгляд на историю страны. На основе программных документов и выступлений лидеров партии в статье проводится анализ позиций АдГ по наиболее трудным для современных немцев событиям прошлого Германии XX в. – эпохам национал-социализма и ГДР. Поднимая данные непростые вопросы, лидеры АдГ вновь возвращают исторические дискуссии на общенациональный уровень. В статье делается вывод, что по ряду исторических тем точка зрения АдГ идейно перекликается со взглядами группы «консерваторов», участвовавшей в «споре историков» в ФРГ в 1980-х годах и выступавшей за «нормализацию» немецкой национальной идентичности, а также делавшей акцент на позитивных моментах прошлого страны. Помимо этого, подчеркивается, что трактовка истории Германии АдГ обусловлена как правой идеологией партии, так и ее инструментальными популистскими задачами.

Ключевые слова: «Альтернатива для Германии»; «спор историков»; правый популизм; история Германии; Германская Демократическая Республика; преодоление прошлого; политика памяти.

Для цитирования: Мещеряков Д.Ю. История Германии сквозь призму взглядов партии «Альтернатива для Германии» // Политическая наука. – 2020. – № 2. – С. 280–288. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.14>

* Мещеряков Дмитрий Юрьевич, соискатель кафедры сравнительной политологии, МГИМО (У) МИД России (Москва, Россия), e-mail: dmesh91@gmail.com

©Мещеряков Д.Ю., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.02.14

«Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет собой уникальный для немецкой политики пример успешности правопопулистской партии. Партия, находящимся на политическом спектре правее ХДС/ХСС, до 2017 г. никогда не удавалось добиваться столь масштабного электорального успеха [Lees, 2018, p. 295]: на выборах в бундестаг в 2017 г. АдГ получила 12,6% голосов¹. По состоянию на 2019 г. партия представлена в ландтагах всех 16 федеральных земель и выступает в качестве главной оппозиционной силы на федеральном уровне, последовательно критикуя политику «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ. Соответственно, мнение АдГ по самым различным аспектам политической жизни страны также набирает вес. Важное значение имеет и взгляд партии на историю и идентичность Германии, в особенности в контексте нынешней миграционной ситуации в стране. В данной статье рассмотрено мнение АдГ и ее лидеров по основным сложным моментам немецкого прошлого в контексте дискуссий об истории Германии.

Ключевым событием, оказавшим влияние на формирование современной, доминирующей в политической и интеллектуальной элите картины восприятия немецкой истории, стал «спор историков» в ФРГ, послуживший стержнем дискуссий о прошлом страны в 1980-х годах. Корни данного спора во многом уходят в новую «историческую политику», провозглашенную правительством Г. Коля [Moses, 2007, p. 219–220]. Данный курс был связан со взглядами руководства страны, согласно которым Западная Германия должна была занять более значимое место в европейской политике. Одним из препятствий на пути к реализации данной цели командой Г. Коля виделось постоянно воспроизводящееся чувство вины немцев за преступления нацизма. Для реализации цели «периформатирования» исторического сознания жителей ФРГ был запланирован целый ряд мер, включая открытие памятников и музеев [Рулинский, 2013, с. 46–47]. Ряд специалистов, известных своими «ревизионистскими» взглядами, в том числе видный историк Э. Нольте, откликнулись на изменения в исторической полити-

¹ Bundestagswahl 2017: Endgültiges Ergebnis // Der Bundeswahlleiter. – Wiesbaden; Berlin, 2017. – Mode of access: https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2017/34_17_endgueltiges_ergebnis.html (accessed: 30.11.2019).

ке западногерманского руководства. В своей публикации в «Frankfurter Allgemeine Zeitung», которая фактически положила начало дискуссии в рамках «спора историков», Э. Нольте, в частности, заявлял, что Холокост не является уникальным явлением и его стоит рассматривать в совокупности всех «массовых преступлений XX века» (в их числе «ревизионисты» упоминали «большевистский террор» в России) [Борозняк, 2014, с. 158–159]. Согласно точке зрения соратников Э. Нольте, действия нацистского режима являлись превентивными мерами по борьбе с «красной угрозой» в Европе и вероятным нападением СССР [Рулинский, 2013, с. 49]. Таким образом, данная часть исторического сообщества ФРГ фактически стремилась к релятивизации национал-социалистического режима, намереваясь выстроить в целом более позитивную картину немецкой истории, уйдя от ключевой роли Холокоста как центрального элемента исторической памяти в стране.

Высказанные в печати взгляды «ревизионистов» вызвали широкую дискуссию не только среди профессионалов, но и в обществе в целом. При этом неформальным лидером противников «ревизионистов», в число которых преимущественно вошли левые интеллектуалы, стал известный философ и социолог Ю. Хабермас. Согласно его позиции, беспрецедентность нацизма не следует отрицать, а Холокост являл собой уникальное массовое преступление – при этом утрата памяти о злодеяниях Третьего рейха представляет опасность для исторического сознания немцев [Борозняк, 2014, с. 161–162]. Как подчеркивал Ю. Хабермас, ключевая форма укрепления идентичности немцев может заключаться в «конституционном патриотизме», который являет собой единственную форму национализма, не отчуждающую Германию от Запада [Шеррер, 2009, с. 95]. В конечном итоге в результате ожесточенных споров верх в немецком обществе взяла точка зрения сторонников Ю. Хабермаса [Рулинский, 2013, с. 55], данная позиция во многом стала главенствующей и в немецкой политической элите.

В контексте роста влияния партии «Альтернатива для Германии» как ведущей оппозиционной силы ФРГ данный вариант отношения к проблемному прошлому страны, доминирующий в среде интеллектуальной и политической элиты, начал оспариваться не только крайне правыми маргинальными партиями, но и политическим объединением, сформировавшим фракцию в бундестаге. В своей программе АдГ четко провозгласила требование «покон-

чить с сужением культуры воспоминания на период национал-социализма в Германии в пользу более широкого взгляда на историю, включающего в себя также положительные, формирующие национальное самосознание аспекты немецкой истории»¹. Данная концепция нашла развитие и в основополагающих предвыборных документах партии, в том числе на выборах в бундестаг в 2017 г.²

Идеи об ином понимании немецкой истории, закрепленные в партийных документах, ведущие политики АдГ развивают и в своих выступлениях. Особенный резонанс вызвала речь сопредседателя партии в 2017–2019 гг. А. Гауланда на партийном съезде в Тюрингии в июне 2018 г., в которой он отметил: «А. Гитлер и нацисты являются лишь пятном птичьего помета (*nur ein Vogelschiss*) на нашей более чем тысячелетней истории»³. Политик также заявил: хотя ФРГ и признает ответственность за 12 лет национал-социализма, она имеет право и на другие страницы «славной истории страны», вновь подчеркнув, что «ислам не является частью Германии»⁴. Данная речь спровоцировала целую бурю критики со стороны ведущих политических и общественных деятелей Германии в адрес А. Гауланда. В частности, нынешний глава ХДС А. Крамп-Карренбауэр отметила, что подобная характеристика нацизма недопустима, напомнив о 50 миллионах жертв «тотальной войны» и Холокоста⁵.

Одним из политиков АдГ, озвучивающих наиболее резонансные идеи об оценке прошлого Германии, также является лидер отделения партии в Тюрингии и председатель фракции в земель-

¹ Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland // Alternative für Deutschland. – Stuttgart, 2016. – Mode of access: <https://www.afd.de/grundsatzprogramm/#russisch> (accessed: 29.11.2019.)

² Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 // Alternative für Deutschland. – Köln, 2017. – Mode of access: <https://www.afd.de/wahlprogramm/> (accessed: 22.11.2019.)

³ Wortlaut der umstrittenen Passage der Rede von Alexander Gauland // Alternative für Deutschland – Fraktion im Deutschen Bundestag. – Berlin, 2018. – Mode of access: <https://www.afdbundestag.de/wortlaut-der-umstrittenen-passage-der-rede-von-alexander-gauland/> (accessed: 12.12.2019.)

⁴ Там же.

⁵ Gauland bezeichnet NS-Zeit als «Vogelschiss in der Geschichte» // Die Welt. – 2018. – Mode of access: <https://www.welt.de/politik/deutschland/article176912600/AfD-Chef-Gauland-bezeichnet-NS-Zeit-als-Vogelschiss-in-der-Geschichte.html> (accessed: 12.12.2019.)

ном парламенте Б. Хёкке. Данный партийный деятель, работавший до начала политической карьеры учителем истории¹, в настоящий момент является неформальным лидером правого «крыла» АдГ, которое в наибольшей мере придерживается национально-консервативной повестки. Так, к примеру, Б. Хёкке в одном из своих выступлений раскритиковал мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина, назвав его «памятником позора» (*ein Denkmal der Schande*)². Данная идея вызвала широкий резонанс в немецком обществе и печати, спровоцировав активную критику в адрес политика³.

Одним из важных моментов в понимании партий прошлого Германии является также отношение к истории ГДР. После объединения ФРГ и ГДР в 1990 г. в единой Германии возникла необходимость «проработки» новейшей истории востока страны [Рулинский, 2013, с. 55]. Власти объединенной Германии воспринимали режим в ГДР как «авторитарный» и, соответственно, требовавший определенной исторической оценки «демократическим обществом», при этом критерии рассмотрения прошлого Восточной Германии использовались те же, что и после крушения нацизма в 1945 г. Это выразилось в юридической проработке ГДР как «неправового государства», которая включала в себя судебные процессы против бывших руководителей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и восточногерманского государства [Шеррер, 2009, с. 97]. При этом за 30 лет с момента падения Берлинской стены отношение восточных немцев к объединению страны в ряде моментов остается противоречивым. С одной стороны, признаются преимущества жизни в единой Германии. С другой стороны, восточные земли по ряду социально-экономических показателей все

¹ Kamann M. Was Höcke mit der «Denkmal der Schande»-Rede bezweckt // Die Welt. – 2017. – Mode of access: <https://www.welt.de/politik/deutschland/article161286915/Was-Hoecke-mit-der-Denkmal-der-Schande-Rede-bezweckt.html> (accessed: 29.12.2019.)

² Die Höcke-Rede von Dresden in Wortlaut-Auszügen // Süddeutsche Zeitung. – 2017. – Mode of access: <https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-die-hoecke-rede-von-dresden-in-wortlaut-auszuegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170118-99-928143> (accessed: 29.12.2019.)

³ Pollmer C., Schneider J. Vielfache Kritik an Björn Höcke // Süddeutsche Zeitung. – 2017. – Mode of access: <https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-vielfache-kritik-an-bjoern-hoecke-1.3338644> (accessed: 29.12.2019.)

еще уступают западным регионам страны. Еще одним пунктом критики является недопредставленность уроженцев восточных земель на руководящих должностях государства¹. Данная критика, а также сам характер процесса объединения, по сути означавший распространение конституционного порядка ФРГ на территорию бывшей ГДР, порой провоцировал резкие оценки со стороны ряда политиков на востоке страны (к примеру, бывший премьер-министр Бранденбурга М. Платцек даже сравнил объединение с «аншлюсом»)².

В восточных землях АдГ неизменно получает больший результат, чем на западе, – это проявляется как на выборах в бундестаг, так и на выборах в ландтаги; одной из причин этого служат распространенные в восточных землях протестные взгляды, связанные с перечисленными выше факторами, а также антииммигрантские настроения³. Лидеры «Альтернативы» на востоке Германии активно используют данные факторы для мобилизации своего электората. При этом позиция АдГ по отношению к бывшей ГДР является противоречивой – с одной стороны, она обусловлена правыми идеологическими взглядами, с другой – она весьма инструментальна. Так, к примеру, на фоне годовщины падения Берлинской стены в 2019 г. и предвыборной борьбы в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии партия активно проводила параллели между режимом в ГДР и современной политической системой ФРГ, подчеркивая, что в настоящий момент также требуется народное сопротивление против элит, которые якобы «не выполняют волю народа»⁴. Соответственно, народные движения 1989 г. в ГДР, по

¹ Thirty years after the Berlin Wall fell // The Economist. – 2019. – Vol. 433, N 9167. – P. 25–29. – Mode of access: <https://www.economist.com/podcasts/2019/11/08/thirty-years-after-the-berlin-wall-fell-is-germany-still-divided> (accessed: 29.12.2019.)

² Berg S., Hornig F. «Ich verlange Respekt» (Ein Interview mit M. Platzeck) // Der Spiegel. – 2010. – N 35. – Mode of access: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-73479944.html> (accessed: 10.12.2019.)

³ Decker F. Etappen der Parteigeschichte der AfD // Bundeszentrale für politische Bildung. – Bonn, 2018. – Mode of access: <http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/afd/273130/geschichte> (accessed: 18.11.2019.)

⁴ Hildebrand A. Wer «Lügenpresse!» geschrien hätte, wäre im Stasi-Knast gelandet (Ein Interview mit U. Schwabe) // Cicero. Magazin für politische Kultur. – 2019. – Mode of access: <https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-wahlkampf-osten-brd-ddr-vergleich-diktatur> (accessed: 3.12.2019.)

нению АдГ, могут служить примером и для современных противников правительства А. Меркель.

Заключение

Таким образом, взгляды «Альтернативы для Германии» на прошлое страны обладают целым рядом важных особенностей. Во-первых, правоконсервативные позиции, распространенные в партии, делают ее идейным сторонником группы «ревизионистов» времен «спора историков» в ФРГ в 1980-х годах. Партия и ее отдельные лидеры стремятся к более позитивному изображению картины прошлого страны, подчеркивая, что история Германии не сводится к 12 годам диктатуры национал-социализма. При этом АдГ провозглашает отход от понимания Холокоста как центрального элемента исторической памяти немецкого народа. Во-вторых, данная позиция подчеркивает оппозиционную сущность АдГ в современной политической системе ФРГ – партия выступает не просто против доминирующей в интеллектуальной элите точки зрения на национал-социализм, но и фактически бросает вызов основополагающему взгляду истеблишмента на нацистское прошлое. В-третьих, позиции партии по иным сложным вопросам новейшей истории страны, вызывающим общественные споры, обусловлены также инструментально-популистскими причинами. К примеру, общественное демократическое движение в ГДР в 1989 г. АдГ приводит в качестве образца для борьбы с современным правительством А. Меркель. В целом при учете электоральной динамики АдГ как на федеральном, так и на земельном уровне точка зрения партии по отношению к истории Германии будет набирать все больший вес в общественных дискуссиях, а резонансные высказывания ведущих политиков партии имеют потенциал к провоцированию новых споров о наиболее непростых моментах прошлого страны.

Список литературы

Борозняк А.И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 351 с.

- Руллинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за нацистские преступления // Вестник славянских культур. – 2013. – № 1 (XXVII). – С. 46–56.
- Шеппер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти // Pro et Contra. – 2009. – № 3/4(46). – С. 89–109.
- Lees C. The 'Alternative for Germany': The rise of right-wing populism at the heart of Europe // Politics. – 2018. – Vol. 38, N 3. – P. 295–310. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0263395718777718>
- Moses A.D. German Intellectuals and the Nazi Past. – Cambridge, UK: Cambridge university press, 2007. – 293 p.

D.Yu. Meshcheryakov *
The German history according to the views
of the Alternative for Germany party

Abstract. The «Alternative for Germany» (AfD) is the most successful right-wing populist party in Germany. The party is the largest opposition force in the Bundestag and continues to increase success on regional level. The AfD proclaims protection of culture and identity of the Germans and promotes its own view on the history of the country. The article analyzes the position of the AfD on the most difficult events of the 20 th century for the modern Germans (the National Socialism period and the history of the GDR). The analysis is based on program documents and speeches of the party leaders. The AfD leaders raise difficult questions, bringing historical discussions back to the national level. The article concludes that the point of view of the AfD on a number of historical events ideologically coincides with the views of the group of «conservatives» that participated in the «Dispute of historians» in Germany in the late 1980 s. The group advocated for the «normalization» of the German national identity and emphasized the positive aspects of the country's past. In addition, it is emphasized that the interpretation of the German history by the AfD is determined both by the party's right-wing ideology and its instrumental populist goals.

Keywords: Alternative for Germany; Historikerstreit; right-wing populism; German history; the German Democratic Republic; overcoming the past; memory politics.

For citation: Meshcheryakov D.Yu. The German history according to the views of the Alternative for Germany party. *Political science. (RU).* 2020, N 2, P. 280–288. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.14>

* **Meshcheryakov Dmitry**, Moscow State Institute of International Relations (University) under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russia), e-mail: dmesh91@gmail.com

References

- Boroznyak A.I. *Cruel memory. The Nazi Reich in the perception of the Germans of the second half of the 20th and earlt 21st century*. Moscow: Political encyclopedia, 2014. 351 p. (In Russ.)
- Lees C. The 'Alternative for Germany': The rise of right-wing populism at the heart of Europe. *Politics*. 2018, Vol. 38, N 3, P. 295–310. DOI: <https://doi.org/10.1177/0263395718777718>
- Moses A.D. *German intellectuals and the Nazi Past*. Cambridge, UK: Cambridge university press, 2007, 293 p.
- Rulinsky V.V. «Historians' Dispute» in Germany: the problem of responsibility for the Nazi crimes. *Vestnik slavianskikh kul'tur [Bulletin of Slavic Cultures]*. 2013, N 1 (XXVII), P. 46–56. (In Russ.)
- Scherrer J. Attitude towards history in Germany and France: elaboration of the past, historical politics, politics of memory. *Pro et Contra*. 2009, N 3–4 (46), P. 89–109. (In Russ.)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Политическая наука» – одно из ведущих периодических изданий по политологии в России, известное и среди зарубежных исследователей, владеющих русским языком. «Политическая наука» как периодическое издание существует с 1997 г.

«Политическая наука» имеет отчетливо выраженный тематический профиль, который отличает ее от других журналов по политическим наукам. Прежде всего, это ориентация на состояние политической науки и ее отдельных направлений, обзор и анализ современных научных достижений. Центральное место среди публикаций занимают статьи и иные материалы методологического характера, имеющие особую важность для развития научных исследований. Особенностью журнала является систематическое использование жанров информационного и информационно-аналитического характера (рефератов, реферативных обзоров, рецензий и др.), представление других научных журналов, исследовательских центров и проектов.

К публикации принимаются научные статьи, обзоры, рефераты, рецензии, переводы. Тексты предоставляются в электронном виде по адресу: politnauka@inion.ru; politnauka1997@gmail.com (просим направлять материалы на оба адреса) в форматах .doc или .rtf.

Основные требования к рукописям:

кегель – 14, межстрочный интервал – 1,5.

Объем – 30–40 тыс. знаков (включая пробелы) для статей и 16–24 тыс. знаков для рецензий на книги.

Графики и диаграммы должны дублироваться в файлах формата .xls, .xlsx (чтобы сделать возможным их дальнейшее редактирование).

Рисунки и схемы желательно создавать в форматах .ppt, .pptx или .jpg. Соответствующие файлы также прилагаются к рукописи.

Текст, таблицы, диаграммы, графики, рисунки и схемы должны быть выполнены исключительно в черно-белой графике.

С целью соблюдения авторских прав заимствованные из других изданий элементы (рисунки, схемы, графики, таблицы и пр.) должны сопровождаться ссылками на первоисточники.

Ссылки на литературу внутри текста даются в квадратных скобках с указанием фамилии автора, года публикации и страниц. Материалы могут иметь постраничные сноски.

В конце текста приводится список литературы и источников – в алфавитном порядке без нумерации; сначала русские источники, потом иностранные. При этом необходимо соблюдать требования библиографического оформления, принятые в ИНИОН РАН, и правила, установленные Национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 7.0.5.–2008).

К рукописям прилагаются аннотации на русском и английском языках (до 200 слов).

В полном объеме приводятся фамилия, имя и отчество автора, место его работы, должность и контактная информация.

Решение о публикации рукописи принимается на основе отзыва рецензентов. **Плата за публикацию не взимается.**

INFORMATION FOR THE AUTHORS

Political Science (RU) is one of the leading Russian periodicals in the field of the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers.

The specifics of Political Science (RU) is its thematic profile. The main focus of its interests is the state of political science and its particular areas, as well as the analysis of modern achievements in the field of the political science. The central place among its publications belongs to articles of a methodological nature. The journal also systematically publishes review articles, review essays, book reviews and, abstract reviews, introduces and recommends other academic journals, research centers, research projects.

«Political Science (RU)» accepts manuscripts of the following genres: research articles, review articles, review essays, book reviews,

abstracts, translations. Authors are invited to submit articles through e-mail politnauka@inion.ru and politnauka1997@gmail.com.

Manuscripts should be printed in Microsoft Word or RTF format, in standard 14-point type with 1.5 lines spacing. The maximum length is 5,400 words for article and 3,200 words for book reviews.

Charts and diagrams should be duplicated in .xls or .xlsx format in order to enable further editing.

Pictures and schemes should be duplicated in .ppt, .pptx, or JPEG format. Texts, tables, charts, diagrams, and pictures must be executed in black-and-white. Pictures, diagrams, charts, tables and other elements taken from other publications must not violate the copyright law and should be accompanied by citations to the primary sources.

A list of references should be placed at the end of the manuscript. The sources should be listed in alphabetical order without numbering, first Russian sources, then the foreign ones. References should follow the rules of the Institute of Scientific Information for Social Sciences and the bibliographical standard of the Russian Federation (GOST R 7.0.5–2008). Citations in the text should be enclosed in square brackets and must include the name of the author (s), the year of the publication, and the number of pages. Footnotes with text comments are also possible.

A manuscript should be accompanied by the annotation in Russian and English, no longer than 200 words. Authors must provide their full name, the place of work, position and contacts.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

Адрес редколлегии:
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, 15, ИНИОН РАН,
Отдел политической науки,
e-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование и
компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректор М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 25 / V – 2020 г.
Формат 60 x84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 17,0 Уч.-изд. л. 15,8
Тираж 500 экз. (1–100 экз. – 1-й завод) Заказ № 127

**Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.**
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ПИ NФС77–36084

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий**
Тел. / Факс: (499) 134-03-96
E-mail: inion@bk.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
В ООО «Амирит»,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88 литера У
Тел.: 8-800-700-86-33 / (845-2)24-86-33